

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ — ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1985

Гухман М. М. (Москва). Понятийные категории, языковые универсалии и типология	3
Артюнова Н. Д. (Москва). Об объекте общей оценки	13

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Майрхофер М. (Вена). Лингвистические результаты изучения Персепольской надписи Ксеркса, полученные со времени ее открытия в 1967 г.	25
Вернер Г. К. (Таганрог). Енисейское языкознание: результаты и перспективы	33
Маковский М. М. (Москва). Проблемы лингвистической комбинаторики	43
Лукин В. А. (Кишинев). Некоторые проблемы и перспективы компонентного анализа	58
Ониани А. Л. (Тбилиси). О грамматической категории класса в картвельских языках	67

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Блапар В. (Братислава). Лексикология лексикографии	77
Козырев В. А. (Ленинград). Сопоставление исторического и диалектного словарей	83
Булыко А. Н. (Минск). Иноязычная лексика в историческом словаре белорусского языка	90
Дмитровская М. А. (Калининград). Механизмы понимания и употребление глагола <i>понимать</i>	98
Оглоблин А. К. (Ленинград). Диахрония и морфонология малайско-яванских языков	108

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Березин Ф. М., Ромашко С. А. (Москва). <i>Szemerényi O. Richtungen der moderner Sprachwissenschaft</i>	118
Мартынов В. В. (Минск). Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание)	121
Гаспаров М. Л. (Москва). <i>Григорьев В. П. Грамматика идиостиля</i> . В. Хлебников	124
Верещагин Е. М. (Москва). <i>Kantor M. Medieval Slavic Lives of Saints and Princes</i>	126
Богачев Ю. П. (Москва). Современный русский литературный язык	129

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	132
--------------------------------	-----

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. Г. Гак, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев,
 Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь), А. Н. Кононов,
 В. З. Панфилов (зам. главного редактора), В. А. Серебрянников, Н. А. Слюсарева,
 В. М. Солнцев (зам. главного редактора), Г. В. Степанов (главный редактор),
 О. Н. Трубачев, Д. Н. Шмелев

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
 редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78

Зав. редакцией И. В. Соболева

ГУХМАН М. М.

ПОНЯТИЙНЫЕ КАТЕГОРИИ, ЯЗЫКОВЫЕ УНИВЕРСАЛИИ И ТИПОЛОГИЯ*

Термин «понятийные категории» появляется в работах И. И. Мещанинова 1945 г. [1, 2]. Появление этой новой для традиций отечественного языкознания единицы лингвистического описания было связано с частичным пересмотром высказывавшихся ранее положений и с изменением самого направления поисков ученого. Диахронический подход, доминировавший в типологических сопоставлениях, содержавшихся в первых капитальных трудах И. И. Мещанинова [3, 4], отходит на периферию в его дальнейших исследованиях. Неустанная, настойчивая работа над материалом разноструктурных языков, привлечение малоизученных бесписьменных и младописьменных языков Советского Союза раскрыли перед исследователем уязвимость диахронических построений, развивавшихся в упомянутых трудах. Проверая и пересматривая положения, соотношенные с учением о единстве глоттогонического процесса и стадильности, И. И. Мещанинов еще в 1940 г., т. е. в период создания своих стадильных построений, отмечал необязательность однонаправленной последовательности в трансформациях языков. Он писал тогда: «Можно полагать, что примеров языковых перестроек..., как-то перехода посессивной конструкции в эргативную (в абхазском, лакском) и т. д., удастся подобрать значительное количество, но я далеко не убежден в том, что все они будут свидетельствовать об однообразном ходе языкового развития. Тем не менее можно с уверенностью утверждать, что на материале любого языка удастся проследить те или иные моменты языковой структурной трансформации» [4, с. 200]. Иными словами, уже в период разработки синтаксического варианта учения о единстве глоттогонического процесса у И. И. Мещанинова возникали сомнения относительно универсального характера схем стадильных перестроек, намечавшихся в трудах тех лет.

Значительно определеннее эти сомнения в статьях второй половины 40-х годов, т. е. все еще до лингвистической дискуссии. «Здесь и становится вопрос о том, — писал И. И. Мещанинов в 1947 г., — в каком разрезе проводятся нами данного рода сопоставления различающихся языковых систем. Видим ли мы в них различные конструкции или же, кроме того, мы стоим перед необходимостью давать им также и соответствующее место в общей хронологии языкового процесса и имеем ли для этого достаточные данные» [5, с. 294]. Ответ на этот вопрос дается совершенно определенный: усматривать в подобных сопоставлениях «кроме схемы типологических различий, также и схему стадильной периодизации в значительной мере преждевременно» [5, с. 295] и далее: «Едва ли такие стадильные схемы отвечают историческому процессу развития».

Отход от формулировавшихся в предыдущие годы принципов диахронической типологии осуществлялся одновременно с постепенным включением нового комплекса идей, связанных преимущественно с проблемами синхронно-типологического изучения грамматических единиц разноструктурных языков. В известной степени решающими оказались годы пребывания И. И. Мещанинова в Алма-Ате, когда фактически кристаллизовались предпосылки нового понимания задач типологического изучения языков. Однако и в работах послевоенного периода термины «единство

* Текст доклада автора на симпозиуме «Типологические исследования на современном этапе и значение работ акад. И. И. Мещанинова» (Москва, 1983).

глоттогонического процесса», «стадиальность» сохраняются, но изменяют прежнюю внутреннюю форму. «Стадия» все определеннее приобретает значение «структурный тип языка», при этом автор отказывается от старой концепции о полном изоморфизме языковых и мыслительных структур, процессов развития языка и мышления, а стадия отныне характеризуется чисто языковыми параметрами.

Соответственно меняется и смысловая структура термина «единство глоттогонического процесса». Постулируемые трансформации теряют универсальность и обязательность. «То, что наблюдается в одних языках, может не иметь места в других. Они могут идти в своем развитии другими путями» [5, с. 311]. В том же 1947 г. в статье «Новое учение о языке на современном этапе развития» (примечательно само название) И. И. Мещанинов отмечает, что понимание единства глоттогонического процесса получает в значительной степени новое освещение. Речь идет об общих для ряда языков тенденциях «передачи одних и тех же понятий различными средствами лексики и грамматики» [5, с. 315], т. е. фактически о разнovidности языковых универсалий. Новое содержание приобретает и понятие качественных изменений: они соотносятся не только с перестройкой целостных субъектно-предикативно-объектных структур, но и с изменениями «отдельных элементов речи» [5, с. 331].

Наряду с основными синтаксическими построениями внимание исследователя привлекают формы реализации категорий модальности, залога, числа, качества, количества. В условиях сопоставления языков с формально совершенно несходными образованиями повышенную значимость приобретает трактовка соотношения плана содержания и плана выражения, проблема, сложность которой неоднократно подчеркивал И. И. Мещанинов. И тогда вновь возникали вопросы, тревожившие ученого еще при создании его первых крупных работ: какие методические приемы, какой понятийный аппарат могут не только обеспечить объективность моделирования того огромного массива языков, которые привлекались им в процессе типологических сопоставлений и обобщений, но и раскрыть всю сложность взаимосвязей частного и общего в функционировании и развитии языков? Именно в те годы, в связи с необходимостью теоретически осмыслить принципиально новую информацию, которую принесли материалы языков, ранее не включавшихся в орбиту лингвистических исследований, особенно остро встал вопрос о преодолении традиционных схем грамматического описания, созданных преимущественно на материале индоевропейских языков и обусловленных спецификой строя этой языковой группы. К преодолению «индоевропеизма» в лингвистике вслед за Н. Я. Марром настойчиво призывал и И. И. Мещанинов.

Проблема эта имела не только теоретическое, но и практическое значение. Она была связана с выработкой принципов построения грамматик многочисленных разноструктурных языков Советского Союза, которые благодаря культурной революции впервые получили доступ в высшие сферы коммуникации. Преобразование младописьменных и бесписьменных языков в обработанные литературные языки, способные удовлетворять новым коммуникативным потребностям и задачам, возникавшим перед народами, говорящими на этих языках, с необходимостью предполагало создание адекватных их описаний.

С другой стороны, подобное описание, раскрывающее индивидуальные черты каждого языка, рассматривалось И. И. Мещаниновым как обязательное предварительное условие включения их в синхронно-типологические сопоставления.

В результате собственных исследований, а также в связи с критическим анализом наиболее известных работ конца XIX — начала XX вв. (Потебни, Шахматова, Вандриеса, Семира, Соссюра) в размышлениях И. И. Мещанинова определились два исходных положения: 1) сочетание в типологических сопоставлениях функционально-содержательных и формальных параметров и 2) изучение статуса предполагаемых универсальных категорий (у Мещанинова «категорий, общих для большинства языков») в соотношении с индивидуальными формами их реализации в конкретных язы-

ках, соотношение универсалий и категорий, получивших впоследствии у С. Д. Кацнельсона наименование идиоэтнических [6]. В практике типологических штудий оба положения оказались объединенными, стимулируя вместе с тем создание методики анализа типологических сопоставлений, ведущим звеном которой стала теория понятийных категорий. Немаловажную роль сыграло при этом еще одно обстоятельство.

В первых работах И. И. Мещанинова интересовала преимущественно содержательная сторона языка, комплекс вопросов, связанных с темой «язык и мышление». Лишь с середины 40-х годов, отчасти под влиянием взрослого интереса к синхронно-типологическим сопоставлениям, он уделяет все большее внимание формально-структурной стороне языка, в частности ее соотношению с содержательными категориями. Необходимым в этой связи оказалось уточнить отношение содержательного аспекта лингвистических единиц, формирующих предложение-высказывание, к понятийному аппарату логики и психологии — задача в те годы весьма актуальная, привлекавшая внимание многих теоретиков языкознания. Речь шла об «освобождении» лингвистики от давления понятийно-терминологической системы этих дисциплин. «Установлению (среди языковедов) общей точки зрения на связь языка с мышлением, — писал И. И. Мещанинов, — в значительной степени препятствовало слепое и безапелляционное позаимствование из учебников логики и психологии, сводящееся к попыткам истолкования языковых фактов под углом зрения выработанных в них (имеется в виду в логике и психологии) положений. Факты языка освещались со стороны вместо того, чтобы получить свое объяснение внутри себя» [2, с. 5]. Ссылаясь при этом на распространенное в грамматиках использование таких терминов, как «логический субъект», «логический объект» в их противопоставлении «грамматическому субъекту» и «объекту» (ср. традиционную схему залоговой трансформации типовых структур — *Рабочие строят дом — Дом был построен рабочими*, где, как утверждалось в соответствующей литературе, во втором предложении логический объект становится грамматическим субъектом и, наоборот, логический субъект занимает позицию грамматического объекта), И. И. Мещанинов подчеркивал, что подобный анализ не способствует познанию функциональных особенностей языковых явлений.

Еще более отчетливо уязвимость данной методики лингвистического анализа обнаруживается, по мнению И. И. Мещанинова, в применении к материалу таких языков, как адыгейский, где в зависимости от семантики сказуемого, определяющего характер отношения субъекта признака к процессу, меняется падежная форма субъекта, причем формально выделяются различия между продуктивным и непродуктивным (по терминологии Н. Ф. Яковлева и И. И. Мещанинова) субъектами: так, в адыгейском продуктивный субъект (подлежащее предложения с прямым дополнением) имеет показатель *-м*, дополнение либо определенную форму с показателем *-р*, либо нулевой показатель; непродуктивный же субъект (подлежащее безобъектного предложения) — показатель *-р*, совпадающий с объектным маркером переходного предложения [1, с. 161]. «Поэтому, — отмечает И. И. Мещанинов, — применение к ним обычных терминов „логический субъект“, „логический объект“ в их отождествлении или противопоставлении грамматическому субъекту и объекту ничего не дает» [2, с. 7].

Как известно, в языках с эргативным строем предложения, к которым относится и адыгейский, отсутствует универсальная форма обозначения субъекта-признака при сказуемом разной семантики. Глагол-сказуемое как бы управляет именными актантами, включая и форму субъекта-признака. В некоторых языках число падежных показателей, маркирующих поведение субъекта, его смысловые связи с приписываемым ему признаком, не ограничивается оппозицией двух падежных форм. В аварском языке, например, при переходном глаголе стоит эргативный творительный падеж, при непереходном — абсолютный, в сочетании с глаголами обладания — родительный, с глаголами чувствования — дательный и, наконец, при глаголах восприятия — местный. Оставляя в стороне вопрос

о синтаксической идентификации компонентов подобных отрезков — дискуссии по этой проблеме ведутся со времен Услара, Шухардта, Уленбека до наших дней, — замету лишь, что, по-видимому, применение в подобных случаях традиционной синтаксической сетки остается все же спорным, т. к. в результате подобного анализа искажается специфика изучаемых структур. Впрочем, для тематики данной статьи эта сторона вопроса не играет особой роли. Важно другое. Сопоставление типологических характеристик эргативного и номинативного строя привело И. И. Мещанинова к разграничению в субъектно-объектных построениях двух уровней — формально-грамматического и содержательного. На формально-грамматическом уровне современные индоевропейские языки как языки номинативного типа не знают дифференциации субъектно-объектных структур, обусловленной классом глагола-сказуемого (если не считать изолированную группу дативных конструкций [7]), что характерно для языков эргативного и активного строя. Но это не означает, что подобные различия не выражаются посредством языка: «Грамматическая форма, — отмечает И. И. Мещанинов, — не передает этих различий в положении субъекта, хотя в сознании они остаются и из предложения они не исключаются. Единый падеж (имеется в виду подлежащего) унифицирует строй, но не унифицирует его содержания» [2, с. 7]¹.

Какие позиции займут эти языки в типологических сопоставлениях, базирующихся на содержательных дифференциальных признаках? Каковы эти признаки? А в этой связи более общий вопрос — на чем основывается и как выражается типологическая отмеченность в исследованиях, ориентированных на содержательный аспект языка? Вопросы остаются спорными и в современных работах. Можно сослаться на исследование кельнского профессора Г. Зайлера и руководимого им кружка по универсалиям, которые, однако, посвящены не столько обнаружению универсалий, сколько выявлению различий в формах реализации некоторых смыслов, иными словами, посвящены типологическому варьированию. Ведущим в подобных исследованиях является определение статуса исходных смысловых единиц, получающих разное воплощение в привлекаемых языках. Второй шаг — выделение и характеристика средств типологического варьирования, создающих многообразие языковых структур.

Модель типологического анализа, базисным компонентом которой стала понятийная категория, и явилась своего рода ответом на данную постановку вопроса. В контексте языкознания 30—40-х годов теория понятийных категорий создается как своеобразная антитеза логицизму и психологизму грамматических концепций.

Термин «понятийная категория» встречается у Л. Ельмслева и О. Есперсена раньше, чем в работах Мещанинова (ср. у Ельмслева «*catégorie de notion*» и «*notional or logical categories*» в работах Есперсена), но в их толковании данный термин практически отождествлялся с логическими категориями, в свою очередь понимаемыми отнюдь не однозначно. В концепции И. И. Мещанинова «понятийная категория» является компонентом иерархической системы содержательных операциональных единиц, используемых при осуществлении типолого-грамматических сопоставлений. В эту систему входят также термины «грамматическое понятие» и «грамматическая категория». Только в соотношении с этими двумя компонентами модели описания уточняется содержание термина «понятийная категория языка».

Как неоднократно отмечалось, в лингвистической концепции И. И. Мещанинова содержательный аспект играл ведущую роль. Даже анализ формальных средств синтаксической связи — управления, примыкания, инкорпорирования — был семантически ориентирован. Вместе с тем все большее внимание исследователя привлекал вопрос о соотношении общего и частного в функционировании языка, обобщенных категорий и форм их реализации в разнотипных языках. В этой связи для задач типологических

¹ В этой формулировке остается неясным, какой смысл вкладывал автор в понятие «содержание».

сопоставлений особенно существенным стало разграничение языковых и неязыковых значений, грамматических значений и содержания сообщения (по терминологии И. И. Мещанинова, «категорий, выражаемых в строе языка» и «категорий, выражаемых посредством языка»). «Всякое понятие, существующее в сознании человека, — писал И. И. Мещанинов, — может быть передано средствами языка. Оно может быть выражено описательно, может быть передано семантикой отдельного слова, может в своей языковой передаче образовать систему. В последнем случае выступает понятийная категория. Она передается не через язык, а в самом языке, не только его средствами, а в самой его материальной части». И дальше вносится весьма важное уточнение: «не всякое передаваемое языком понятие является „понятийной категорией“. Ею становится такое понятие, которое выступает в языковом строе и получает в нем определенное построение. Последнее находит свое выражение в определенной лексической, морфологической или синтаксической системе» [2, с. 15]. Следовательно, понятийные категории он рассматривал как категории языковые.

Это положение имело для ученого кардинальное значение, и он неоднократно к нему возвращался. В другой работе он писал: «Выявляясь в семантической стороне лексики, в синтаксическом строе и в морфологическом оформлении слова, понятийные категории остаются тем самым в числе языковых категорий» [1, с. 196—197]. В этом кардинальное отличие смысловой структуры термина «понятийные категории» у И. И. Мещанинова, с одной стороны, и в работах О. Есперсена — Л. Ельмслева, с другой. Небезынтересно отметить, что в 50-е годы в критических статьях, публиковавшихся по ходу лингвистической дискуссии, это отличие оставалось незамеченным; бросалось в глаза лишь внешнее совпадение терминов, что, по-видимому, объяснялось недостаточным знанием трудов И. И. Мещанинова.

К понятийным категориям, общим для разных языков, И. И. Мещанинов относил предметность и предикативность, субъект и объект, атрибутивность, модальность, а также количество и качество. Как видно из этого неполного перечня, понятийные категории были соотнесены с единицами грамматического уровня. Они выделялись в процессе создания типологических сравнений, объектом которых было варьирование дифференциальных признаков членов предложения и частей речи. По своей природе понятийные категории ближе всего к языковым содержательным универсалиям: «Понятия субъекта, предиката, предметности, процесса и т. д., варьируясь в своих деталях, объединяют все языки, выступая в них в том или ином осмыслении», — отмечал И. И. Мещанинов в работе 1947 г. [5, с. 323]. Поэтому только определенный уровень формализации превращает их в объект типологических исследований. «Смысловая сторона более общая, поэтому по ней провести классификацию языков по группам и системам не удастся... Тогда как преимущественный упор на формальную сторону в ее типологических соответствиях наиболее подходит для классификационной схемы» [2, с. 4]. Имеются в виду не только различия в морфологическом строе языка, обусловленные разбиением языков на агглютинативные, флективные, так называемые аморфные (точнее — изолирующие), что также учитывалось исследователем, но структурные расхождения, обусловленные дифференциацией более глубинного характера: состав грамматических категорий, соотнесенных с той или иной понятийной категорией, оформление субъектно-предикативнообъектных связей и т. п.

Более определенно и четко смысловая структура понятийной категории выделяется в ее сопоставлении с терминами «грамматическое понятие» и «грамматическая категория». Различия в реализации понятийных категорий, проявляющиеся в индивидуальных чертах грамматического строя отдельных языков, моделируются в противопоставлении понятийной категории грамматическому понятию и грамматической категории. Ведущей является двучленная оппозиция: понятийной категории (уровня обобщенных языковых значений) — грамматической категории (уровню структурных единиц конкретного языка). В этой оппозиции абстрактное,

универсальное противопоставляется конкретному, индивидуальному, материализованному в грамматических категориях соответствующего языка. И. И. Мещанинов писал: «... как при изучении каждого языка в отдельности, так и при обзоре членов предложения и частей речи в разрезе межъязыковых сопоставлений, особое внимание обращается на их действующие грамматические категории. Они служат прекрасным подспорьем при исследовании языковой структуры вообще и при установлении особенностей всякой отдельной привлекаемой системы языка» [1, с. 194]. Неоднократно подчеркивается важное значение грамматических категорий в процессе анализа отдельных языков: «при анализе членов предложения и частей речи приходится учитывать не столько их общие для всех языков признаки, сколько их грамматические категории, т. е. признаки, которыми они характеризуются в каждом конкретном языке» [1, с. 11].

В созданной И. И. Мещаниновым трехкомпонентной системе, основной задачей которой было разграничение разных уровней лингвистического анализа, не все компоненты обладали достаточной определенностью. Это замечание касается прежде всего термина «грамматическое понятие», т. е. среднего звена, или уровня, выделяемых категорий. Выше при определении статуса понятийной категории отмечалось, что они выявляются в лексической, морфологической и синтаксической системах. В дальнейшем автор обособляет лексическую систему, объединяя морфологию и синтаксис и оперируя в основном грамматическими единицами. На этом материале устанавливаются функциональные различия выбранных терминов-понятий: «Те понятийные категории, которые получают в языке свою синтаксическую или морфологическую форму, становятся грамматическими понятиями. Субъект и предикат (логические) будут понятийными категориями. Они же, выявляясь в синтаксическом строе предложения, становятся грамматическими понятиями подлежащего и сказуемого» [1, с. 196]. Грамматическое понятие подлежащего выделяется синтаксической позицией, но оно может получать в качестве маркера и падежный показатель: как синтаксическая позиция, так и падеж являются грамматическими категориями подлежащего. В то же время падеж выступает звеном в другом ряду. Предметность — это понятийная категория, имя оказывается грамматическим понятием, передающим понятийную категорию предметности. Для того чтобы эта понятийная категория стала грамматическим понятием имени существительного, необходимо, чтобы последнее имело свои формальные отличия; если эти отличия образуют систему, они рассматриваются как грамматические категории [1, с. 197].

Состав грамматических категорий не стабилен в разных языках. Нестабильными признаками являются категории рода, падежа, класса. Эта нестабильность или, вернее, отсутствие некоторых грамматических категорий в одних языках и их наличие в других может стать единицей типологической отмеченности.

Среди понятийных категорий выделяются фактически два разряда: они могут выступать 1) в лексике, 2) в синтаксисе и морфологии. Лишь выявляясь в синтаксисе и морфологии, они становятся грамматическими понятиями. Весьма определенно в этом случае применяется дальнейшее разграничение синтаксических и морфологических грамматических категорий. На примере понятийной категории атрибутивности И. И. Мещанинов демонстрирует типологические различия в оформлении грамматического понятия, которым является определение (член предложения). Минимальный дифференциальный признак этого члена предложения — синтаксическая позиция (в том случае, если он лишен показателей морфологического уровня). В тех же языках, где определение получает характеристики в виде системы присущих ему морфологических словоизменительных категорий (согласовательные категории рода, числа, падежа, как, например, в русском языке), оно выделяется в особую часть речи. Эти варианты реализации понятийной категории атрибутивности и грамматического понятия определения обусловлены различиями грамматического строя и, следовательно, типологически отмечены.

При спецификации структур, оформляющих то или иное грамматичес-

кое понятие, а следовательно, и понятийную категорию, И. И. Мещанинов разграничивает дифференциальные признаки синтаксического и морфологического уровней, или, по его терминологии, синтаксические и морфологические грамматические категории. В его теории разграничение это имело принципиальное значение: оно было типологически релевантно. Знаменательны в этой связи критические замечания по поводу расширительного понимания морфемы у Вандриеса (И. И. Мещанинов считал, что Вандриес смешивал признаки единиц разных уровней — морфологического и синтаксического): «Даже место, занимаемое словом в строе предложения, признается за критерий морфологического характера... Между тем такие синтаксические средства, определяющие член предложения, остаются связанными рамками чисто синтаксических заданий» [1, с. 17—18]. Особенно строго разграничивались синтаксические и словоизменительные признаки при сопоставлении изолирующих (по терминологии И. И. Мещанинова — аморфных) языков с агглютинативными и флективными языками. По-видимому, не во всем можно согласиться с характеристикой строя изолирующих языков, которую давал И. И. Мещанинов в книге «Члены предложения и части речи», утверждая, что в этих языках понятийные категории получают преимущественно синтаксическое воплощение: вместо морфологических (словоизменительных) показателей в них выступают показатели синтаксические. В такой обобщенной форме положение это по меньшей мере дискуссионно.

В более поздней работе [8, с. 18—19] И. И. Мещанинов, вслед за А. А. Драгуновым, отмечал наличие в китайском языке суффиксов и служебных слов, маркирующих некоторые грамматические категории имени и глагола. Еще Н. Н. Коротков в 60-е годы указывал на формирование в китайском языке в период от X до XV вв. видовременных оппозиций при помощи частиц агглютинативного типа [9, с. 280]. Постепенно вычленилась у существительных категория числа. Вместе с тем нельзя считать случайным, что в китайском языке выделяются такие грамматические категории, которые относятся к несловоизменительным категориям в морфологии даже такого флективного языка, как русский (вид в глаголе, число в имени существительном).

Таким образом, в тех исследованиях, где разрабатывалась теория понятийных категорий, И. И. Мещанинов несколько обобщил и схематизировал типологическую характеристику отдельных изолирующих языков, заменяя ее непротиворечивым конструктом изолирующего типа (о разграничении типологической характеристики конкретного языка и обобщенного типологического эталона см. [10, с. 24]).

Обращаясь, однако, вновь к методике лингвистического анализа, базирующейся на теории понятийных категорий, следует подчеркнуть, что последовательно проводившееся разграничение разных способов выражения содержательных единиц (понятийная категория, грамматическое понятие, грамматическая категория) в принципе было весьма существенно для выявления типологически релевантных различий и типологического изоморфизма разноструктурных языков. В том же направлении шел анализ неграмматических форм выявления понятийных категорий.

В своем исходном определении понятийной категории автор подчеркивал возможность ее выявления в семантической стороне лексики, в синтаксическом строе и в морфологическом оформлении слова [1, с. 196—197]. В ходе дальнейших рассуждений включение категории грамматического понятия, объединяющего морфологию и синтаксис, привело фактически к обособлению лексики. В связи с этим, естественно, возникает вопрос: что имел в виду И. И. Мещанинов, когда он писал о выявлении понятийных категорий в семантической стороне лексики? По-видимому, не семантику отдельного слова. Данное предположение подтверждается следующим его высказыванием: «Всякое понятие, существующее в сознании человека, может быть передано средствами языка. Оно может быть передано семантикой отдельного слова, может в своей языковой передаче образовать систему. В последнем случае выступает понятийная категория» [2, с. 15]. Системность средств выявления понятийной категории является

ее существенным дифференциальным признаком, столь важным для принципов типологического анализа. Это положение в лингвистической системе И. И. Мещанинова являлось столь существенным, что он неоднократно повторяет его.

Подчеркивая, что не всякое понятие является понятийной категорией, а только такие понятия, которые получают в языковом строе определенное оформление, он вместе с тем уточнял, что это оформление находит свое выражение в определенной лексической, морфологической или синтаксической системе. Тем самым лексическая система как условие реализации понятийной категории противопоставляется семантике отдельного слова. Неясным остается, однако, какое содержание И. И. Мещанинов вкладывал в понятие лексической системы, какие требования он предъявлял к неграмматическим структурам, выявляющим понятийную категорию. В качестве единственного примера такой понятийной категории автор приводит выделение в русском языке мужского и женского полов, которое в этом языке является различием понятийным. «Эти понятийные категории выступают в русском языке в лексике, в соответствующей семантике слов, но морфологического выявления в родовых показателях не имеют» [1, с. 196], в отличие от противопоставления «мужской — женский род», которое формально маркируется. По-видимому, к этому типу понятийных категорий относится и оппозиция «одушевленность — неодушевленность» в немецком языке, не получающая грамматического отражения, в отличие от русского, где различие форм объекта при переходном глаголе (типа *я вижу стол, но я вижу мальчика*) указывает на существование соответствующего грамматического понятия. Однако следует признать, что этот тезис в концепции И. И. Мещанинова остался неясным.

В разработанной И. И. Мещаниновым теории понятийных категорий стержневым остается выделение понятийной категории по отношению к грамматическому понятию и грамматической категории. Иными словами, оппозиция «прикреплена» к единицам грамматического анализа. Ведущим фактором в построении данной модели, как уже отмечалось выше, было противопоставление универсального, общего, представленного понятийной категорией, и особого в реализации этого общего в конкретном языке. С этим было связано разграничение уровней анализа содержательных и формальных категорий. В отличие от теории универсалий, основной задачей которой было обнаружение того общего, что присуще всем или большинству языков, для теории понятийных категорий не менее важным оказывается исследование специфического, особого, что свойственно функционированию общего в конкретном языке. Этим объясняется то внимание, которое И. И. Мещанинов уделял типологическому анализу грамматических категорий.

Важно отметить, что описанная система лингвистических понятий была обязана своим возникновением переходу И. И. Мещанинова к проблематике синхронной типологии, но, быть может, не в меньшей степени и частичному изменению в выборе предмета исследования. Не целостные синтаксические построения, не структура предложения явились центральной проблемой книги «Члены предложения и части речи», где впервые эксплицитно описана теория понятийных категорий, но те значимые единицы и классы единиц, которые, хотя они и существуют в разных модификациях только в предложении, обладают своим собственным статусом. Быть может, частично этим объясняется, что в более поздних работах И. И. Мещанинова, посвященных специально синхронной синтаксической типологии, описанный выше понятийный аппарат не используется. С другой стороны, по-видимому, И. И. Мещанинов видел и некоторые недостатки предложенной им системы описания (например, противоречивость в определении роли лексики в языковом моделировании понятийных категорий). Не случайно в предисловии к одной из последующих работ [8] термин «понятийные категории» поставлен в скобки как пояснение к термину «логико-грамматические категории»: «...субъект и предикат, образующие логико-грамматические (понятийные) категории, используемые языковым строем...» [8, с. 6]. Однако методика исследования, разрабо-

танная на основе применения этого аппарата и сочетавшая анализ общеязыковых содержательных категорий и приемов их грамматического оформления в отдельных языках, сохранение принципа системности при характеристике грамматических форм эргативного и номинативного строя [11, с. 7], отличает и последние труды И. И. Мещанинова, отражая существенные черты методологии типологических сопоставлений, связанной с теорией понятийных категорий.

Необычайная популярность типологической проблематики, разрабатываемой в разных аспектах, характеризует развитие языкознания последних десятилетий. Типология становится одним из ведущих направлений современного языкознания. Выделяются при этом типологические штудии, ориентированные на анализ содержательных категорий языка. Обширную информацию по этому вопросу дает материал обзора работ по контенсивной типологии в книге Г. А. Климова [10].

Проблемы контенсивной типологии, сами по себе достаточно сложные, приобрели особую остроту в связи с так называемой теорией «глубинных» и «поверхностных» структур. Пренебрежение к специфике поверхностных структур, непомерное расширение круга содержательных языковых универсалий снимало типологическую отмеченность анализируемых явлений. На уровне глубинных структур исчезало типологически отличное. К тому же иногда анализ языкового факта подменялся анализом внеязыковой действительности. Быть может, этим объясняется появление ряда работ, в которых фактически снимаются типологические различия между основными компонентами грамматического строя английского языка (языка номинативного типа) и языков, обнаруживающих структурные признаки эргативного типа (например, баскского или эскимосского) [12—15]. Нетрудно заметить, что эргативность в этих работах, хотя она и понимается названными авторами различно, лишена тех структурных признаков, которые определяют специфику грамматического типа этих языков (зависимость в оформлении субъекта-признака от характера глагола-сказуемого, особенности согласования между сказуемым и именными актантами, особенности в построении падежной парадигмы существительного и т. д.). Эти явления признаются нерелевантными для определения типа языка, поскольку они рассматриваются названными авторами как поверхностные структуры. Весьма характерно поэтому замечание Дж. Лайонза, что эргативность в индоевропейских языках «затемнена» падежными отношениями и типом согласования, но эти признаки относятся лишь к поверхностной структуре (ср. анализ взглядов Лайонза [16, с. 14]). М. Халлидэй рассматривает английское предложение *I like him* как эргативное, поскольку активная поверхностная структура «скрывает» пассивность лица. Поэтому замена более ранних (среднеанглийских) безличных конструкций типа *me likað* современным построением определяется как развитие эргативности. В действительности имелся, по-видимому, иной процесс: замена безличной конструкции при глаголах аффекта, существовавшей в разных индоевропейских языках, личными конструкциями была звеном в универсализации в английском языке схемы предложения «имя в общем падеже + личная форма глагола».

Так изоляция семантико-синтаксических связей от закономерностей их структурирования в формах языка ведет невольно к искажению содержания самих построений. В типологических же исследованиях это приводит к фактическому снятию различительных признаков грамматического строя сопоставляемых языков и тем самым к разрушению самих принципов типологических характеристик. Все настойчивее поэтому выдвигается задача общей типологии: как наиболее адекватно самой сущности языка сочетать выявление и изучение категорий языка, образующих его содержательный каркас, с анализом форм реализации этих категорий? Методика анализа, предложенная И. И. Мещаниновым и основанная на теории понятийных категорий, явилась одной из первых попыток построения такой модели типологических исследований.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мещанинов И. И. Члены предложения и части речи. Л., 1945.
2. Мещанинов И. И. Понятийные категории в языке. М., 1945.
3. Мещанинов И. И. Новое учение о языке. Стадиальная типология. Л., 1936.
4. Мещанинов И. И. Общее языкознание. К проблеме стадиальности в развитии слова и предложения. Л., 1940 (перепечатано в кн.: Мещанинов И. И. Проблемы развития языка. Л., 1975).
5. Мещанинов И. И. Проблема стадиальности в развитии языка.— ИАН ОЛЯ, 1947, № 3 (перепечатано в кн.: Мещанинов И. И. Проблемы развития языка. Л., 1975).
6. Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.
7. Гухман М. М. Историческая типология и проблема диахронических констант. М., 1981, с. 208—218.
8. Мещанинов И. И. Структура предложения. М.— Л., 1963.
9. Коротков Н. Н. Основные особенности морфологического строя китайского языка. М., 1963.
10. Климов Г. А. Принципы контенсивной типологии. М., 1983.
11. Мещанинов И. И. Основные грамматические формы эргативного строя предложения — В кн.: Эргативная конструкция предложения в языках различных типов. М., 1967.
12. Anderson Y. Ergative and nominative in English.— Journal of linguistics, 1968, 4.
13. Halliday M. A. Notes on transitivity and theme in English.— Journal of linguistics, 1967, 3; 1968, 4.
14. Halliday M. A. Language structure and language function.— In: New horizons in linguistics. Harmondsworth, 1970.
15. Lyons J. Introduction to theoretical linguistics. London — New York, 1968.
16. Гухман М. М. Лингвистические универсалии и типологические исследования.— ВЯ, 1973, № 4.

АРУТЮНОВА Н. Д.

ОБ ОБЪЕКТЕ ОБЩЕЙ ОЦЕНКИ

1.

Аксиологическая проблематика ставит любого исследователя, будь то логик, философ или лингвист, в ситуацию с двумя неизвестными: одним неизвестным является природа объекта оценки, другим — природа того свойства (или тех свойств), которые обозначаются оценочными предикатами. В логико-философской литературе основное внимание уделялось второму из названных вопросов: дискуссия о существовании и существе свойства «хорошести», а соответственно, и о дескриптивности или недескриптивности аксиологических прилагательных имеет долгую историю [1—6]. Однако сколь бы ни был плодотворен анализ ценностных свойств объектов, к которым приложимы общеоценочные предикаты *хороший* и *плохой*, он не должен вытеснить из поля рассмотрения первый из упомянутых вопросов.

Логики ограничивают проблему объекта оценки дилеммой «предмет или пропозиция». Выбор большей частью падает на пропозициональную структуру: считается, что оценочные предикаты относятся не к предметам (*thing-like entities*), а к положениям дел (*proposition-like entities*), т. е. являются предикатами второго порядка [7]. Эта точка зрения особенно прочно утвердилась в логике предпочтения, оперирующей ценностным сравнением ситуаций [8—10].

Оставив в стороне вопрос о предметном объекте оценки (мы вскользь коснемся его в конце статьи), обратимся к непредметным сущностям, вводимым в аксиологический анализ. Неоднородность области непредметных объектов, представленной такими категориями, как пропозиция, положение дел, событие, ситуация, процесс, действие, поступок, факт и др., стала достаточно очевидной в ходе лингвистических и логических исследований последних десятилетий [11—14]. Однозначных характеристик, впрочем, перечисленные категории не получили. Причина тому кроется не только в разнообразии использованных подходов, но и в размытости языкового употребления и обилии семантически диффузных контекстов.

Для наших целей достаточно различать два ряда непредметных объектов: *процессы* (состояния, свойства, события) и *факты* (собственно пропозиции). С небольшой долей метафоричности можно утверждать, что первый ряд объединяет все то, что составляет среду погружения человека в мир, а второй — то, что есть результат погружения мира в сознание человека. Категории первого ряда могут различаться между собой по таким параметрам, как статичность/динамичность, градуированность/неградуированность, кульминативность/некульминативность, результативность/нерезультативность и т. п. Эти признаки используются при описании семантических типов предикатов [15]. Для второго ряда характерны различия по признакам реальности/гипотетичности, истинности/ложности (логическому качеству), утвердительности/отрицательности, по референции субъекта (логическому количеству) и другим чертам, используемым при классификации суждений. Эти признаки обычно выражаются средствами морфологии и синтаксиса. С указанными рядами объектов соотносятся два типа значения: *процессуальное* и *собственно пропозиitivное*, или *фактообразующее*. Выбрав в качестве представителя первого ряда процесс и образовав обобщенный термин «процессуальное значение», мы руководствовались принципом «максимального раствора ножниц», т. е. наибольшей противопоставленности

факту. Оба значения связаны с предложением и чаще всего выражаются его номинализациями. Первое — полными номинализациями (*Розы приятно пахнут* → *П р и я т н ы й з а п а х р о з и з в е с т е н в с е м*). Вторые — неполными (*Розы приятно пахнут* → *Т о , ч т о р о з ы п р и я т н о п а х н у т , и з в е с т н о в с е м*) [11, 16]. Сравнив приведенные примеры, можно убедиться в том, что полная номинализация относится непосредственно к реалиям, а неполная — к суждениям о реалиях. Это различие имплицитно и разницу в значении предиката. В первом примере *известен* значит «эмпирически знаком» и предполагает погружение человека в мир роз. Во втором примере *известен* допускает любой источник знания, в том числе минуя прямой контакт с розами. Речь идет о погружении в когнитивный мир (ноосферу).

И процессуальное, и фактообразующее значения могут быть выражены и другими языковыми средствами (инфинитивом, личной формой глагола и пр.). Различие между ними нередко вуалируется общностью формы выражения. Если при этом неоднозначен и предикат, то предложение допускает двойкую интерпретацию, например, *Появление в городе канатоходца Тибула не было замечено*. Такое различие поддается выявлению — только фактообразующее значение допускает развертывание в придаточное: *Т о , ч т о Т и б у л п о я в и л с я в г о р о д е , о с т а л о с ь н е з а м е ч е н н ы м*. Поэтому его можно условно назвать «то-что-значением». При фактообразующем субъекте предикат приведенного выше предложения означал бы, что никто не обратил внимания на приезд Тибула (хотя, возможно, некоторые из жителей были свидетелями этого события), так как он не нарушил привычного течения городской жизни. При событийной (процессуальной) интерпретации субъекта предикат должен быть понят в самом прямом смысле: «никто из жителей не видел, как Тибул проник в город».

Наиболее важные черты, отличающие фактообразующее значение от процессуального, сводятся к следующим (подробнее см. [17]).

1) Фактообразующее значение способно включать отрицание: *Т о , ч т о п р и н ц не о т л и ч и л д е в о ч к и о т к у к л ы , у д и в и т е л ь н о ; Т о , ч т о р о з ы не пахнут, ложь*. Факты могут быть как положительными, так и отрицательными. Поэтому фактообразующее значение всегда наводит на мысль об альтернативе, дизъюнкции.

2) Фактообразующее значение не градуировано: факты лишены степеней, сами по себе они не измеримы.

3) Фактообразующее значение способно входить только в интенциональный контекст, т. е. соединяться с модальными, логическими, когнитивными и оценочными предикатами, а также с соответствующими им пропозициональными отношениями (установками): *Я знаю (полагаю), что лето возвратится; Т о , ч т о л е т о в о з в р а т и т с я , в с е м и з в е с т н о ; Я рад (надеюсь), что лето возвратится; Т о , ч т о л е т о в о з в р а т и т с я , в е с ь м а в е р о я т н о ; С о м н и т е л ь н о , ч т о л е т о в о з в р а т и т с я* и т. п.

4) Фактообразующее значение не соотносится с глаголами физического восприятия. Факты, в отличие от событий и процессов, не даны нам в ощущениях. Нельзя сказать: **Я слышал (видел), что дети пришли с прогулки*. Следует сказать: *Я видел, как дети возвращались с прогулки*. В тех случаях, когда такое употребление допускается, глагол восприятия меняет свое значение: *Я слышала (= мне сказали), что дети вернулись с прогулки; Я видел, что дети вернулись с прогулки (= Я знаю, что дети вернулись с прогулки, так как я видел, как они возвращались)*. Констатируя факты, мы не исключаем их из интенциональной сферы: *то-что-значение* противостоит *то-как-значению*, обращая факт в доступный восприятию процесс. Мы в и д и м , к а к р а з в о р а ч и в а ю т с я (п р о т е к а ю т) с о б ы т и я , н о з н а е м , ч т о о н и п р о и с х о д я т и л и н е п р о и с х о д я т . О т н о с и т е л ь н о е м е с т о и м е н и е *как*, подчиненное глаголу, устанавливает прямой контакт между модусами восприятия и предикатом придаточного. Если *знать, что...* управляет связкой (предикативным отношением), то *видеть, как...* управляет непосредственно глаголом (предикатом). Показательно, что после *как* избегается синтаксическая негация, несовместимая с процессуальной семантикой. Нельзя сказать **Я видел, как не остановился*

поезд, хотя можно быть свидетелем того, что заполнило „пустоту“: *Я видел, как поезд прошел мимо, не останавливаясь.*

5) Изменение актуального членения внутри фактообразующего субъекта влияет на условия истинности предложения [18, 19]. Предложения *То, что я отдал книгу Ване, всех удивило*, *То, что я отдал Ване книгу, всех удивило* и *То, что я книгу Ване отдал, всех удивило* имеют разные условия истинности. Все три номинализации относятся к одному и тому же событию действительности, но указывают на разные факты. События, наиболее ярким признаком которых является включенность в некоторую, в том числе личную, сферу, многогранны, и каждая их грань может быть субстратом отдельного суждения. Последнее, если оно истинно, состав- факт. Именно факты являются причинами других событий [11]. Таким образом, события каузально неоднозначны.

Общеоценочные предикаты составляют одну из немногих категорий среди предикатов второго порядка, которые способны характеризовать оба рассмотренных выше типа непредметных объектов. Когда речь идет о среде погружения человека, то оценка проистекает из ощущений и может быть дифференцирована в зависимости от способа восприятия объекта (ср. *вкусный, ароматный* и пр.). В этом случае говорят о г е д о н и с т и ч е с к о й, или с е н с о р н о й, оценке. Эти термины будут употребляться синонимично. Если имеются в виду интенциональные объекты, то оценка опирается на иные принципы (нормативность, утилитарность, причинно-следственные отношения и т. п.) и имеет рациональный характер. Априорно достаточно ясное, это распределение затемнено двумя обстоятельствами: 1) тем, что оба вида оценки могут быть выражены одинаково, 2) тем, что разные объекты оценки (факты и процессы) могут быть обозначены одинаковыми языковыми средствами.

Между тем различие в оценке фактов и процессов (событий) настолько разительно, что разные оценки одного и того же явления, рассматриваемого либо как факт, либо как процесс, совместимы в одном высказывании. Можно сказать: *Хорошо, что я плохо спал, иначе я не заметил бы, что загорелась проводка.* Чем болезненней неизбежный процесс (или событие), тем большее удовлетворение (но не удовольствие) может доставить факт его свершения и завершения. Напротив, чем приятнее процесс, тем более нежелательные последствия можно ожидать от факта его осуществления. Преобразование процесса в факт (замена «как» на «что») нередко меняет знак оценки на обратный. Процессы оцениваются с позиций настоящего момента (ощущения), факты — часто с позиций будущего (следствий). Процессы связаны с желаниями и потребностями, факты — с разумом и волей. Несогласованность в оценке процессов и фактов составляет, как известно, основную коллизию человеческого бытия и поведения. Оценки фактов и процессов в принципе взаимонезависимы. Предложение *Мне хорошо выдернули зуб* не только не равнозначно высказыванию *Хорошо, что мне выдернули зуб*, но и не имплицитует его. Из оценки процесса может вытекать любая оценка соответствующего ему факта. Верно и обратное: оценка факта допускает любую оценку своей процессуальной основы. Известно изречение: «И нельзя сказать „Это хуже того“, ибо все в свое время признано будет хорошим». Между тем человек на каждом шагу должен решать, что лучше и что хуже, и для этого ему нужно привести факты и процессы к некоторому общему знаменателю.

Механизмы речеобразования согласуются с механизмами жизни: каждый вид оценки располагает своей синтаксической позицией (по крайней мере, в ее первичной функции). Оценка процессов выражается либо наречием (*Я хорошо спал*), либо предикативом, или категорией состояния (*Хорошо спать на свежем воздухе*). Оценка фактов выражается аксиологическим оператором и соотносительными с ним предикатами второго порядка (*Хорошо, что ты сказал правду; То, что ты сказал правду, хорошо*). Все три вида оценки совместимы в одном высказывании: *Хорошо, что даже плохо видеть хорошо.* Рассмотрим подробнее каждую ситуацию на материале русского языка.

Процессы и события составляют, как было отмечено, среду физического и психического погружения человека в действительность. Их воспринимает субъект прямого контакта; он их и оценивает. Оценка не нуждается ни в какой иной мотивировке, кроме отсылки к собственным ощущениям. Например: «Она не могла сказать, отчего ей плохо, что давит сердце. Дом — полная чаша, муж любит больше даже, чем бы ей хотелось, све-кровь меньше, чем все другие, кого она знает, жмет. Отчего же так мучительно, так бесконечно хочется выплакаться» (Серафимович). Вопрос о причине психологического или иного дискомфорта, конечно, занимает человека, поскольку он желает ее устранить. Однако речь в этом случае не идет о мотиве оценки. Мотив оценки всегда связан с модусом суждения (*По ряду соображений я сч и т а ю, что это хорошо*). Высказывания сенсорной оценки в своих основных (исходных) формах не имеют выраженного модуса. Их не может вводить пропозициональная установка мнения. Не говорят **Я думаю (считаю), что мне хорошо спалось (что я вкусно поел)*. Такие предложения не может вводить и предикат знания, поскольку в области ощущений нет противопоставления знания познанию. Нельзя сказать **Я знаю (не знаю), что вкусно ем* [20].

Мнение может быть либо истинным, либо ложным. Сенсорная оценка всегда истинна. Чтобы быть истинной, ей довольно быть искренней. Сенсорная оценка, пока она не оторвалась от субъекта и времени ощущения, имеет статус непроверяемой субъективной истины. К этому заключению приходили многие философы. Дж. Локк считал, что «вещи в момент их использования являются тем, чем они кажутся; в этом случае кажущееся и действительное благо всегда одинаковы» [21]. Аналогичный вывод делает Б. Спиноза: «Удовольствие, рассматриваемое прямо, не дурно, а хорошо; неудовольствие же, наоборот, прямо, дурно» [22].

Указанные выше два способа выражения сенсорной оценки (наречие и предикатив) совместимы в одном высказывании. Они могут одновременно характеризовать один и тот же процесс: *Хорошо спать хорошо: Плохо спать плохо*. Допустимы и «сенсорные извращения»: *Как хорошо плохо спать! Как плохо хорошо спать!* Очевидно также, что *Хорошо — жить* не то же, что *Жить хорошо*. Основное различие в значении двух видов оценки сводится к следующему: предикатив идентифицирует состояние (ощущение), вызванное глобальным (неделимым) действием; наречие выделяет из класса действий или процессов (состояний) аксиологически охарактеризованную разновидность (см. подробнее ниже).

Адвербиальная оценка действия, тесно связанная с лексическим значением глагола и его видовыми характеристиками, может осуществляться на самых разных основаниях: по техническому нормативу (*плохо стоять в строю*), по этической норме (*плохо поступать*), по смешанному — эстетическому и техническому — нормативу (*хорошо играть на скрипке*), по количеству объекта (*хорошо зарабатывать*), по его качеству (*хорошо писать*), по отношению процесса к кульминации, завершению (*плохо провариться*) и др. Нам здесь будет интересно только гедонистическая оценка, выносимая на основании прямых ощущений, возникающих в процессе осуществления действия. Предложений с неличным субъектом мы касаться не будем (ср.: *Розы хорошо пахнут*).

Гедонистическая оценка имеет своим объектом «приятные действия», то, чему человек предается для собственного удовольствия или для удовлетворения своих жизненных потребностей. Всякое действие, совершаемое человеком «ради себя», должно соответствовать требованиям, предъявляемым самим субъектом: *Я хорошо пообедал значит «Я остался доволен обедом»*. Оценочные суждения исходят от первого лица [23]. Употребление в третьем лице предполагает отсылку к первоисточнику и может сопровождаться модальностью неуверенности: *Он говорит, что хорошо провел время; Они, кажется, хорошо повеселились*. Этот признак противопоставляет гедонистическую оценку квалификации тех действий, которые обнаруживают некоторые личные достоинства — ум, ловкость,

мастерство, таланты, знания, способности. Аксиологическая характеристика собственных действий оборачивается в этом случае самооценкой, а позитивная самооценка не поощряется обществом.

Хвалить мастерство, ум, сметку значит хвалить обнаружившего эти качества человека. Не случайно оценка узуальных действий переходит на субъект: *хорошо работать* → *хороший работник*, *хорошо танцевать* → *хороший танцор*. Такие сочетания не используются в «автохарактеристиках». Сообщать же о собственных удовольствиях вовсе не значит хвалить самого себя. Перенос соответствующих определений на лицо блокирован: *хорошо веселиться* не преобразуется в **хорошего весельчака*, а *хорошо выкупаться* не дает **хорошего купальщика*. Склонность к увеселениям и удовольствиям не всеми одобряется. Имена лиц, выведенные из глаголов «приятных действий», часто имеют отрицательные коннотации (*гуляка*, *лакомка*, *гурман* и т. п.).

Оценочная квалификация «приятных действий» обычно происходит постфактум. Глагол регулярно ставится в прошедшем совершенном, часто с префиксом *по-*, сигнализирующим о временной границе процесса: *Мы хорошо повеселились*; *Как я хорошо выкупался!* Эта форма достаточно определенно указывает на гедонистический критерий оценки. Даже если оценка касается действия, имеющего технические или иные нормативы, она, несмотря на это, интерпретируется в гедонистическом смысле. Предложения типа *Я хорошо вчера походил на лыжах*; *Сегодня мы хорошо по-занимались* сообщают о том, что действие усладило исполнителя. Между тем в предложениях типа *Он хорошо ходит на лыжах* оценка основывается на техническом нормативе. Отрицательная оценка, которая не наталкивается на прагматические ограничения, может пониматься и в качественном, и в гедонистическом смысле; различие между тем и другим иногда маркируется префиксом *по-* (ср.: *Мы плохо танцевали вчера*; *испортился магнитофон* и *Мы плохо танцевали вчера: это было третье выступление за день*).

Оценка по нормативу относится к процессам или действиям как таковым; гедонистическая оценка характеризует процесс с подчеркнутыми временными границами, превращающими его в единичное событие (ср.: *плохо работать* и *плохо поработать*, *хорошо говорить* и *хорошо поговорить с кем-нибудь*).

Когда глагол, выдвигающий гедонистический критерий, употреблен не в первом лице и безотносительно к «позиции» субъекта действия, оценка утрачивает гедонистические основания. Так, сообщение *Я хорошо поел* означает «Я доволен едой». Когда же говорят *Ребенок хорошо поел*, то сообщение не касается ни вкусовых свойств еды, ни удовольствия субъекта действия. Оценка произведена на утилитарном основании.

Соответствующий общеоценочным наречиям компаратив соотносит однородные события: *Сегодня я спал хуже, чем вчера*. Сравнимые события не составляют альтернативы. Большей частью речь идет об изведенных процессах и пережитых событиях. Оценка основана на градации одного и того же признака.

Гедонистическая оценка, выраженная наречиями *хорошо* и *плохо*, избегает характеристики узуальных действий, и это отличает ее от нормативной оценки. Выказывания *Я хорошо пообедал (полежал на пляже)* относятся к частному случаю, локализованному в пространстве и времени. Предложения типа **Я всегда хорошо купаюсь (лежу на пляже)* не корректны: удовольствие неотделимо от конкретных условий, в которых его испытал человек. Если же оно мыслится отдельно от них, то речь идет о вкусах и склонностях субъекта: *Я люблю купаться*. Когда оценивается действие само по себе, то глагол ставится в инфинитиве, а оценочное наречие преобразуется в предикатив: *Хорошо ходить на лыжах*; *Как хорошо гулять по цветущим лугам!* Оценка конкретизируется в самих ощущениях говорящего. Именно гедонистическое значение сближает оценочное наречие с категорией состояния (предикативом): между действием и вызываемой им реакцией — физической и психической — образуются каузальные отношения.

В предложениях типа *Хорошо гулять по лесу* оценивается состояние, обычно невольное, участника события. Речь не идет о целенаправленных действиях. Инфинитив выключен из парадигмы спряжения, но может замещаться придаточным времени: *Хорошо, когда идешь по лесу*. Это показывает, что состояние синхронизировано со стимулирующим его процессом. При номинализации оценочное слово не преобразуется в определение. Оно сохраняет за собой позицию предиката: *Хорошо гулять по лесу* → *Прогулки по лесу хороши (приятны)* → *Как хороши прогулки по лесу!* Словосочетание *хорошая прогулка по лесу* соотносительно с адвербиальной конструкцией *хорошо прогуляться по лесу*, которая противопоставляет хорошую прогулку плохой. Понятие прогулки в этом случае подпадает под действие аксиологической таксономии, задаваемой миру человеком, а не человеку миром.

В предложении *Хорошо (приятно) гулять по лесу!* понятие лесной прогулки не участвует в каких-либо противопоставлениях. Из таких предложений нельзя вывести никаких заключений относительно того, что плохо. Если гулять по лесу хорошо, это не значит, что не гулять по лесу плохо или что плохо гулять по полю. Гедонистическая оценка состояния логически не имплицативна, хотя практически всякий знает, что выключение из неприятных переживаний или болезненных ощущений уже само по себе дает облегчение. Поэтому позитивная оценка в предложениях, содержащих явное или скрытое отрицание, приобретает имплицативность: *Хорошо быть здоровым* (=не болеть); *Хорошо иногда полениться* (=не работать). Положительные ощущения, вызываемые нормальным положением дел, возникают по контрасту с испытанными отклонениями от нормы.

Предикативы состояния *хорошо* и *плохо* входят в одну парадигму с такими другими представителями этой категории, как *весело, грустно, радостно, сладко, страшно, скучно, противно, приятно, неприятно, легко* (на сердце, душе), *тяжело, стыдно, смешно, обидно, досадно* и т. д., но не такими, как *грешно, благородно, неприято, подло* и др. (о разрядах внутри предикативов см. [24], о предикатах состояния см. [15, с. 121—131, 320 и сл.]). Именно в позиции, присущей категории состояния (предикативу), происходит постепенный переход от сенсорной оценки к рациональной. В предложениях типа *Вредно (плохо) есть на ночь грибы; Полезно (хорошо) по вечерам гулять* значение инфинитива приближается к фактообразующему в том отношении, что мотив оценки относится не к ощущениям, а к последствиям действия. Следующим после утилитарной оценки шагом в развитии аксиологического значения в позиции предикатива является значение этической оценки: *Плохо (нехорошо, незтично, невежливо, грешно, подло, неблагородно) так говорить; Хорошо (благородно) помогать друзьям*.

Таким образом, в позиции предикатива разворачивается целый спектр оценок от гедонистической до этической. Наименее свойственна этой позиции эстетическая оценка, сублимирующая принцип гедонизма.

В соответствии с изменением критерия оценки варьируется и характер ее объекта: значение инфинитива движется по шкале переходов от процессуального до пропозитивного.

Сопоставим два типа инфинитивно-оценочных конструкций: (1) *Хорошо бродить по лесу* и (2) *Хорошо пойти сейчас в лес*. В (1) сообщается о вызванном некоторым процессом (действием) приятном состоянии; (2) содержит оценку предстоящего события; оно фиксирует акт выбора определенного курса действий среди других возможностей; говорящий хочет сделать истинным суждение *Я пошел в лес*. В (1) *хорошо* несет на себе ударение, оно эмоционально выделено. В (2) выделен инфинитивный оборот, причем оценочное слово может сочетаться с частицей *бы*: *Хорошо бы в лес пойти*. Оно выражает желание или намерение осуществить некоторое действие или «впасть» в некоторое состояние: *Хорошо бы поспать часок*. В (1) может быть устранен инфинитивный оборот: *Хорошо бродить по лесу* → *Как хорошо!* В (2) устранимо оценочное слово: *Хорошо бы в лес пойти* → *Пойти бы в лес* (при колебании: *В лес что ли*

пойти). В (1) субъект оценки и субъект действия обычно совпадают; однако возможны «оценки наблюдения»: *Как хорошо детям плескаться в море!* В (2) субъект оценки может быть отделен от субъекта действия только при наличии частицы *бы*: *Хорошо бы тебе в лес за дровами сходить; Хорошо, чтобы ты в лес за дровами сходил*. В (1) место инфинитива может занять придаточное времени: *Хорошо, когда бродишь по лесу*. В (2) — условное придаточное: *Хорошо, если бы мы в лес пошли*. (1) либо относится к актуальной ситуации, либо выражает общее суждение о классе ситуаций, отражающее вкусы и склонности говорящего: *Хорошо бродить по лесу* часто интерпретируется как «Я люблю гулять по лесу». В (2) выражено намерение (твердое или «мечтательное») относительно предстоящего проведения времени; высказывание не может быть оторвано от актуальной ситуации. Сенсорно-оценочное *хорошо* тяготеет к несовершенному инфинитиву процессуального действия: *Хорошо бродить по лесу (купаться в море, нежиться на солнце)*. Совершенный вид при гедонистической оценке означает «мгновенное» действие, стимулирующее длительное состояние: *Хорошо утром окунуться в холодную воду*. В (2) обычно используется инфинитив совершенного вида, относящийся к будущему действию. Несовершенный вид выражает повторность (*Хорошо бы каждый день в лес ходить*), либо указывает на общеутилитарный характер оценки (*Хорошо по утрам делать гимнастику*).

Инфинитив в предложениях гедонистической оценки может замещаться разнообразными обстоятельственными оборотами: *Хорошо с тобой; Плохо сейчас в лесу*. Инфинитив в предложениях намерения (желания) допускает замены только при наличии частицы *бы*: *Хорошо бы в лес (В лес бы)*. В (1) обстоятельство отвечает на вопросы *где?* и *как?*, в (2) — на вопрос *куда?*, и это дает ощущение эллипсиса (ср.: *Татьяна в лесу и Татьяна в лес*).

В (1) дательный субъекта синтаксически связан с оценочным словом: *Хорошо нам вдвоем; Кому на Руси жить хорошо?* В (2) дательный перешел от оценочного слова к инфинитиву: *Хорошо бы тебе в магазин сбежать; Не опоздать бы мне на работу*. В (1) инфинитив избегает отрицания, в (2) утверждение и отрицание равноправны. В (1) оценка употребляется и в своем позитивном, и в своем негативном варианте: *Хорошо бродить по лесу; Плохо пробираться через колючий кустарник*. В (2) возможна только положительная оценка: **Плохо мне опоздать на работу; *Плохо бы тебе сидеть дома* (этическая и утилитарная оценка, естественно, допускают как одобрение, так и порицание).

Этот пример показывает, насколько хрупка синтаксическая система. Как только в употребление вовлекается та или другая модальность (в данном случае модальность желания, намерения) *хорошо* отрывается от *плохо*. Парадигматические отношения, основанные на аксиологических оппозициях, нисколько не гарантируют тождества условий употребления антонимических оценочных предикатов.

Суммируем теперь основные черты гедонистической оценки в ее классической форме: 1) гедонистическая оценка релятивизована относительно субъекта ощущения и обладает параметром субъективной истины, 2) она не нуждается в мотивировке, 3) сенсорная оценка не вводится пропозициональными отношениями мнения и знания, 4) сравнение, которое не является необходимым атрибутом сенсорной оценки, касается аналогичных, входящих в один класс событий, 5) ценностное сравнение не предполагает дизъюнкции сопоставляемых процессов, 6) сенсорная оценка логически не имплицативна, 7) противоположные оценки не объединяются в единый скалярно-антонимический комплекс (типа «маленький — большой»): положительные ощущения достаточно определенно отделены от отрицательных (*меньше страдать* не значит «получать больше удовольствия»), 8) положение объекта вне сенсорной оценки определяется его неспособностью стимулировать ощущения, 9) сублиматом сенсорной оценки является эстетическая оценка, 10) сенсорная оценка не пользуется понятием нормы.

Ранее уже был отмечен ряд черт, противопологающих оценку процессов оценке фактов. Сейчас выделим главное. В позиции аксиологического оператора используются почти исключительно общеоценочные предикаты *хорошо* и *плохо*, выключенные из парадигматических отношений со своими эмоциональными синонимами. Такие оценки, как *отлично*, *превосходно*, *прекрасно* и др., допускают только автономное употребление типа *Вот и отлично: Превосходно! Вот это замечательно*.

Аксиологический оператор может сближаться с предикатами психологической реакции, порождаемой как процессами, так и фактами: *Я рад, что вы пришли; Мы огорчились, когда узнали, что наш проект отклонен*. Психические реакции и состояния возникают не только при прямом включении в процессы, но и вследствие узнавания фактов.

Аксиологические операторы распространяют свое действие на целиком взятую пропозицию, которая может быть выражена придаточным дополнительным с союзом *что* и без него, придаточным условным, а также инфинитивом: *Хорошо, что ты мне помог; Хорошо (бы) люди помогли; Было бы хорошо, если бы люди помогли; Будет хорошо, если ты мне можешь; Хорошо, если помогут; Хорошо помогать друзьям*.

Все примеры, кроме второго, допускают оппозицию *хорошо/плохо*. Аксиологический оператор избегает прошедшего времени. Не говорят **Было хорошо, что ты мне помог*. Значение рациональной оценки, особенно этической, стремится освободиться от временных ограничений.

Поскольку критерием оценки фактов не служат ощущения, субъект оценки может не совпадать с субъектом, вовлеченным в оцениваемое положение дел. Оценка фактов выражает точку зрения, и она — явно или не явно — вводится пропозициональным отношением мнения: *Я считаю, что хорошо помогать друзьям; Я нахожу, что было бы хорошо, если бы ты мне помог*. Оценка стороннего наблюдателя может оказаться иной (возможно, более дальновидной), чем мнение участника события, который не всегда пожелал бы себе те перспективы, которые открывают перед ним другие, например: *«Было бы неплохо, если бы с нею случилось несчастье, неудачный роман или что-нибудь в этом роде. Было бы для нее полезно, если бы что-нибудь согнуло ее гордость»* (М. Горький).

Оценка фактов имеет рациональный характер и подлежит обоснованию: *Хорошо, что дождь пошел, а то (иначе, в противном случае) пришлось бы огород поливать*. Мотивом оценки здесь служит указание на отрицательное следствие из обратного реальному положению дел. Оценка факта, таким образом, вводит пропозицию в контекст причинно-следственных отношений.

Если речь идет о сознательных действиях, то мотивом оценки может служить отношение к норме. Такой мотив вводит пропозицию в нормативный или дидактический контекст с характерными для него модальностями разрешенности и запрета, необходимости и свободы: *Плохо, что ты обидел девочку. Нельзя обижать слабых*. Сублиментом оценки фактов (а не процессов или событий) является этическая оценка. Этическая оценка сводит любое «как» к «что»: *к а к ты поступил определяется тем, ч т ó ты сделал*. Эстетическая оценка, напротив, преобразует «что» в «как». В сочетании с глаголом *поступать* наречия *хорошо* и *плохо* характеризуют целиком взятую пропозицию и могут быть приравнены к аксиологическому оператору: *Ты хорошо поступил, защитив друга = Хорошо, что ты защитил друга*. Глаголы *поступать* и *делать* могут управлять придаточным: *Ты плохо поступил (сделал), ч т о н е п р е д у п р е д и л о б о п а с н о с т и*.

Оценка фактов, выражающаяся аксиологическими операторами, тесно связана со сравнением. Та или другая оценка данного факта имплицитно обратную оценку соответствующего отрицательного факта: *Хорошо, что ты сказал правду, а не солгал. Солгать было бы дурно*.

Общеоценочный оператор часто используется в ситуации разрешенной альтернативы: *Хорошо, что пришел ты, а не он: Хорошо, что ты*

все-таки пришел; Хорошо, что мы поехали в Крым, а не на Кавказ. Особенно регулярно эксплицируется «противовес» в предложениях с именной ремой, допускающей множественность альтернатив. Но даже когда высказывание ограничено оценкой факта, в нем заключено неявное сопоставление с соответствующим отрицательным фактом, который либо сам по себе хуже положительного, либо мог бы повлечь за собой отрицательные последствия. Высказывание *Хорошо, что ты пришел* может быть сказано хозяином, который рад видеть у себя гостя; оно также может быть произнесено в ситуации, когда приход предотвратил несчастье: *Хорошо, что ты пришел и выключил утюг*. Речь здесь идет о счастливой случайности.

Оценка может относиться и к собственным действиям. Она задним числом констатирует возможность иного выбора, т. е. указывает на колебания поведения: *Как хорошо, что я вовремя пришел на конференцию. Был интересный доклад*. Говорящий дает понять, что благоприятные последствия образа действий превзошли ожидания.

Компаративное значение аксиологического оператора ясно выступает в конструкции с придаточным условным, выражающим допущение: «Лежи и мучайся: так тебе, дураку, и надо, и хорошо, если просто дураку, а то и подонку» (В. Солоухин), ср. также: *Хорошо, если он сдаст экзамен на тройку, а не провалится (а то может и провалиться)*. Речь в этом случае идет о сопоставлении двух гипотетических положений дел (характеристик, мнений, оценок), причем оба они отрицательны. Поэтому *хорошо* в такого рода конструкциях не противопоставлено *плохо*. По значению оно приближается к *лучше*, от которого отличается следующим признаком: *хорошо* употребляется тогда, когда выбор делается судьбой, а *лучше* — тогда, когда он зависит от воли человека, ср.: *Хорошо, если поезд не опоздает; Хорошо, если мы не опоздаем на поезд и Лучше нам не опаздывать на поезд; Лучше будет, если мы поторопимся*. Компаратив *лучше* связан с решением или рекомендацией.

Суммируем основные черты, характерные для оценки фактообразующего объекта, выраженной позитивами *хорошо* и *плохо*: 1) оценка фактов (возможностей) по существу своему компаративна, 2) обычно сопоставляется факт и возможность его неосуществления, реальное и гипотетическое положение дел, утверждение и отрицание, 3) скалярно-антонимический комплекс, лежащий в основе сравнения, достаточно ясно разделен на области положительной и отрицательной оценок, 4) оценки взаимно имплицитивны: из положительной оценки некоторого факта вытекает негативная оценка соответствующего отрицательного факта, и наоборот, 5) субъект оценки не обязательно совпадает с субъектом действия или участником события, 6) оценка мотивируется, причем мотив имеет рациональный характер, 7) оценочное суждение может быть введено модусом полагания (мнения), 8) положение вне оценки определяется невхождением в область интересов человека, 9) сублиматом оценки фактов является этическая оценка, 10) этическая оценка пользуется понятием нормы.

4.

Аксиологический оператор легко преобразуется в компаратив, выполняющий функцию пропозициональной связки (подробнее см. [25]): *Лучше плакать кстати, чем смеяться не вовремя*; «Послушай-ка, — тут перервал мой Лжец, — чем на мост нам идти, понщем лучше броду» (Крылов). Хотя позитив *хорошо* в функции аксиологического оператора имплицитивно подразумевает сравнение, выбор термина сравнения для неявного компаратива *хорошо* (*плохо*) и для открытого компаратива *лучше* следует разным принципам: неявный компаратив в большинстве случаев сравнивает л о г и ч е с к и противопоставленные ситуации, явный компаратив сравнивает ф а к т и ч е с к и несовместимые положения дел. Сравнимые ситуации соответствуют реальным жизненным альтернативам. Разрешение альтернативы аннулирует аксиологическую связку. Можно сказать: *Хорошо, что ты не пришел*, имея в виду сравнение с возможностью прихода, но не **Лучше, что ты не пришел, чем если бы ты пришел*.

Аксиологическое сравнение используется преимущественно в ситуации принятия решения или рекомендации. При этом обычно сопоставляются не утверждение и его отрицание, а два разных положения дел. Ярким признаком аксиологической пропозициональной связи является допущение относительной семантической автономности соединяемых ею пропозиций: *Лучше поехать на курорт, чем покупать дачу*. Речь идет о дизъюнктивно мыслимых положениях дел, образующих искусственный компаративный класс. Широкие возможности сопоставления несопоставимого, допускаемые аксиологической связкой, демонстрирует образное сравнение — выросший из дизъюнкции художественный прием: «Господа, никогда не влюбляйтесь в замужних женщин. Честное слово, лучше быть раненым в плечо и в ногу навывлет, как ваш покорный слуга, чем любить замужнюю» (А. Чехов).

Различие между явным и неявным аксиологическим компаративом проявляется и в их сочетаниях с частицами. Модальная частица *еще* в соединении с открытыми компаративами *лучше* и *хуже* служит показателем их связи с соответствующими им исходными формами (*лучше* с *хорошо*, а *хуже* с *плохо*). Когда говорят *Мальчик стал учиться еще лучше*, то это значит, что он и раньше учился хорошо. Если же говорят *Он стал учиться лучше* или *Он чувствует себя лучше*, то вполне возможно, что улучшение не достигло черты, отделяющей плохие показатели от хороших. Напротив, при скрытом сравнении (*хорошо еще, что...*) модальная частица *еще* служит знаком переключения оценки в другую (противопоставленную) часть аксиологической шкалы: *хорошо еще* = «не так плохо, менее плохо, еще ничего, могло бы быть хуже, бывает хуже». Ту же функцию выполняет опущение союза *что*: *Хорошо еще люди помогли, а то совсем бы пропал; Хорошо нашелся добрый человек, выручил*. Такие предложения часто используются в ситуации, когда случай (или случайный человек) помог выйти из беды. В некоторых языках в этой функции стабилизировался оборот со значением «менее плохо» (ср. исп. *menos mal*, итал. *meno male*). Положительный компаратив *лучше* связан с надеждой на лучшее, с ожиданием восстановления нормы. Поэтому он естественно сочетается с частицей *уже*: *Больной чувствует себя уже лучше*. Отрицательный компаратив *хуже*, напротив, избегает этой частицы. Даже в ситуации неуклонного ухудшения не говорят **Он работает уже хуже* или **Он чувствует себя уже хуже*. Скорее скажут *Он работает все хуже*, и такое утверждение не отменяет надежды на то, что положение выправится. В перспективе жизни люди чувствуют себя все хуже, но в каждый данный период можно с основанием утверждать *Мне уже лучше*. Таким образом, сочетаемость с частицами обнаруживает разобщенность членов аксиологического комплекса: *хорошо* и *лучше*, *лучше* и *хуже*.

Хотя *хорошо* может рассматриваться как неявный компаратив, его употребление далеко не аналогично употреблению *лучше*, и практически нет таких контекстов, в которых *хорошо* и *лучше* были бы взаимозаменяемы. Эти различия в основном сводятся к следующим. Позитив *хорошо* имплицитно предполагает сравнение двух логически исключаящих друг друга фактов, причем положительная оценка одного из них предполагает отрицательную оценку другого. *Хорошо* тяготеет к выражению оценки постфактум.

Для аксиологической связи характерно соединение неоднородных положений дел. Важно лишь то, что они фактически (но не обязательно логически) исключают друг друга. Жизнь не ведает пустоты. «Пустующая клетка» заполняется той или другой ситуацией. За каждым отрицательным фактом скрываются разные положения дел, и именно они привлекаются для сравнения, когда нужно выбирать. Направленность *лучше* на выбор или рекомендацию дифференцирует употребление компаративов *лучше* и *хуже*. Когда речь идет о принятии решения или совете, употребляется только *лучше* (подробнее см. [25, с. 336]).

Оправданность решения последующим развитием событий не может служить логическим доказательством того, что выбор альтернативы повел бы к жизненному проигрышу. Положительная или отрицательная оценка одной из возможностей в принципе не гарантирует обратной оцен-

ки другой. В известном смысле можно утверждать, что «диахронически» лучше предшествует хорошо: *Лучше поехать на дачу, чем оставаться в городе* (выбор); *Хорошо, что я поехал на дачу, а не остался в городе* (итог). Временная последовательность оценок, однако, не перерастает в логическую зависимость. Преоценка и переоценка автономны: *Лучше поехать на дачу, чем оставаться в городе* (выбор); *Лучше было бы остаться в городе, чем ездить на дачу* (итог). Удовлетворение правильностью действий ведет к замене *лучше* на *хорошо*; сожаление о неверном выборе, которое как бы оставляет дилемму в аксиологическом плане открытой, сохраняет компаратив *лучше*. Если при сопоставлении реального события и его возможной альтернативы, в фокусе находится оценка того, что случилось на самом деле, выбирается позитив (*Хорошо, что ты помог мне, а то я сам не решил бы задачи*). Если же в фокус попадает оценка альтернативы, т. е. положения дел, обратного случившемуся, то используется сравнительная степень (*Лучше бы ты не помогал мне, а предоставил самому решать задачу*). Хотя постфактум часто происходит переоценка (то положение дел, которое виделось как предпочтительное, может себя не оправдать), в речи не производится замена *лучше* на *хуже*. Даже в условиях аксиологической ошибки в коммуникативный фокус попадает предпочтительный вариант, а вместе с ним и компаратив *лучше*.

5.

Различие в механизмах оценки процессов и фактов прослеживается и в возможностях перехода оценки на предметы. Сенсорная оценка, выраженная наречием, прямо ассоциируется с предметами. Из предложения *Я хорошо пообедал* обычно может быть выведено заключение о том, что обед был хорош. Склонность к процессам потребления тех или других видов объектов или к их восприятию часто представляется как «любовь» к самому объекту (в том числе и конкретному, если он допускает многократное использование). Люди потребляют и истребляют то, что любят: *Я люблю есть рыбу* → *Я люблю рыбу*; *Я люблю читать произведения Тургенева* → *Я люблю Тургенева*. Оценка процессов создания соответствует оценке их продукта. Из высказывания, что Тургенев хорошо писал, вытекает, что он писал хорошие произведения.

Гедонистическая оценка имеет прямой выход в семантику. Благодаря ей язык обогащается недескриптивными предикатами, которые объединяют объекты не по их естественным свойствам, а по их воздействию — физическому и психическому — на человека. Результирующие классы задаются каузально. Их дефиниции перифрастичны: *вкусный* = «вызывающий приятные вкусовые ощущения», *ароматный* = «вызывающий приятные обонятельные ощущения», *возмутительный* = «вызывающий возмущение», *восхитительный* = «вызывающий восхищение». Соответствующие таким предикатам классы объектов представляют собой наборы причин (стимулов), способных оказывать сходное воздействие на человека. Гетерогенность стимулов подавляется гомогенностью реакции.

Оценка фактов не связана с оценкой предметов. Высказывание *Хорошо, что в доме есть кошка* не предполагает со стороны говорящего доброго отношения к кошкам вообще и даже к данной кошке в частности. Он может просто считать пребывание в доме кошки меньшим злом сравнительно с ущербом, который причиняют мыши. Оценочному сравнению подвергаются альтернативы *В доме есть кошка* и *В доме есть мыши*. Но и сообщение *Плохо, что в доме завелись мыши* не имплицитно с необходимостью неприязни к этим животным.

Извлечение из оценки факта характеристики предмета, представлено-го термом соответствующей пропозиции, иногда имеет ироническое назначение, например: «Предмет статьи до такой степени чужд всяким интересам русской публики, что она не будет прочтена почти никем. Именно тем она и хороша» (Н. Г. Чернышевский). Оценка факта (*Хорошо, что эту статью никто не прочтет*) перенесена на предмет (*Статья тем и хороша, что ее никто не прочтет*). Полученный иронический эффект как раз

и проистекает из принципиального несовпадения оценки фактов и оценки предметов. Ср. также: «Я не про Белокопскую одну говорю: дрянная старушонка и дрянная характером, да умна и их всех в руках умеет держать, — хоть тем хороша» (Ф. М. Достоевский). Фразеологизованный предикат *тем и хороша* не исключает отрицательного определения объекта (*дрянная старушонка*).

Таким образом, различие в оценке процессов (состояний, событий) и фактов сказывается и на ее переносе на предметы, и на возможностях ее выхода в семантику прилагательных. Оценка предметов производна от оценки процессов, качеств, свойств и т. п., реализующихся при их вхождении в орбиту жизнедеятельности человека.

ЛИТЕРАТУРА

1. Юм Д. Трактат о человеческой природе. Кн. 3.—Юм. Д. Соч.: В 2-х т. М., 1966, т. 1.
2. Мур Дж. Принципы этики. М., 1984.
3. Nowell-Smith P. H. Ethics. Oxford, 1957.
4. Stevenson Ch. Facts and values. New-Haven — London, 1964.
5. Hare R. M. The language of morals. Oxford, 1967.
6. Ивин А. А. Основания логики оценок. М., 1970.
7. Wright G. H. von. The logic of preference reconsidered.— Theory and decision, 1972, № 3.
8. Halldén S. On the logic of «better». Lund, 1957.
9. Wright G. H. von. The logic of preference. Edinburgh, 1963.
10. Rescher N. Semantic foundations for the logic of preference.— In: The logic of decision and action. Pittsburg, 1966.
11. Vendler Z. Linguistics in philosophy. Ithaca — New York, 1967.
12. Wilson N. L. Facts, events, and their identity conditions.— Philosophical studies, 1974, v. 25, № 3.
13. Mourelatos A. P. Events, processes, and states.— In: Syntax and semantics, v. 14, New York, 1981.
14. Демьянков В. З. «Событие» в семантике, прагматике и в координатах интерпретации текста.— ИАН СЛЯ. 1983, № 4.
15. Семантические типы предикатов. М., 1982.
16. Падучева Е. В. О семантике синтаксиса. М., 1974.
17. Арутюнова Н. Д. Сокровенная связка (К проблеме предикативного отношения).— ИАН СЛЯ, 1980, № 4.
18. Dretske F. Referring to events.— In: Contemporary perspectives in the philosophy of language. Minneapolis, 1979.
19. Kim J. Causation, emphasis, and events.— In: Contemporary perspectives in the philosophy of language. Minneapolis, 1979.
20. Падучева Е. В., Зализняк Анна А. Семантические явления в высказываниях от 1-го лица.— В кн.: Finitis duodecim lustris. Сборник статей к 60-летию проф. Ю. М. Лотмана. Таллин, 1982.
21. Локк Дж. Избранные философские произведения. Т. I. М., 1960, с. 279.
22. Спиноза Б. Избранные произведения: В 2-х т. М., 1957, т. 1, с. 556.
23. Вольф Е. М. Состояния и признаки. Оценки состояний.— В кн.: Семантические типы предикатов. М., 1982, с. 325—326.
24. Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982, с. 274 и сл.
25. Арутюнова Н. Д. Сравнительная оценка ситуаций.— ИАН СЛЯ, 1983, № 4.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

МАЙРХОФЕР М.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ПЕРСЕПОЛЬСКОЙ НАДПИСИ КСЕРКСА, ПОЛУЧЕННЫЕ
СО ВРЕМЕНИ ЕЕ ОТКРЫТИЯ В 1967 ГОДУ

24 января 1967 г. в окрестностях Персеполя была обнаружена каменная плита с древнеперсидской клинописной надписью; эту плиту случайно нашел во время пахоты один крестьянин¹. Первые же исследования показали, что текст плиты вполне идентичен надписи на гробнице Дария I «Dareios Naqš-i Rostam b (DNb)» по содержанию и почти полностью совпадает с ней по словарю и порядку слов. Лишь имя Дария здесь последовательно заменено именем его сына Ксеркса I. Теперь это обстоятельство обычно уже не считают «характерным для эпигонства Ксеркса»²; очевидно, в обеих надписях скорее представлено некое «княжеское зеркало», которым могли пользоваться несколько царей³. Есть данные, позволяющие думать, что существовали и другие воспроизведения этого текста. Так, остатками аналогичного текста, также с упоминанием имени Ксеркса, можно считать обломки каменной плиты, найденные накануне Второй мировой войны в селевкидском храме близ Персеполя [3, с. 74—75]. Очевидно, как остатки «княжеского зеркала» можно рассматривать и фрагменты из Суз, изданные мною несколько лет тому назад [5, с. 131—132]. Я. Харматта с полным основанием полагает, «что этот текст... был высечен в нескольких экземплярах на каменных плитах и хранился в различных царских дворцах или был разослан в провинции» [3, с. 75].

То, чем мы в настоящее время располагаем, — это, наряду с уже упомянутыми фрагментами, лишь два полных варианта данного текста: давно известная надпись на гробнице Дария I (DNb) и та обнаруженная в 1967 г. полная надпись Ксеркса, за которой теперь утвердилось обозначение XPI (Xerxes Persepolis I)⁴. На протяжении 17 лет, т. е. с того момента, когда надпись XPI оказалась достоянием науки, ее рассматривали в разных аспектах; и лишь в последние годы стало ясно, что критическое сравнительное изучение XPI и DNb может способствовать также решению некоторых проблем древнеперсидского и даже индоиранского и индоевропейского языкознания.

В первые годы после того, как эта надпись была обнаружена и затем постепенно приобрела известность⁵, ее оценивали весьма положительно: надпись Ксеркса, скрытая в земле, сохранилась значительно лучше, чем идентичная надпись на гробнице Дария, которая на протяжении двух с половиной тысячелетий подвергалась атмосферным воздействиям и потому могла быть прочтена лишь частично. С помощью XPI можно было восстановить отсутствующие клинописные знаки в DNb и тем самым правиль-

¹ Относительно обстоятельств находки, сохранения и первичной обработки плиты см. [1, с. 45a].

² Так [1, с. 45a].

³ Литературу вопроса см. [2, с. 224] (к с. 171); кроме того [3, с. 75; 4, с. 174—175].

⁴ См. [6, с. 21 (§ 4.5)]; также [6, с. 25 (§ 4.6)].

⁵ Она стала доступна в изданиях на персидском языке уже в 1967 г. [1, с. 45, примеч. 4]. В 1969 г. В. Хинцдал транскрибированный текст с комментарием [1, с. 46—47, 50—51] и превосходную фотографию надписи [1, с. 48—49]. Транслитерированный текст (с указанием в примечаниях на все расхождения с DNb) существует с 1978 г. [6, с. 21—25].

но прочитать в DNb слова, которые до сих пор восстанавливались неверно: DNb 13—14 [·-]r-t-n-y-a теперь, привлекая соответствующее слово XPI 15 p-r-t-n-a-y-a, можно было с полной достоверностью читать как [p-]r-t-n-y-a⁶; неповрежденное u-θ-du-u-š из XPI 30 позволило восстановить параллельное место в DNb 27 u[----]u-š как u[θ du-]u-š⁷.

Я. Харматта [3, с. 72—75] указал — и это всецело его заслуга, — что хотя надпись Ксеркса и отличается лучшей сохранностью, однако выполнена она значительно хуже и с большим числом ошибок, чем параллельная ей надпись на гробнице Дария. Так, например, в XPI 52 сохранилось написание b-b-t-n-i-y, которому в DNb 47 соответствует b-r-t[----]y. Сравнение двух этих слов дает b-r-t-n-i-y — инфинитив глагола bar-«нести (здесь скорее: совершать, исполнять)». Таким образом, в DNb слово было списано правильно, однако два клинописных знака оказались поврежденными из-за атмосферных условий. В XPI слово сохранилось полностью, но вместо правильного написания b-r- здесь ошибочное b-b-.

Для лингвиста подобные описки, так же как и простые погрешности против грамматики⁸ в XPI, не представляют такого интереса, как те случаи, в которых выявляется, что писец надписи XPI явно испытывал затруднения при правильной передаче старого древнеперсидского языка надписей, которым еще владел писец надписи DNb. В ряде случаев в надписи Ксеркса обнаруживается «модернизация», «актуализация» того архаического языка, который в надписи Дария использован еще вполне правильно.

Может показаться, что этому выводу противоречит наблюдение, сделанное еще при первом чтении надписи Ксеркса, обнаруженной в 1967 г.: многократно встречающаяся форма для «я есмь» в XPI всегда /ahmi/ (a-h-m-i-y), в то время как все другие древнеперсидские надписи, а следовательно, и все надписи Ксеркса дают форму /ami/(a-mi-i-y). Таким образом, свойственный древнеперсидскому языку процесс перехода от ир.-hm- (а также -xm-) к др.-перс. -m- в XPI не отражен. Кроме того, в XPI мы обнаруживаем форму /xratu-/ «сила духа»; в DNb ей соответствует /xradu-/, и все остальные корни *-tu также превратились в древнеперсидском языке в корни -θu-, явно путем аналогичного распространения на всю парадигму перехода -θ- и -θv-; этот переход произошел в падежной форме, имеющей морфему с начальным гласным (как в *xradv-ah = ведич. *krátv-as*). И в данном случае процесс, характерный для древнеперсидского (-tu- → -θu-), в XPI не отразился.

Однако считать /ahmi/ и /xratu-/ «архаизмами» абсурдно: каким образом могло бы сохраниться у носителей древнеперсидского языка состояние, предшествовавшее завершением (морфо-)фонологическим процессам (*-hm- → -m-, *-tu- → -θu-)? Поэтому все, высказанное в последнее время⁹ относительно /ahmi/ и /xratu-/, отличаясь друг от друга в деталях, основано на том, что эти формы берут начало в каком-то не древнеперсидском диалекте. Я не вижу оснований отказываться от своего мнения¹⁰, что в формах /ahmi/ и /xratu-/ «нашел отражение считавшийся аристократическим язык той близкородственной персам этнической группы, которой охотно подражали именно при дворе Ксеркса, т. е. язык мидийцев» [2, с. 161]. Разумеется, каждый перс — потому что XPI написана на древнеперсидском, а (к сожалению) не на мидийском языке — понимал, что /ahmi/ означает то же самое, что и /ami/ его собственного языка, а /xratu-/ —

⁶ Очевидно, здесь мы имеем др.-перс. /prtaniyā-/ «боевой дух», ср. ведич. *prtanāyā-* (демонинативный глагол); литературу см. [6, с. 22, примеч. 19].

⁷ Слово, переведенное из транслитерации в общепринятую транскрипцию древнеперсидского языка, — u-θa^odu-, вторая часть которого идентична ведич. *chāndu-* «приятный». Литературу см. [6, с. 23, примеч. 31].

⁸ Так, уже первая строка надписи Ксеркса содержит грамматическую ошибку: i-m-m = /imat/, с именным окончанием местоименного корня *ima-*, в то время как местоименное /imat/ передано в соответствующем месте надписи Дария правильно как i-m. Разумеется, случаи такой ошибочной передачи грамматической системы древнеперсидского языка эпохи Дария в надписи XPI также можно считать «модернизацией», о которой еще будет речь дальше.

⁹ Они приведены в [6, с. 21, § 4.5.1 с примеч. 2—4].

¹⁰ В последний раз напечатано в [2, с. 159—162].

то же самое, что его /xraðu-/. Просто эти формы были более престижны, в соответствии с престижем мидийцев в Ахеменидском государстве. Конечно, северо-западный иранский язык мидийцев был совершенно понятен носителям юго-западного древнеперсидского, имевшим с мидийцами постоянные контакты.

Таким образом, /ahmi/ и /xratu-/ не попадают в ХРІ как «архаизмы». В других случаях, там, где язык надписи Дария действительно содержит древние формы, мы видим, что писец надписи ХРІ приводит их в соответствии с языком своего времени, модернизирует их. Так, в DNb мы еще находим написание *u-v-n-r-*, где в *u-v-* тем единственно возможным способом, который допускает древнеперсидская клинопись, выражено *ū-* долгое¹¹. Это /ūnara-/ означает «способность» и, очевидно, прежде всего «состояние хорошей мужской силы». Оно связано с ведийским адъективом *sūnāra-*, который в первую очередь следует понимать как «обладающий хорошей мужской силой» и в котором удлинение *-u-* в *su-* «хороший» сохранило архаический рефлекс начального ларингального в индоевропейском **h₂ner-* «мужчина» (греч. *ἀνήρ*, арм. *այր*, фриг. *αἰαρ*): **su-h₂ner-* > инд.-ир. **sūnar-*. Вместо древней формы с долгим **sū-* (<**su-h₂-*) мы находим в ХРІ написание *u-n-r-a*. Здесь префикс **su-* (=др.-перс. *u-*) был восстановлен в своей употребительной форме, с кратким гласным, аналогично новоперсидскому *hunar*. Таким образом, утрата архаизма в *hunar* (в отличие от древнего **hūnara-* > др.-перс. /ūnara-/) произошла уже во времена Ксеркса.

Другой случай, когда я присоединяюсь к исследователям, считающим форму в надписи Дария изначальной, а в надписи Ксеркса модернизацией — это DNb 40 *yāumainiš*, которой в ХРІ, строки 44—45, соответствует *yāumaniš*¹². К сожалению, контекст допускает несколько вариантов перевода этого слова¹³, а среди этимологических толкований, предложенных как для *yāumainiš*, так и для *yāumaniš*¹⁴, нет ни одного безусловно убедительного. Тем не менее, основываясь на «общих принципах критики текста», о которых вполне справедливо напоминает Р. Шмитт [13, с. 352], мы можем с высокой степенью достоверности предположить, что *yāumainiš* — форма унаследованная, уже с неясной структурой, которую писец надписи Ксеркса сделал более прозрачной, уподобив эту форму употребительным, как, например, имени основателя рода Ахеменидов *Naḫā-taniš* «Ахаименес». Тогда форма в ХРІ *yāumaniš* — более поздняя, приведенная в соответствие с современным языком, а в DNb *yāumainiš* — исконная форма слова, с которой писец времен Ксеркса уже не знал, что делать. Как я уже говорил, ни одна из предложенных до сих пор этимологий (которые одновременно могли бы уточнить исходное значение формы *yāumainiš*) не убеждает меня в полной мере. Я поставил бы вопрос так: не могла ли форма *yāumainiš* быть вещественным адъективом с суффиксом первоначально жен. рода *-*ainī-* (авест. *-aēnī-*, др.-перс. *-ainī-*), склонявшемся в иранском по типу флексии *vrkī-*; я указывал на этот тип несколько лет тому назад [14, с. 150—151]. Вполне можно допустить проникновение *-ainī-* во

¹¹ Примеры см. у Р. Г. Кента [7, с. 14а]. Наиболее примечательный из них — *U-v-ṛ-* как передача слова /*Uša-*/ «Элам» (сегодняшний *Xūz-istān*); /*ū-* в этом названии подтверждается не только его более поздними формами (как *Xūz-* или араб. *Ḥūz*), но и убедительным толкованием этого топонима в работе [8, с. 190—194], в которой автор утверждает, что название столицы Элама Суза (**Sūša*, см. также [2, с. 144—145]) было равно заимствовано иранским и в соответствии с его фонетическими законами превратилось в *(*H*)*ūša*. Сомнение по поводу этого убедительного толкования, совершенно мне непонятное, высказано недавно [см. 9, с. 27, примеч. 76].

¹² Это слово встречается вторично в DNb (с отрицательной частицей *-a* в форме *a-yāumainiš* в строке 59). Оно употреблено в вызывающей затруднения заключительной части DNb (§ 9, строки 50—60), которая сильно повреждена и для чтения которой был бы желателен параллельный вариант в хорошо сохранившейся надписи Ксеркса. К сожалению, в ХРІ эта последняя часть вообще отсутствует и заменена ничего не говорящей формулой пожеланий.

¹³ В обоих вариантах один и тот же текст, DNb 40—41 = ХРІ 44—46, в котором царь говорит: «Я *yāuma(i)niš* по рукам и ногам». Это дает нам возможность выбора между многими гипотезами относительно семантики слова *yāuma(i)niš*.

¹⁴ Они прослежены в работах [10, с. 225—257; 11, с. 55; 12, с. 37].

всю систему форм этого адъектива (или же возможность образования на *-i-* для имен муж. рода на **-aina-*); однако пока не найдено правдоподобное толкование лежащей в основе этого формы **yāita-*, такое предположение можно высказать лишь как вопрос, и это, может быть, оживит дискуссию.

В двух случаях различия между DNb и XPI привели к новым научным выводам в области грамматики древнеперсидского языка и предшествовавших ему индоиранского и индоевропейского периодов. Один из этих случаев — DNb 21—24 = XPI 23—26, где оба текста переводятся однозначно: «что один человек выдвигает против другого, это меня не убеждает, пока я не услышу показания (под присягой) обоих». Незначительные различия в выборе и порядке слов двух этих текстов едва ли заслуживают упоминания¹⁵. Интересен лишь глагол, который несомненно означает «я слышу» и который в DNb 24 читается *a-x-š-n-u-v-i-y*, в XPI 26 *a-x-š-ni-u-mi-i-y*. Здесь бесспорно употреблен многократно засвидетельствованный древнеперсидский глагол *ā-xšnu-* «слышать» (ср.-перс. *ā-šnū-dan*). Так как в персидской клинописи имеются особые графемы для *<nu>*, *<vi>* и *<mi>*, то в обоих случаях можно без всяких колебаний транскрибировать слово полностью, что при этой многозначной письменности удается не часто: в DNb следует читать *āxšnauvaiy*, в XPI *āxšnumiy*¹⁶.

Становится сразу ясно, что в DNb — окончание среднего залога 1-го лица ед. числа (*-aiy*), а в XPI — соответствующее окончание действительного залога (*-miy*). Хотя оба основных издания констатировали это различие в диатезах, однако они не отметили, что эти формы, по-видимому, противоречат правилам грамматики¹⁷: закон индоевропейской грамматики гласит, что единственное число действительного залога имеет «сильную» (нередуцированную) форму основы, а средний залог — «слабую» (с чередованием). В нередуцированном среднем залоге *āxšnauvaiy* и в действительном залоге с чередованием ступеней гласного *āxšnumiy* этот закон загадочным образом как бы превращен в свою противоположность.

Я думаю, эта загадка легко разрешима, если иметь в виду, что писец надписи XPI был не в состоянии понять языковые архаизмы оригинала¹⁸ и потому изменил их, пользуясь средствами живого языка своей эпохи. Поэтому оставим пока форму XPI *āxšnumiy* в стороне и позднее рассмотрим лишь, с помощью каких средств модернизировал писец архаизмы. Сам же факт их модернизации ясно показывает, что *āxšnauvaiy* в DNb была очень древней языковой формой.

С появлением оригинального исследования И. Нартен [15] нам стал известен древний тип презенса ведич. *stāumi* «я восхваляю» (действительный залог): *stāve* (средний залог), инд.-ир. **stāu-mi* : **staṅ-ai*. В этом типе презенса, который И. Нартен называет «протеродинамический», в новейшей терминологии «акростатический», древнеперсидская форма среднего залога *ā-ršnauvaiy* (инд.-ир. **kšnāu-ai*) заняла бы свое место. Она — по образцу ведич. *stāu-mi:stāv-e* — существовала бы наряду с формой действительного залога **kšnāu-mi*, которая даже, возможно, сохранилась в ведич. *kṣṇaumi* «я заостряю». Семантический переход «заострять» > «*наострить уши» > «слышать» не лишен параллелей¹⁹. Во всяком случае, нередуцированный средний залог **kšnāu-ai* (др.-перс. *-ršnauvaiy*) вполне закономерен в рамках презенса, описанного И. Нартен. Вместе с тем он является очень древней формой, так как тип *stāumi* ограничен

¹⁵ Их легко проследить в [6, с. 23 и примеч. 24].

¹⁶ Остается лишь неясным, не лучше ли читать этот глагол в XPI как *axšnumiy*; *<-ni-u->* передает в равной мере как /ni/, так и /ni/. Для последующего рассмотрения этот вопрос значения не имеет.

¹⁷ Так, Хинц [1, с. 47b] пишет только: «Таким образом, DNb употребляет форму медиального, а XDNb [=XPI] — действительного залога»; Майрхофер [6, с. 23, примеч. 26] замечает лишь: «Различные диатезы».

¹⁸ Следует указать, что XPI никоим образом не является копией DNb. Оба текста были независимо друг от друга скопированы с образца, предложенного царской канцелярией (литературу см. [6, с. 24, 23, примеч. 33]). Окончательное доказательство этого — отсутствие в DNb целого предложения, сохранившегося в XPI, — будет рассмотрено в конце данной статьи.

¹⁹ См. [16, с. 98, примеч. 19]; еще более отчетливо — [17, с. 203, примеч. 8].

малым числом индоиранских глаголов²⁰ и в древнеперсидском (правда, дошедшем до нас лишь в фрагментах), помимо *āxšnauaiy*, по-видимому, не встречается.

Как вел себя писец надписи XPI по отношению к форме *āxšnauaiy* оригинала? Очевидно, ему был уже непонятен архаизм нередуцированного среднего залога, однако он сознавал, что имеется в виду форма «я слышу» от глагола *ā-xšnu-*. В качестве замены он выбрал самые современные для него языковые формы: более употребительный действительный залог (*-miy*) вместо более редкого среднего залога; элизию (в *ā-xšnu-diy* «слушай!», ср. также развитие этой формы в ср.-перс.: *ā-šnū-dan*) вместо полной ступени. Неправильный действительный залог *āxšnumiy* следует рассматривать не как результат органичного развития языка, а как попытку образовать с помощью наиболее привычных средств вместо непонятого архаизма форму 1-го лица ед. числа глагола *ā-xšnu-*. Однако без этого несоответствия между формой действительного залога *-xšnu-* в XPI и средним залогом *-xšnauv-* в DNb мы, пожалуй, не увидели бы, что *ā-xšnauv-diy* вполне объясним как форма среднего залога акростатического типа²¹.

Второй случай, когда отличия в XPI дают возможность решить вопросы, связанные с DNb, касается синтагмы DNb 25—26 *a-nu-u-v t-u-m-n-i-š-i-y*, которая должна означать «по мере его сил». До того как стала известна надпись XPI, мы могли с уверенностью сказать лишь одно: здесь имеется слово *tauman-* «сила» (*t-u-* это, очевидно, */tau-/*, так как в древнеперсидской письменности существует графема *<tu>*), по-видимому, продолжающее инд.-ир. **tau(H)man-*, ведич. *tav(i)-* «быть сильным»²². Что же касается падежной формы перед энклитическим местоимением *-šaiy*, то относительно нее высказывалось несколько предположений, ни одно из которых не было удовлетворительным²³. Благодаря счастливой случайности нам одновременно стали известны два новых обстоятельства, которые сделали возможным простое решение проблемы формы *t-u-m-n-i-š-i-y* в надписи DNb: указание Ф. Б. Кейпера²⁴ на то, что древнейшему иранскому был свойственен исход на **-an-i*, и.е. **-en-h₂*, в номинативе-аккузативе мн. числа основ среднего рода *-an-* (например, в старавест. *pāmāni*) и параллельное место в XPI 28 *a-nu-u-v t-u-m-a*, где *'anu'* явно сочеталось с аккумулятивом ед. числа от *tauman-*, */tauma'* [17, с. 202]. При этом форму *t-u-m-n-i-š-i-y*, несомненно, следовало понимать как *'taumani-šai'*, т.е. она свидетельствовала о наличии отмеченного Кейпером исхода на *-ani* также и в древнеперсидском. Таким образом, оба варианта отличались только числом, которое для такого не поддающегося исчислению понятия, как «сила», вполне могло быть изменено: в немецком языке *gemäß seiner Kraft* «в меру его силы» и *gemäß seinen Kräften* «в меру его сил» воспринимались бы почти как синонимы. Возможно, писец надписи Ксеркса предпочел форму ед. числа *'tauma'*, так как исход мн. числа */-ani'*, не встречающийся в засвидетельствованных древнеперсидских текстах, создавал для него трудности — особенно если в древнеперсидском, как это показал Кейпер для авестийского²⁵, существовало одновременно несколько формальных способов образования аккумулятива мн. числа [17, с. 204, примеч. 19]. Писец XPI выбрал бы и в этом случае «актуальную» языковую форму, бессознательно способствуя тем самым пониманию грамматических особенностей надписи DNb²⁶.

²⁰ Вероятно, в индоевропейском этот тип был продуктивнее, что показывает не только анатолийский язык (см. об этом [18, с. 100, примеч. 27]); для некоторых других индоевропейских языков тип с активным **CeC-mi* был выработан лишь в очень позднее время. Во всяком случае, в индоиранском эта флексия рецессивна (см. [15; 18, с. 100, примеч. 27]).

²¹ Подробнее см. [16, с. 97—99].

²² [7, с. 185b; 17, с. 204], с указанием литературы.

²³ См. об этом [7, с. 65a, 185b; 17, с. 202, 204, примеч. 10].

²⁴ [19, с. 83—94]; краткий реферат — [17, с. 203].

²⁵ См. [19, с. 90—91].

²⁶ Не имея возможности дать обоим вариантам более детальную лингвистическую интерпретацию, я хотел бы указать на еще одно различие между ними: вместо *f-r-t-r* «превосходящий» (в DNb 38 *fratarā maniyaiy ajuvaya* букв. «я считаю себя превосходящим страх») в XPI 42 стоит *f-r-θ-r*. В остальных древнеперсидских надписях неоднократно

Итак, мы смогли установить, что хотя новая надпись Ксеркса сохранилась лучше, чем параллельный ей текст на гробнице Дария, однако она отличается ошибочными написаниями, грамматическими погрешностями и модернизацией древних языковых форм текста Дария. В заключение хочу остановиться на единственном, пожалуй, случае, когда XPI превосходит надпись Дария по качеству. В строках XPI 30—31 содержится скопированное с образца предложение, которое, как это и предполагалось задолго до открытия XPI²⁷, пропустил каменотес, выбивший надпись DNb. Это предложение, отсутствующее в DNb, гласит: *u-t-a v-s-i-y d-d-a-m-i-y a-g-r-i-y-a-n-a-m m-v-t-i-y-a-n-a-m*. Правда, здесь также надо исправить ошибочное написание (разумеется, последнее слово должно звучать *m-r-t-i-y-a-n-a-m*); в остальном это предложение, за исключением прилагательного, речь о котором впереди, состоит из хорошо известных древнеперсидских слов, так что в основной своей части оно поддается транскрипции и переводу: «и (*utā*) щедро (*vasiy*) даю я (*dadamiy*)²⁸ мужам (*martiyanām*), которые есть *a-g-r-i-y*». Чтение и этимология этого слова еще требуют исследования, которое, однако, вряд ли приведет к однозначным результатам.

Древнеперсидская письменность дает возможность различного чтения слова *a-g-r-i-y*: такое написание можно прочесть как *agriya-*, *āgriya-*, *agariya-* и *āgariya-*. Кроме того, во всех четырех случаях *-i-y* можно читать также *-aiya-*, что благодаря существованию ведийского суф. *-eya-* не является лишь чисто теоретическим предположением. Несколько проще сузить семантическое поле слова *a-g-r-i-y*. В XPI это слово засвидетельствовано не впервые, оно появляется уже в столбце I, строке 21 большой надписи Дария I на Бехистунской скале, и здесь его семантика абсолютно ясна. Этот отрывок гласит: «человек, который был *a-g-r-i-y*-, — его я щедро наградил; человек, который был *a-r-i-k*-, — его я сильно наказал». Таким образом, *a-g-r-i-y*-, несомненно, противопоставляется слову *a-r-i-k*-, засвидетельствованному и в других местах Бехистунской надписи [7, с. 170a], и может быть переведено «неверный, нелояльный, вероломный». Тогда противоположное ему слово *a-g-r-i-y*- имело бы значение «верный, лояльный». Во втором примере из XPI это значение также оправдано.

Из всех возможных чтений этого слова Р. Г. Кент в первом издании своей грамматики²⁹ принял формально самое простое, а именно *agriya-*, которое нашло бы полное соответствие в близкородственных языках: ведич. *agriyā-*, авест. *ayriia-*. Возражения против такого сопоставления диктовались семантикой. Ведич. *agriyā-* означает «совершеннейший» (чаще всего о божествах), авест. *ayriia-* «первый (по качеству)» (преимущественно о животных, а также о напитках); основное значение инд.-пр. **agriya-* «стоящий во главе (ведич. *āgra-*)». Согласно Э. Бенвенисту [21, с. 32; ср. 7, с. 165b], эти слова семантически слишком далеки от др.-перс. *a-g-r-i-y*- «верный, лояльный».

Вместо этого Э. Бенвенист [21, с. 33] предложил слово *āgrāmaitiš* (Яшт 17, 6), засвидетельствованное всего один раз. Вслед за Хр. Бартоломе [22, с. 310] он связывает это слово с *ā + gar-* «восхвалять». Хр. Бар-

но встречается *f-r-t-r-* (с различными значениями), однако дважды — *f-r-θ-r-* (в одной из надписей Ксеркса, XPI 26—27 и 37). Тем не менее параллель DNb *f-r-t-r-* = XPI *f-r-θ-r* исключает возможность того, что *f-r-θ-r-* всецело иного происхождения, чем *f-r-t-r-* (см. [10, с. 207—208] с указанием литературы). Замечание Э. Бенвениста [20, с. 33], что **fraθaram...* превращается в неточную запись [формы] *fratarām* в такой краткой формулировке непонятно, так как, по-видимому, других случаев, когда *-θ-* является неточным воспроизведением *-t-*, нет. В большинстве случаев *fraθara-* объясняется как факультативная форма инд.-пр. **prathara-*, которая относится к сравнительной степени *fratara-*, как превосходящая степень ведич. *prathamā-* «самый передний, первый» к др.-перс. *fratama-* (**pratama-*); см. литературу [7, с. 198a]. Никто еще, очевидно, не подумал о беглой форме **pratara-* *f-r-t-r*, **pratra-* > *fraθra-* (*f-r-θ-r*), которая, правда, должна быть отнесена к мидийскому языку, так как в самом древнеперсидском форма **fraθra-* превратилась бы в **fraça-*.

²⁷ См. [6, с. 23, примеч. 33].

²⁸ Правда, пока в древнеперсидском от *dā-* «давать» было засвидетельствовано только повелительное наклонение *dadatuw* «пусть он даст»; однако в соответствии ему ведич. *dādami* «я даю» нет никаких сомнений.

²⁹ См. [21, с. 32].

толоме переводил это авестийское слово «со значением „одобряющий, соглашающийся, предупредительный“» и связывал его с адъективом **ā-gra-*. И. Гершевич [23, с. 226, примеч.] в том единственном случае, когда слово *āgramaitiš* засвидетельствовано, переводит его «watching» («бдящий») и связывает с другим иранским корнем *gar-*, означающим не «восхвалять», а «бдить» [22, с. 511—512]. Он рассматривает при этом др.-перс. *a-g-r-i-y-* как *ā-gar-iya-*, что может значить «бдительный; осмотрительный». В пользу такого толкования говорит и наблюдение Ф. Вайсбаха [24, с. 12], что в аккадской версии Бехистунской надписи в соответствующем месте стоит *ri-it-qu-du* «осмотрительный» (к *raqādu* «доверять, поручать») ³⁰. Эта аргументация заслуживает всяческого внимания, однако мы вместе с В. Хинцем [1, с. 50b, примеч. 12] вынуждены указать, что «бдительный», пожалуй, недостаточно сильное слово для перевода выражения, противоположного понятию «неверный, нелояльный, вероломный». Однако никакая позитивной этимологии для *a-g-r-i-y-* Хинц не предлагает.

Не следует, однако, упускать из виду, что *a-g-r-i-y-*, вероятно, все же можно сопоставить с ведич. *agriyā-* «самый совершенный». Нам неизвестно, какими путями шло изменение семантики в древнеперсидском; однако возможное превращение «превосходнейшие, лучшие» в «верные» имеет определенную параллель у Цицерона в *boni viri*: мужи, сохранившие верность Римской республике. Если лат. *bonus* «хороший» могло в известных контекстах означать «верный, лояльный», то путь от инд.-ир. **agriya-* «лучший, превосходнейший» к */agriya martiya/* «верный, храбрый муж» персидского царя уже не кажется непреодолимым. Я высказываю эти соображения с большими оговорками — в надежде, что параллели семантическому развитию от «превосходнейший» к «верный» из других языков помогут найти этимологию др.-перс. *a-g-r-i-y-*.

Перевела с немецкого Цивина К. Д.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Hinz W.* Altiranische Funde und Forschungen. Berlin, 1969.
2. *Mayrhofer M.* Ausgewählte kleine Schriften. Hrsg. von S. Deger-Jalkotzy und R. Schmitt. Wiesbaden, 1979.
3. *Harmatta J.* Altiranische Funde und Forschungen. Zu einem Buch von Walther Hinz.— Die Sprache, 1973, Bd. 19.
4. *Deger-Jalkotzy S.* E-QE-TA. Zur Rolle des Gefolgschaftswesens in der Sozialstruktur mykenischer Reiche. Wien, 1978.
5. *Mayrhofer M.* Zu übergangenen Inschriftenfragmenten aus Susa.— Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, 1982, Bd. 118.
6. *Mayrhofer M.* Supplement zur Sammlung der altpersischen Inschriften. Wien, 1978.
7. *Kent R. G.* Old Persian. Grammar — Texts—Lexicon. 2-nd ed. Revised. New Haven (Conn.), 1953.
8. *Szemerényi O.* Iranica. II.— Die Sprache, 1966, Bd. 12.
9. *Eilers W.* Geographische Namengebung in und um Iran.— Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, 1982/5. München, 1982 [=1983].
10. *Wüst W.* Altperische Studien. Sprach- und kulturgeschichtliche Studien zum Glossar der Achämeniden-Inschriften. München, 1966.
11. *Mayrhofer M.* Neuere Forschungen zum Altperischen.— Donum Indogermanicum. Festgabe für Anton Scherer. Heidelberg, 1971.
12. *Schmitt R.* Altperisch-Forschung in den Siebzigerjahren.— Kratylos, 1980 [=1981], Bd. 25.
13. *Schmitt R.*— Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 1972, Bd. 63/64, S. 350—353.— Rec.: W. B. Henning memorial volume. London, 1970.
14. *Mayrhofer M.* Zu iranischen Reflexen des *vrkt-*Typus.— In: Recherches de linguistique. Hommages à Maurice Leroy. Bruxelles, 1980.
15. *Narten J.* Zum «proterodynamischen» Wurzelpräsenz.— In: Pratiḍānam. Indian, Iranian and Indo-European studies presented to F. B. J. Kuiper. The Hague — Paris, 1968.!
16. *Mayrhofer M.* Archaismus und Innovation. Eine grammatische Unterscheidung in Keilschrift-Paralleltexten aus achämenidischer Zeit.— AO, 1979, Bd. 47.

³⁰ [25, с. 824b, 870b]. Фойтгандер [26, с. 54] переводит это слово аккадского варианта Бехистунской надписи «заслуживающий доверия».

17. *Mayrhofer M.* Altpersisch *taumani* «Kräfte». — IIJ, 1982, Bd. 24.
18. *Oettinger N.* Die Stammbildung des hethitischen Verbums. Nürnberg, 1979.
19. *Kuiper F. B. J.* Old East Iranian **nāmani* «names», etc. — IIJ, 1978, Bd. 20.
20. *Benveniste E.* Encore une nouvelle inscription perse de Xerxes. — BSLP, 1933, Bd. 34.
21. *Benveniste E.* Études sur le vieux-perse. — BSLP, 1951, Bd. 47.
22. *Bartholomae C.* Altiranisches Wörterbuch. Strassburg, 1904.
23. *Gershevitch I.* The Avestan hymn to Mithra. Cambridge, 1959.
24. *Weissbach F. H.* Die Keilinschriften der Achämeniden. Leipzig, 1911.
25. *Soden W. von.* Akkadisches Handwörterbuch. Bd. II. Wiesbaden, 1972.
26. *Vogtlander E. N. von.* The Bisitun inscription of Darius the Great. Babylonian. version. London, 1978.

ВЕРНЕР Г. К.

ЕНИСЕЙСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Первые письменные источники по енисейским языкам представляют собой латинско-енисейские и немецко-енисейские словарики, составленные по заданию Академии наук в первой половине XVIII в. Д. Г. Мессершмидтом, Ф. И. Страленбергом, Г. Ф. Миллером и И. Э. Фишером в местах расселения аринов, ассанов, кетов, коттов, пумпоколов и югов. Собранные этими учеными словарные материалы были обобщены в сравнительных словарях П. С. Палласа [1] и И. Клапрота [2], а в наше время — с использованием и некоторых других источников — А. П. Дульзона [3].

Считается, что подлинно научное изучение енисейских языков начинается с известной работы М. А. Кастрена, представляющей собой первое достаточно полное описание фонетики и грамматики (морфологии) енисейско-остяцкого (т. е. кетского и югского) и коттского языков [4]. Особенно ценно описание коттского языка, исчезнувшего вскоре после путешествий М. А. Кастрена по Сибири; коттская грамматика М. А. Кастрена является поэтому уникальным трудом по енисейскому языкознанию. Исключительно ценными являются и его словарные материалы, которые вместе со словарными материалами по шести енисейским языкам (аринскому, ассанскому, кетскому, коттскому, пумпокольскому и югскому), собранными исследователями XVIII в. [3], составляют основу для сравнительно-исторического изучения енисейской фонетики и лексики и для общеенисейских реконструкций. Все последующие работы по енисейским языкам, особенно работы зарубежных лингвистов, вплоть до 60-х годов XX в., как правило, основывались на материалах и исходных посылках М. А. Кастрена, за исключением работ К. Доннера [5], Н. К. Каргера [6—7] и некоторых других исследователей, занимавшихся полевыми исследованиями в местах расселения современных енисейцев — кетов и югов (сымских кетов).

Основные результаты этих первых этапов в исследовании енисейцев и их языков обобщены в предисловии к кетским сборникам [8] и во введении к монографии А. П. Дульзона [9]. Кроме М. А. Кастрена, особо отмечаются заслуги В. И. Анучина, проведшего среди кетов длительное время (1905—1908 гг.) и впервые описавшего их с культурно-антропологической точки зрения; К. Доннера, финского ученого, путешествовавшего в местах расселения кетов в 1911—1913 гг., составившего самый большой по объему после М. А. Кастрена кетский словарь [5] и написавшего ряд содержательных статей по кетскому языку [10—12]; Н. К. Каргера, написавшего содержательный очерк кетского языка (на основе нижнеимбатского диалекта), создавшего первый кетский алфавит и букварь для кетских национальных школ [7].

Из работ зарубежных ученых отмечаются труды Дж. Бэрна, Г. Рамстедта, Х. Финдейзена, Э. Леви, А. Тромбетти, О. Тайёра, Э. Хэмпса, Н. Хольмера, Э. Паллиблэнка, К. Боуда и др. (перечень работ и аннотации к ним см. [13]). Особый интерес представляет статья К. Боуда о коттском глаголе [14] и его большая обобщающая работа по языку кетов [15].

Новый этап интенсивного изучения енисейских языков начинается с середины 50 — начала 60-х годов работами А. П. Дульзона и его учеников, работами Е. А. Крейповича и участников экспедиции имени М. А. Кастрена [8]. Исследования 60—70-х годов принесли существенные результаты в решении проблем генетических связей енисейцев и их языков, ис-

торических языковых контактов енисейцев с другими народами, диалектно-языковой дифференциации енисейской языковой общности, грамматического строя и фонетико-фонологической системы енисейских языков, особенно кетского и югского, а также в области типологии этих языков, этнической истории енисейцев, антропологии и т. д.

Прежде всего исследования 50—70-х годов, в частности работы А. П. Дульзона по енисейской топонимике, позволяють с большой степенью вероятности очертить границы распространения енисейских языков в Западной Сибири в прошлом. Некоторые сведения на этот счет содержатся в деловых документах XVII—XVIII вв., по которым устанавливается, что до середины XVIII в. в Западной Сибири, кроме нынешних кетов и югов, еще проживали: к северу от Красноярска — арины; к югу от Красноярска, за Енисеем до Кана — ассаны и котты; в верховьях Кети — пумпоколы, а часть енисейцев была представлена среди бачатских телеутов (ашкиштимы) и койбалов (койбалкиштимы) [9, с. 3]. По данным же топонимики енисейские народности были расселены в прошлом от бассейна Иртыша до бассейна Ангары [16, с. 97]. Так, кетско-югские гидронимы на *-ses, -sis*, кроме известных районов расселения кетов и югов по Енисею от Сыма до Курейки, встречаются еще на Кети, Тyme, Вахе, Васюгане, Иртыше (особенно на его правых притоках — Демьянке, Уе, Шише, Туе, Таре), а также в бассейне Томи, на территории Хакасии и Северной Тувы [16]; пумпокольские гидронимы на *-tet, -tat* занимают бассейн Чулыма, верховье Кети и другие районы; аринские гидронимы на *-set, -sat* плотно представлены в бассейне Средней Оби, особенно на Кети, Чижаике и Чае (довольно широко распространены и аринские гидронимы на *-kul'* [16, с. 107]); коттские гидронимы на *-šet* распространены в междуречье Кана и Бирюсы (небольшой ареал этих же гидронимов находится западнее Томи), а ассанские на *-ul* — от Кана на востоке до бассейна Томи на западе.

Если учитывать, с одной стороны, тот факт, что исторически енисейские племена продвигались с юга на север, а с другой, положение о том, что кучность топонимов характеризует не исходный центр, а области экспансии (т. е. периферию), то можно исходные области расселения енисейцев искать на Саяно-Алтае или южнее.

Известно, что бассейн Среднего и Верхнего Енисея является местом стыка нескольких этно-лянгвистических ареалов — енисейского, тюркского, монгольского, самодийского, тунгусо-маньчжурского, и исторические контакты енисейцев с соседними народами не могли не оставить следа в енисейских языках. Изучение енисейской лексики показало наличие в ней большого числа тюркских [15, 17, 18], самодийских [15, 19, 20], русских [12, 21] и других заимствований, которые отражают контакты енисейцев с соседними народами, уходящие в глубокую древность. Наиболее древние заимствования не поддаются однозначному истолкованию их в качестве тюркских, самодийских и других [18, 22]; возможно, их следует условно объединить как ностратические [23], хотя это осложнено тем, что на таком уровне сравнения можно с известной вероятностью говорить и о материальных встречах между енисейскими, с одной стороны, и северокавказскими, сино-тибетскими, бурушаски и другими языками, с другой, в плане поиска ответа на вопрос о древнейших генетических связях енисейских языков.

Относительно генетических связей енисейцев и их языков выдвинут целый ряд гипотез, основывающихся главным образом на сравнении данных енисейских языков с языками Юго-Восточной Азии, баскским, северокавказскими, индейскими, бурушаски и ностратическими. Эти гипотезы следующие:

(1) предположение об отдельных генетических связях между енисейскими языками и языками Юго-Восточной Азии, впервые выдвинутое М. А. Кастреном и позднее поддержанное Дж. Бэрном, Г. Рамстедтом, А. Тромбетти, К. Доннером и К. Коллинзом (см. [13]);

(2) предположение о родстве енисейцев с динлинами (М. Денникер, Г. Е. Грум-Гржимайло, В. Г. Богораз, К. Доннер, С. И. Вайнштейн, Р. В. Николаев [13]);

(3) предположение о родстве енисейских языков с северокавказскими (Н. Я. Марр, О. Г. Тайёр, А. П. Дульзон [24]);

(4) предположение о связи енисейцев с гуннами (Л. Лигети, Э. Г. Пэллблэнк, А. П. Дульзон [25]) и др.

Очевидно, большинство из них может быть сведено в единую гипотезу о принадлежности енисейских языков к палеоевразийскому языковому типу [26]. Общий итог по всем этим вопросам попытался подвести С. А. Старостин в специальном исследовании: автор склоняется к выводу о генетическом родстве енисейских и северокавказских языков [26, с. 235]. В другой работе С. А. Старостина на анализе лингвистических данных обосновывается гипотеза о генетических связях сино-тибетских языков с енисейскими и северокавказскими [27]. Полагаем, что окончательное решение сложнейшего вопроса о генетическом родстве енисейцев и их языков должно основываться на результатах комплексных исследований в области лингвистики, истории, археологии, этнографии, антропологии и мифологии. Очень вероятно, что енисейские, как и ряд других изолированных языков, представляют собой островок так называемого палеоевразийского субстрата [8, с. 6], который следует возводить непосредственно к архаическому языковому состоянию в Центральной Азии. В настоящее время совершенно очевидно, что енисейцы и их языки обнаруживают древние связи, указывающие на далекий юг; в этом плане заслуживает внимания предположение о контактах енисейцев с носителями карасукской культуры, получившее в последнее время приемлемую аргументацию в работах Н. Л. Членовой, полагающей, что исходными районами, из которых карасукская культура была принесена в Южную Сибирь, являются не Ордос, Суйюань и другие юго-восточные районы, как полагали С. А. Теплоухов, С. В. Киселев, Л. Н. Гумилев и другие ученые, а юго-западные районы, близкие к Памиру и Верхнему Иртышу [28, с. 6—12, 131—135; 29].

Проблема генетических связей енисейцев и их языков остается, таким образом, актуальной, и ее решение в лингвистическом аспекте требует дальнейшего изучения исторических языковых контактов енисейцев с соседними народами с тем, чтобы можно было снять субстратные и суперстратные наслоения и реконструировать архетипы енисейских слов, ибо только они могут служить основой для успешного внешнего сравнения енисейских языков. Первые шаги в области реконструкции общеенисейского языкового состояния уже сделаны [23, 26, 30, 31], и настало время для обобщающих работ в области сравнительно-исторического изучения енисейских языков. Помимо собственно енисейского языкознания, проблема внешних генетических связей енисейских языков представляет большой интерес и для решения более общих вопросов, связанных со сложными этнолингвистическими процессами в Центральной Азии, происходившими здесь с древнейших времен.

Актуальным для енисейского языкознания остается и вопрос о диалектном членении енисейской языковой общности, тем более, что до сих пор нет однозначного решения этого вопроса. У части кетологов остаются сомнения относительно статуса ассанского, югского и пумпокольского как самостоятельных енисейских языков. Накопленные материалы позволяют заключить, что внутри енисейской языковой общности исторически сложились три близкородственные группы языков — кетско-югская, арино-пумпокольская и ассано-коттская [32], что легко доказывается даже одними лингвистическими данными; не менее важен, однако, при решении этого вопроса и тот факт, что носители этих шести енисейских языков осознавали себя как разные народности и воспринимались так своими соседями.

Наиболее существенные расхождения обнаруживаются между кетским и югским языками, с одной стороны, и южноенисейскими — с другой. Так, глоттохронологическое исследование енисейских языков (по методу М. Сводеша) позволяет определить время обособленного развития коттского и кетского языков в 1800—2000 лет, а кетского и югского в 500—600 лет [33]. Несмотря на условный и приблизительный характер приве-

денных данных, они все же несут и известную объективную информацию о хронологии разделения енисейского языка; во всяком случае имеющиеся в настоящее время языковые и исторические материалы вполне согласуются с этими выводами.

Очень близки друг к другу коттский и ассанский, а также кетский и югский языки, но для подтверждения их статуса самостоятельных языков в составе енисейской языковой общности накоплено достаточно лингвистических и экстралингвистических свидетельств. А что касается точки зрения О. Тайёра о том, что пумпокольский язык следует рассматривать как диалект кетского [34], то она, как выяснилось, основывалась на ошибочных данных: дело в том, что среди слов с пометой «пумпокольский» в словарных материалах XVIII в. много кетских и югских слов, поскольку эта помета носила в целом не языковой, а территориальный характер, т. е. указывала на место записи слов — пумпокольскую («остяцкую») волость в верховье Кети, где пумпоколы проживали попеременно с югами и кетами [35]. При строгом отборе собственно пумпокольской лексики оказывается, что она более всего сближается с лексикой аринского, но не югского или кетского языков.

Из двух современных енисейских языков — кетского и югского — первый представлен тремя диалектами: южнокетским, или верхнеимбатским (от Подкаменной Тунгуски до бассейна Елогуя), среднекетским, или нижнеимбатским (от Сургутихи до бассейна Турухана), и севернокетским (на Курейке и оз. Мундуйском). Особенности этих диалектов изучены пока явно недостаточно, и предстоит еще большая работа по описанию всех говоров кетских диалектов. Для югского языка, насколько позволяют судить словарные материалы XVIII—XIX вв. [3], тоже можно предполагать наличие в прошлом нескольких диалектов [36]. Такой же вывод можно сделать в отношении коттского языка, сравнивая словарные материалы М. А. Кастрена [4] с материалами коттского словарика XVIII в. [3].

Наиболее важные результаты достигнуты, однако, в 50—70-е годы в изучении строя енисейских языков. В защищенных на сегодняшний день 16 диссертациях, в ряде монографий и в многочисленных статьях отражены, хотя и не в равной мере, все уровни языка — фонетика и фонология, морфология и синтаксис, лексика.

Проведенные экспериментально-фонетические исследования позволили подробно описать фонетическую характеристику звукового состава и акцентуационных средств кетского и югского языков и установить фонологические отношения на уровне сегментной и надсегментной фонетики этих языков. Подробно описаны также фонетические и исторические чередования в системе вокализма и консонантизма. Установлено, что для вокализма енисейских языков характерны четыре ступени подъема языка и наличие чередований аблаутного характера. Обе эти особенности связаны исторически со слоговой акцентуацией [37], которая резко выделяет енисейские языки из окружающих, в которых в свою очередь представлена гармония гласных, отсутствующая в енисейских языках; как видно, одно исключает другое [38].

По своему консонантному коэффициенту, особенно по высокой частоте переднеязычных шумных согласных, енисейские языки также отличаются от окружающих, хотя по другим фоностатистическим данным обнаруживают поразительное сходство с ними. Так, по частотности лабиальных они образуют вместе с монгольскими и тюркскими языками пограничную линию так называемой азиатской зоны депрессии губных согласных [39]. Как в алтайских и уральских (самодийских), в енисейских языках засвидетельствовано исторически пять рядов шумных смычных — лабиальный, дентальный, палатальный, велярный, поствелярный. К ареальным явлениям можно, очевидно, отнести и представленную в енисейских языках фарингализацию-ларингализацию, но она здесь тесно связана со слоговой акцентуацией и обнаруживает более широкие параллели как в плане синхронной, так и в плане диахронической типологии [40, 41].

Недостаточно исследованной остается пока фонетика различных говоров кетского языка, особенно в сравнительном плане. Эти исследования

ведутся рядом кетологов [42—44], и, как показывают полученные результаты, в данной области енисейское языкознание ожидают еще интересные открытия.

В области грамматики енисейских языков основное внимание кетологов было уделено в 50—70-х годах морфологии частей речи кетского и югского языков, особенно глаголу. Наиболее важными работами являются монографии А. П. Дульзона [9, 24, 45] и Е. А. Крейновича [46], в которых дана морфологическая классификация глаголов, определены грамматические категории глагола и средства их выражения. Указанные работы А. П. Дульзона и Е. А. Крейновича дополнены целым рядом статей этих же авторов, а также содержательным очерком Б. А. Успенского о системе кетского глагола [47]. В более ранней статье Б. А. Успенского впервые поднимается вопрос о типологическом состоянии енисейских языков, в частности кетского [48]. Накопленные к настоящему времени факты современных енисейских языков — кетского и югского — позволяют охарактеризовать эти языки как номинативные, сохранившие, однако, целый ряд реликтовых признаков активного и эргативного строя [49]. Все эти вопросы остаются для енисейского языкознания актуальными; еще много неожиданностей может дать диалектный материал и сравнительно-исторические исследования глагольной системы енисейских языков.

Кроме публикаций А. П. Дульзона, Е. А. Крейновича и Б. А. Успенского по кетскому глаголу, следует еще назвать работы Р. С. Гайер, Э. И. Белимова, М. М. Костякова и В. Г. Шабаева.

Внимание Р. С. Гайер было главным образом сосредоточено на формах императива [50], среди которых ею выделены повелительно-утвердительные, повелительно-отрицательные (запретительные) и побудительно-пермиссивные. При учете различных залоговых типов спряжения — каузативного, пассивного (на *-bet*) и медиального, а также того факта, что в формах кетского императива находят выражение категория класса, лица и числа (субъекта и объекта), транзитивности — интранзитивности, времени, вида и рода процесса (по А. П. Дульзону), число императивных форм, образованных от одной и той же глагольной формы, может достигать более 200.

Исследования Р. С. Гайер положили начало скрупулезному анализу категориальной характеристики кетских глагольных форм, их общего семантического потенциала. В этом же направлении изучались М. М. Костяковым временные формы кетских глаголов [51]. Автор попытался обосновать различие между сложными формами простого глагола, с одной стороны, и простыми формами сложных глаголов, с другой, что очень важно для понимания системы кетского глагола. М. М. Костяков впервые обратился и к проблеме абсолютного и относительного употребления временных форм кетского глагола.

Проблема категориальных значений енисейских глагольных форм остается для енисейского языкознания актуальной, так как исследована она пока недостаточно: нет полной ясности о соотношении словообразовательных и формообразовательных процессов в системе глагола, о соотношении видовых и временных оттенков значения глагольных форм, спорным остается вопрос о залоговых различиях; еще много неясного и в функционировании глагольных показателей Б и Д. Последний вопрос в настоящее время обстоятельно исследуется В. Г. Шабаевым [52]. Независимо от автора настоящих строк, изложившего свои представления по данному вопросу в [53], В. Г. Шабаев развивает сходные взгляды относительно употребления глагольных форм с показателями Б и Д; на основе функционально-содержательного анализа форм простых глаголов с основой в конце слова автор приходит к важному выводу о том, что показатели Д связаны с наиболее активным актантом при предикате (на наш взгляд, было бы лучше говорить в данном случае о ближайшем актанте, непосредственно участвующем в ситуации, ср. [54, с. 80]). Выявленные В. Г. Шабаевым факты можно, видимо, рассматривать как одно из важных свидетельств эргативного прошлого енисейских языков, когда языковой тип был ориентирован на передачу не субъектно-объектных, а агентивно-фактитивных отношений.

Вместе с В. Г. Шабаевым интенсивные исследования в этом же направлении ведет в настоящее время Э. И. Белимов в связи с изучением синтаксиса енисейских языков. Более ранние работы Э. И. Белимова были посвящены проблеме инфинитива в кетском языке [55]. В них дана классификация кетских инфинитивов (простые, производные и сложные), рассмотрены их формальные показатели, способы образования, а также функции в предложении. Автор выявил, кроме того, некоторые специфические особенности кетских инфинитивов, например, их способность склоняться по падежам или образовывать послеложную конструкцию, подобно существительным иметь формы ед. и мн. числа, образовывать формы действия и состояния, транзитива и интранзитива и т. д., указал на различия между инфинитивом и причастием, дал типологическую характеристику инфинитива в кетском языке, сравнив его, в частности, с масдаром в кавказских языках.

Важным достижением енисейского языкознания можно считать описание классной системы, пронизывающей всю морфологию имени и глагола [56]. В глагольном формообразовании классная дифференциация наиболее полно представлена в лично-субъектных и лично-объектных глагольных показателях 3-го лица, особенно в кетском и югском языках. Наблюдается две серии таких показателей, получивших в литературе условно название показателей Б и Д [15]. Исторически с ними связаны две серии глагольных форм, которые поначалу были противопоставлены как активные и инактивные формы, а первые, в зависимости от ряда показателей Б, как формы центробежной и центростремительной версий [53, с. 60].

В сфере имени можно, в зависимости от классной характеристики существительных, выделить мужское, женское и вещное склонения, если учитывать парадигмы ед. и мн. числа: в ед. числе выражена оппозиция «мужской» : «немужской», а во мн. числе — «вещный» : «невещный». Сохранились и некоторые черты классной дифференциации в способах образования форм мн. числа существительных [57].

Следы классных различий сохранились в и системе енисейских местоимений [58]; наиболее примечателен тот факт, что в енисейских языках нет личного местоимения для замещения имен существительных вещного класса.

В исследовании падежной системы енисейских языков основными результатами можно считать: (а) выявление доминирующей оппозиции основного и родительного падежей [59], имеющей, как выяснилось, ареальный характер [60]; (б) подробное описание функциональной характеристики кетских падежей [61]; (в) обоснование статуса установленных для кетского и югского языков падежей и их отграничение от послеложных конструкций [62].

Исследованием кетских прилагательных специально занималась В. С. Бибикова [63], и, таким образом, из четырех основных частей речи — глагола, имени существительного, имени прилагательного и наречия — специально не исследовалось в енисейских языках пока только наречие, если не брать во внимание очень краткие разделы, посвященные ему в работах А. П. Дульзона [24] и Е. А. Крейновича [64, 65].

Недостаточно исследованными остаются синтаксис и лексика енисейских языков, хотя и в этих направлениях сделаны уже первые шаги, а именно: в области синтаксиса работами Т. А. Кабановой [66], Н. М. Гришиной [67] и Э. И. Белимова, а в области лексики — работами Л. Е. Виноградовой [68], Л. Г. Тимониной, М. М. Костякова, В. А. Полякова. Начата также работа по подготовке к изданию сравнительного словаря енисейских языков лингвистами Томского пединститута.

Как показывают результаты проведенных по синтаксису исследований, в простом енисейском предложении доминирует глагольная форма, а именные члены, как правило, конкретизируют различные глагольные показатели и, выполняя роль субъекта и прямого объекта, выступают как равноправные члены предложения второго ранга. Основными видами синтаксической связи в простом предложении являются сочинение и подчинение [66]. Первый вид связи характерен для равноправных членов

предложения, а второй (согласование, управление, примыкание) — для неравноправных.

Объединение простых енисейских предложений в сложные осуществляется, как правило, теми же материальными средствами и теми же видами связи, которые обнаруживаются между членами простого предложения [67]. Выявлены следующие приемы организации сложных предложений: (1) посредством интонации, (2) посредством союза и интонации, (3) посредством падежного показателя и интонации, (4) посредством послелога и интонации. Кроме союзов, заимствованных из русского языка, отмечены лишь некоторые енисейские союзы, восходящие к наречиям или послелогам, и выделение исконно енисейских союзов в общекатегориальном плане весьма проблематично.

Для дальнейших исследований в области енисейского синтаксиса очень важно накопление текстовых материалов. Эта работа успешно велась уже в 60—70-х годах (см., например, [9, 69, 70] и др. публикации), и опубликованные тексты, кроме всего прочего, послужили основой для изучения кетского фольклора и мифологии [71—73]¹.

Как уже отмечалось, окончательное решение проблемы генетических связей енисейцев и их языков возможно только на основе комплексного подхода, с привлечением данных не только лингвистики, но и истории, археологии, этнографии, антропологии и мифологии. Отрадно отметить, что и в этих областях знаний о енисейцах, в частности, о кетах и югах, в 50—70-е годы накоплены интереснейшие сведения. Среди трудов этого направления следует прежде всего упомянуть исчерпывающее этнографическое исследование по кетам Е. А. Алексеенко [75], в котором обобщены результаты всех предыдущих работ и введены в научный обиход новейшие материалы, собранные автором у современных кетов и югов. Оригинальные идеи развиваются Е. А. Алексеенко и в целом ряде статей (см., например [76—78]). Необходимо также отметить последние работы по антропологии и этнографии кетов, включенные в третий кетский сборник [79, 80].

Таким образом, перспективы енисейского языкознания на обозримое будущее определяются следующими актуальными направлениями:

(1) исследование диалектов и говоров современных енисейских языков, особенно кетского (фонетика и фонология, морфонология, морфология и синтаксис, лексика);

(2) сравнительно-историческое и типологическое изучение енисейских языков (фонетики, грамматики, лексики) и реконструкция общеенисейского языкового состояния;

(3) внешнее сравнение енисейских языков с целью установления дальнейшей этимологии енисейских слов и выяснения исторических языковых контактов между енисейцами и соседними народами, а также определения вклада в енисейские языки иноязычных элементов на всех уровнях языка;

(4) обобщение лингвистических данных и данных смежных наук с целью выяснения древнейших генетических связей енисейцев и их языков;

(5) всестороннее изучение лексики енисейских языков и подготовка к изданию сравнительного енисейского словаря;

(6) углубленное изучение грамматики енисейских языков, особенно синтаксиса;

(7) продолжение полевых исследований языка кетов и накопление словарных и текстовых материалов.

¹ Недавно высказанные по этому поводу критические замечания Е. А. Крейновича [74] нам представляются не вполне обоснованными. Опираясь в таких серьезных вопросах на мнение информантки О. В. Тыгановой, которая сама уже не знает значения всех архаизмов, встречающихся в кетских мифологических текстах, и не может во многих случаях четко определить классную принадлежность соответствующих кетских существительных, на наш взгляд, нельзя. Справедливы лишь те замечания Е. А. Крейновича, которые касаются использованной А. П. Дульзоном транскрипции.

1. Сравнительные словари всех языков и наречий. Ч. I. СПб., 1787; Ч. II. СПб., 1789.
2. *Klaproth J.* Asia polyglotta. Paris, 1823.
3. *Дульзон А. П.* Словарные материалы XVIII в. по кетским наречиям.— Уч. зап. Томского пед. ин-та, 1961, т. XIX, вып. 2.
4. *Castrén M. A.* Versuch einer jennissei-ostjakischen und kottischen Sprachlehre nebst Wörterverzeichnissen aus den genannten Sprachen. SPb., 1858.
5. *Danner K.* Ketica. Materialien aus dem Ketischen oder Jenissei-Ostjakischen. Hrsg. von Joki A. J.— MSFOu, 1955, v. 108; Ketica II. Supplement. Hrsg. von Joki A. J.— MSFOu, 1958, v. 108/2.
6. *Каргер Н. К.* Кетский язык.— В кн.: Языки и письменность народов Севера. Ч. III. М.—Л., 1934.
7. *Каргер Н. К.* Bukvar. М.—Л., 1934.
8. Кетский сборник. Лингвистика. М., 1968.
9. *Дульзон А. П.* Очерки по грамматике кетского языка. I. Томск, 1964.
10. *Donner K.* Beiträge zur Frage nach dem Ursprung der Jenissei-Ostjaken.— JSFOu, 1916—1920, v. 37.
11. *Donner K.* Über die Jenissei-Ostjaken und ihre Sprache.— JSFOu, 1930, XLIV.
12. *Donner K.* Russische Lehnwörter im Jenissei-Ostjakischen.— Mélanges de philologie offert à M. J. J. Mikkola, Helsinki, 1931 (Annales Academiae Scientiarum Fennicae, 1932, v. XXVII, ser. B.).
13. *Топоров В. Н.* Библиография по кетскому языку.— В кн.: Кетский сборник. Мифология, этнография, тексты. М., 1969.
14. *Bouda K.* Das kottische Verbum. Beiträge zur kaukasischen und sibirischen Sprachwissenschaft. 2.— Deutsche Morgenländische Gesellschaft. Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, 1937, Bd. 22, № 4.
15. *Bouda K.* Die Sprache der Jenissejer. Genealogische und morphologische Untersuchungen.— Anthropos, 1957, v. 52.
16. *Дульзон А. П.* Кетские топонимы Западной Сибири.— Уч. зап. Томского пед. ин-та, 1959, т. XVIII.
17. *Тимонина Л. Г.* Тюркские заимствования в котском языке.— СТ, 1978, № 3.
18. *Тимонина Л. Г.* К этимологии компонента *-i/-ai* в составе некоторых енисейских слов.— В кн.: Грамматические исследования по языкам Сибири. Новосибирск, 1982.
19. *Poljakow W. A.* Über die selkupischen Lehnwörter im Jugischen und Ketischen.— Советское финно-угроведение, 1980, т. 16, № 3.
20. *Хелимский Е. А.* Keto-uralica.— В кн.: Кетский сборник. Антропология, этнография, мифология, лингвистика. Л., 1982.
21. *Вернер Г. К.* Акцентуационное освоение русских заимствований в современных енисейских диалектах.— В кн.: Языки и топонимия. Вып. 1. Томск, 1976.
22. *Вернер Г. К.* К вопросу о древних енисейско-индоевропейских лексических отношениях.— Уч. зап. Омского пед. ин-та, 1969, вып. 52.
23. *Вернер Г. К.* Вопросы эволюции общенисейского языка в свете постратических реконструкций.— В кн.: Постратические языки и постратическое языкознание: Тезисы докладов. М., 1977.
24. *Дульзон А. П.* Кетский язык. Томск, 1968.
25. *Дульзон А. П.* Гунны и кеты (К вопросу об этногенезе по языковым данным).— Изв. СО АН СССР, сер. обществ. наук, 1968, № 11, вып. 3.
26. *Старостин С. А.* Праенисейская реконструкция и внешние связи енисейских языков.— В кн.: Кетский сборник. Антропология, этнография, мифология, лингвистика.
27. *Старостин С. А.* Гипотеза о генетических связях сино-тибетских языков с енисейскими и северокавказскими языками.— В кн.: Древнейшая языковая ситуация в Восточной Азии. М., 1984.
28. *Членова Н. Л.* Хронология памятников карасукской эпохи. М., 1972.
29. *Членова Н. Л.* Соотношение культур карасукского типа и кетских топонимов на территории Сибири.— В кн.: Этногенез и этническая история народов Севера. М., 1975.
30. *Дульзон А. П.* О древней центрально-азиатской языковой общности.— Тр. Томского университета, 1968, т. 197.
31. *Топоров В. Н.* Из сравнительно-исторической фонетики енисейских языков: к реконструкции общенисейского консонантизма (предварительное сообщение).— В кн.: Постратические языки и постратическое языкознание: Тезисы докладов.
32. *Вернер Г. К.* Вопросы членения енисейской языковой общности.— В кн.: Вопросы немецкой диалектологии и истории немецкого языка. Омск, 1973.
33. *Костяков М. М.* Время расхождения кетского и котского языков по данным лексикостатистики.— В кн.: Вопросы строя енисейских языков. Новосибирск, 1979.
34. *Tailleur O. C.* Contribution à la dialectologie iénisséienne: les parlers denka et poumpokolsk.— In: Communications et rapports du Premier Congrès International de Dialectologie générale. Louvain, 1964.
35. *Вернер Г. К.* Пумпокольско-енисейские звуковые соответствия.— В кн.: Вопросы строя енисейских языков.
36. *Вернер Г. К.* О диалектном членении языка сымских кетов.— Уч. зап. Омского пед. ин-та, 1969.

37. Вернер Г. К. Взаимодействие тональной и фонемной систем в современных енисейских языках.— В кн.: Исследования в области сравнительной акцентологии индоевропейских языков. Л., 1979.
38. Werner H. K. Zur Frage nach dem Ursprung der Tonalität in den Jenissej-Sprachen.— ZPSK, 1979, Bd. 32, Hf. 2.
39. Никонов В. А. Фоностатистические спектры языков Сибири.— В кн.: Народы и языки Сибири. Новосибирск, 1980.
40. Иванов Вяч. Вс. О происхождении ларингализации—фарингализации в енисейских языках.— В кн.: Фонетика. Фонология. Грамматика. К семидесятилетию А. А. Реформатского. М., 1971.
41. Иванов Вяч. Вс. К синхронной и диахронической типологии просодических систем с ларингализованными или фарингализованными тонами.— В кн.: Очерки по фонологии восточных языков. М., 1975.
42. Кетский сборник. Лингвистика. М., 1968.
43. Деннинг Р. Ф. Фонетика имбатских говоров кетского языка: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Томск, 1971.
44. Феер В. Б. Акустические характеристики гласных кетского языка по пневмоосциллограммам (Пакулихинский говор): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1983.
45. Дульзон А. П. Аффиксация как метод передачи грамматических значений: Лекция по общему языкознанию. Томск, 1962.
46. Крейнович Е. А. Глагол кетского языка. Л., 1968.
47. Успенский Б. А. О системе кетского глагола.— В кн.: Кетский сборник. Лингвистика.
48. Успенский Б. А. Замечания по типологии кетского языка.— В кн.: Вопросы структуры языка. М., 1964.
49. Вернер Г. К. Реликтовые признаки активного строя в кетском языке.— ВЯ, 1974, № 1.
50. Гайер Р. С. Формы императива простых глаголов кетского языка (имбатский диалект): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Томск, 1972.
51. Костяков М. М. Образование и употребление форм прошедшего времени в кетском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Новосибирск, 1973.
52. Шабаяв В. Г. Об одном принципе дифференциации личных показателей кетского глагола.— В кн.: Функциональный анализ языковых единиц. М., 1983.
53. Вернер Г. К. Типология элементарного предложения в енисейских языках.— ВЯ, 1984, № 3.
54. Кибрик А. Е. Эталон эргативности и дагестанские языки.— В кн.: Актуальные вопросы структурной и прикладной лингвистики. М., 1980.
55. Белимов Э. И. Инфинитив в кетском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Новосибирск, 1973.
56. Крейнович Е. А. Именные классы и грамматические средства их выражения в кетском языке.— ВЯ, 1961, № 2.
57. Поротова Т. И. Образование и употребление форм числа существительных кетского языка: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Томск, 1968.
58. Живова Г. Т. Местоимения в кетском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1978.
59. Топоров В. Н., Цивань Т. В. Об изучении имени в кетском (некоторые результаты и перспективы).— В кн.: Кетский сборник. Лингвистика.
60. Топоров В. Н. Замечания по лингвистической географии Енисея. I.— В кн.: Лингво-типологические исследования. I. М., 1973.
61. Валл М. Н. Употребление падежей в кетском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Новосибирск, 1970.
62. Шерер В. Э. Последельные конструкции в кетском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1983.
63. Бибикина В. С. Образование и употребление имен прилагательных в кетском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Томск, 1971.
64. Крейнович Е. А. Кетский язык.— В кн.: Языки народов СССР. Т. 5. Л., 1968.
65. Крейнович Е. А. Кетский язык.— В кн.: Языки Азии и Африки. III. М., 1979.
66. Кабанова Т. А. Синтаксис простого предложения кетского языка: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Новосибирск, 1975.
67. Гришина Н. М. Падежные показатели и служебные слова в структуре сложного предложения кетского языка: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1979.
68. Виноградова Л. Е. Словообразование имен существительных в кетском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1981.
69. Дульзон А. П. Кетские сказки. Томск, 1966.
70. Дульзон А. П. Сказки народов сибирского Севера. I. Томск, 1972.
71. Топоров В. Н. О типологическом подобии мифологических структур у кетов и соседних с ними народов.— В кн.: Кетский сборник. Мифология, этнография, тексты.
72. Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Комментарий к описанию кетской мифологии.— В кн.: Кетский сборник. Мифология, этнография, тексты.
73. Иванов Вяч. Вс. Кетско-американские связи в области мифологии.— В кн.: Кетский сборник. Антропология. Этнография. Мифология. Лингвистика.

74. Крейнович Е. А. Анализ одной кетской легенды о птице даѢ.— В кн.: Лингвистические исследования. 1983. Функциональный анализ языковых единиц. М., 1983.
75. Алексеенко Е. А. Кеты. Историко-этнографические очерки. Л., 1967.
76. Алексеенко Е. А. Этнические процессы на Туруханском Севере.— В кн.: Преобразования в хозяйстве и культуре и этнические процессы у народов Севера. М., 1970.
77. Алексеенко Е. А. Этнографические элементы в кетском фольклоре.— В кн.: Фольклор и этнография. Л., 1970.
78. Алексеенко Е. А. К вопросу о так называемых кетах-югах.— В кн.: Этногенез и этническая история народов Севера. М., 1975.
79. Гохман И. И. и др. Антропология кетов.— В кн.: Кетский сборник. Антропология. Этнография. Мифология. Лингвистика.
80. Долгих Б. О. К истории родо-племенного состава кетов.— В кн.: Кетский сборник. Антропология. Этнография. Мифология. Лингвистика.

МАКОВСКИЙ М. М.

ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМБИНАТОРИКИ

*Светлой памяти
проф. Георгия Семеновича Шура*

Процессы, происходящие в языке, уже давно сопоставлялись лингвистами с комбинациями в шахматной игре [1, 2]. Необходимо, однако, иметь в виду, что, зная возможные ходы отдельных шахматных фигур, нельзя все же точно предвидеть те конкретные взаимосвязи, в которые они могут вступить друг с другом и те «цепные реакции», которые могут быть следствием этого. В языке же, в отличие от шахмат, мы, как правило, не знаем заранее ни возможных «ходов» отдельных элементов, ни тем более возможных результатов их взаимодействия и дальнейшей комбинаторики, ни характера тех новых языковых ситуаций, в которые каждый раз по-новому вовлекаются одни и те же языковые единицы, изменяясь или не изменяясь качественно и количественно, оказывая влияние на качество и количество других единиц в пределах одной и той же или различных языковых подсистем и обуславливая (не обуславливая) входжение или выход тех или иных элементов. В этой связи для изучения сущностных характеристик языка весьма важно исследование характера дистрибуции отдельных языковых единиц, возможностей и результатов их комбинаций в тех или иных ситуациях.

Лингвистическая комбинаторика — это отрасль языкознания, изучающая в рамках лингвистического времени качественные и количественные характеристики как языковых континуумов, так и входящих в них языковых элементов с целью определения возможности (нескольких возможностей или невозможности) и результатов различных видов их взаимодействия. Речь идет об анализе совместимости или несовместимости, образования различных конфигураций, или чертежей данной системы или подсистемы, а также выявления тех из них, которые могут остаться в языке в данный период его существования. При этом большое значение приобретает исследование категорий свободы и необходимости как в отдельных звеньях системы, так и в целостной системе, а также причин и результатов группировки и перегруппировки элементов, систем и их преобразований — пересечения, наложения, слияния, включения в систему или исключения из нее, свертывания, развертывания. Весьма важны и свойства элементов и систем — порядок следования, протяженность, иерархия. Нельзя не учитывать и того обстоятельства, что одни из вновь возникших языковых континуумов могут, а другие не могут выступать в дальнейшем в качестве исходных для новых комбинаторных преобразований.

Комбинаторика пронизывает все звенья и ярусы языковой системы, начиная от более мелких единиц (фонетические элементы слова, морфемы, слова и их значения) и кончая наиболее крупными (предложение, сверхфразовое единство, языковые континуумы — лексемные и семантические), причем оба указанных вида комбинаторики взаимодействуют между собой. Именно комбинаторика является основным принципом организации всех без исключения языковых единиц, формой их существования, эволюции и взаимодействия. В самом деле, любая языковая сущность, единица, реалия, независимо от своей величины и качественной характеристики, предполагает одновременное пересечение и комбинаторику различных категорий, процессов, материальных единиц, значений, свойств, при-

знаков, связей и комбинаторных схем, наблюдаемых на фоне комбинаторики различных и постоянно меняющихся языковых ситуаций [3—4]. Как справедливо отмечает В. М. Солнцев, «способность к комбинаторике есть общее и обязательное свойство единиц языка, обусловленное общесистемными фундаментальными свойствами единиц языка — дискретностью и неоднородностью. Иерархичность и линейность, также относящиеся к фундаментальным свойствам языковых единиц, обуславливают способ реализации комбинаторики» [5]. Характер и результаты комбинаторных изменений на более высоких языковых уровнях, как показывают наши наблюдения, находясь в непосредственной или опосредованной связи с комбинаторными возможностями на более низких уровнях и нередко всецело обуславливаются ими. В результате комбинаторики языковых единиц могут возникнуть, а могут и не возникнуть единицы, обладающие новыми качествами по сравнению с исходными, причем комбинации единиц разных уровней [6] дают различные результаты (ср. англ. прилагательное *simple* «простой», но существительное во мн. ч. *simples* «лекарственные травы», англ. сленг *simples* «страх»). Большое значение для комбинаторики имеет вид отношения, в которые вступают языковые объекты, — синтагматические (линейные), парадигматические (группировка в классы на основании общности или сходства свойств), иерархические (отношения вхождения менее сложных единиц в более сложные или отношения зависимости одной единицы от другой).

Для комбинаторики большое значение имеют процессы упрощения и усложнения языковых структур, единиц, континуумов, что ведет соответственно к развертыванию, дезинтеграции (возникновению нескольких структур, функционально находящихся в дополнительной дистрибуции и равносильных в своей совокупности одной исходной единице в пределах данного континуума) и свертыванию, интеграции (возникновению одной единицы, функционально равносильной нескольким исходным) [7]. Таким образом, между структурами данных объектов, несмотря на их различное материальное воплощение, может быть установлено одно-однозначное соответствие, в связи с чем становится возможной трансформация этих структур друг в друга или «передача» элементов одной структуры — другой. В этой связи интересно отметить, что в ряде случаев, например, в социальных диалектах, одно и то же слово может иметь совершенно разнородные значения, не соответствующие известным семантическим последовательностям (см. об этих последних [8]). Так, глагол *to do* в английском сленге означает: 1) «уничтожить; убить», 2) «отсутствовать», 3) «приказывать», 4) «обманывать», 5) «дружить», 6) «отбывать тюремное заключение», 7) «посещать» (*to do art galleries*), 8) «нападать на к.-л.» (ср. также существительное в значении «успех»). Здесь одновременно проявляется, с одной стороны, «передача» различными словами своих значений слову *do*, транспозиция значений, а с другой стороны, — свертывание, т. е. усложнение семантической структуры *do*, соединение, комбинация в его составе самых разнородных, не соотносимых с семантическими циклами значений, представленных (или ранее представленных) как в словах той подсистемы, куда входит *do*, так и в словах смежных подсистем. Подобные же случаи можно наблюдать, например, в таких словах, как франц. арготические *rengracier* «остановить(ся)»: ср. *Rengracie le chiffon rouge!* «Замолчи!»; *Je rengracie le jeu* «Я прекращаю игру» (др.-франц. *regracier* «благодарить», итал. *rengraziare* «то же»); *renard* «взятка; рвота»; англ. сленг *chance* «расстояние»; *commission* «здоровье»; *humr* «скорость»; франц. арго *dixième, dix* «прогулка» (ср.: *faire un dixième sur le préau*).

Интересно, что семантические циклы [9, с. 46] представлены не только при диахроническом разворачивании одного и того же слова, но и в рамках синхронии, где отдельные элементы семантического цикла распределяются в пределах различных корней. При этом каждый элемент того или иного семантического цикла может лечь в основу новой самостоятельной семантической последовательности, обнаруживаемой в рамках самых

различных корней, что ведет к образованию взаимосвязанных комбинаторных комплексов. Нередко неизменность формы сочетается с возможностью изменения значений, свойств и связей, а неизменность значений, свойств и связей — с изменением формы. Если языковой континуум организован на основе количества, то это ведет к расширению его материального состава на основе какого-то общего признака или нескольких признаков независимо от того, изменяется ли семантика (ср. вхождение в социальные диалекты большого количества синонимов); если же в основе комбинаторной схемы континуума лежит качество, то это может привести не только к семантическому изменению отдельных слов, но и к взаимной «передаче» значений, семантической транспозиции внутри континуума (при этом некоторые лексемы только «отдают» свои значения, некоторые только «принимают» значения, а некоторые и «отдают», и «принимают») [9, с. 42, 132—133, 135—136].

Только определенная комбинация связей, свойств и отношений приводит к образованию именно данной языковой сущности (реалии), обуславливает меру ее жизнеспособности и диапазон функциональной нагрузки. Индивидуальность языкового объекта определяется прежде всего характером его свойств и функций, их группировками, т. е. конфигурацией структуры и системы объекта и характером элементов. Особое значение приобретают типологические характеристики языковых объектов. Речь идет о внутренних и внешних, общих и частных, основных и производных структурах, изменяющихся и сохраняющихся частях структур, а также таких их свойствах, как смежность и несмежность, непрерывность и прерывность, внутренний предел определенных свойств, отношений, связей и др. Одна и та же номенклатура свойств и связей при другой их группировке дает языковую сущность с иной качественной определенностью. С другой стороны, не только определенная комбинаторика обуславливает те или иные процессы, но и сами эти процессы нередко совместимы лишь с определенной комбинаторной схемой на всех уровнях языка: в пределах отдельного слова (точечного континуума), где в соответствии с тем или иным комбинаторным укладом по-разному соотносятся форма и значение, в пределах предложения, языкового континуума и/или нескольких континуумов. Интересна различная комбинаторика слова на словообразовательном уровне. Например, отрицательный префикс *un-* в английском языке может сочетаться далеко не со всеми прилагательными, хотя чисто внешне прилагательные, которые не могут принимать этот префикс, ничем не отличаются от тех, которые с ним сочетаются (ср. невозможность таких префиксальных форм, как **unbroad*, **undeep*, **unwide*, **unbold*, **unglad*, **unglad*, **unstrong*, **unfull*, **unheavy*, **unshort*, **unold*, **unweak*, **unevil* и др.)

Тип комбинаторики (комбинаторная схема) на всех уровнях различен, поскольку языковая система организована по принципу отрицания отрицания: система совместима только с антисистемой, формой существования языка является принцип «единство, тождество противоположностей». Если состояние системы характеризуется несколькими величинами, то оно может изменяться в направлении каждой из этих величин. В этом случае говорят, что система имеет несколько степеней свободы, т. е. несколько возможностей независимых изменений и комбинаций. Весьма важно для комбинаторных процессов взаимодействие количественного принципа с качественным. Интересны в этой связи следующие немецкие примеры: *hören* «слышать», но *gehören* «принадлежать»; *raten* «советовать», но *geraten* «угодить куда-л.»; *fallen* «падать», но *gefallen* «нравиться» (префикс *ge-* сам по себе не меняет значения глагола, а лишь увеличивает его протяженность). Качество и количество в лексике и семантике, однако, согласно нашим наблюдениям, находятся в обратном отношении¹ (ср. также известные тезисы П. Менцерата).

¹ Следует отметить, однако, что, как показывают наши наблюдения, прямое соотношение качества и количества скорее является исключением, чем правилом, и обусловлено, видимо, наложением других комбинаторных процессов (в частности, транспозицией значений в пределах нескольких лексико-семантических подсистем). С дру-

Возникает вопрос: каков тот предел, после достижения которого замена вставка, увеличение или уменьшение элементов комбинации (например, фонетических составляющих слова) ведут к изменению значения? С другой стороны, до какого предела изменение значения не ведет к изменению формы комбинационного комплекса? Следует иметь в виду, что предел развертывания или свертывания лексемного ряда (т. е. состояние, после которого наступает разрыв целостности связанного аттракцией ряда лексем), как показывают наши наблюдения, не совпадает с пределом развертывания или свертывания значений (т. е. с состоянием, когда происходит разрыв семантического цикла): в последнем случае предел достигается раньше, чем в первом. При этом определенная к р и т и ч е с к а я к о м б и н а т о р и к а лексем (она неодинакова для различных комбинаторных схем) может влиять на изменения, переинтеграцию, выход или вхождение значений, а критическая комбинаторика значений может обусловить изменения, переинтеграцию, выход или вхождение лексем. И еще вопрос. Чем обусловлены те относительные связи, которые неизменно устанавливаются в языке между материальной формой слова и значениями, каковы те факторы, которые могут нарушить, разрушить или, наоборот, никак не влиять на эти связи? Следует иметь в виду, что единицы плана выражения и плана содержания обычно организованы на основе совершенно различных комбинаторных схем, причем комбинаторные схемы одного из этих уровней не могут использоваться в сфере другого. Известно, что при изменении значения материальная оболочка слов обычно не меняется, при изменении материальной оболочки слова (ср. разного рода подвижные формативы, мену гласных и согласных, тмезис и др.) значение не меняется, при одновременном же изменении формы и значения слова происходит его «разрыв», образование нескольких новых слов (ср. этимологические дублеты типа англ. *clock* «часы» и *cloak* «пальто»). Необходимо иметь в виду следующую антиномию. Для языка как системно-структурного образования более важен способ группировки элементов, а не сами группируемые элементы: одна и та же комбинаторная схема может сочетаться с разными материальными элементами, а разные схемы — с одними и теми же лексико-семантическими единицами. С другой стороны, известно, что в каждый период времени люди говорят конкретными словами, имеющими определенное значение (или значения). Определенное равновесие между материальной оболочкой слова и его значением возможно только в той мере, в какой их комбинаторные схемы остаются качественно различными. При нарушении этого различия может произойти выход из языка одинаково структурированных лексем или значений, могут возникнуть семантически неопределенные лексемы, допускающие сочетание с произвольными значениями (ср. так называемую многозначность, особенно в социальных диалектах), или появиться значения, комбинируемые с произвольными лексемами. В этом плане особенно показательно явление вариативности. Пределом изменения формы, после достижения которого наступает изменение значения, является несовместимость данной формы с той или иной комбинаторной схемой значения, а пределом изменения значения, после достижения которого наступает изменение формы, является несовместимость данного значения с той или иной комбинаторной схемой формы. В случае близости или совпадения комбинаторных схем плана выражения и плана содержания — нейтрализация слова или значения, а также выход слова из языка. Ср. изменение значения в результате замещения фонетических элементов слова [11]: русск. *тереть* — *терять*; *жалеть* — *желать*; *паять* —

гой стороны, устойчивость слов и их значений находится в прямой зависимости по отношению к их количеству (например, по отношению к протяженности слова). Любая таксономия или комбинация фонеморфологических единиц сама по себе остается для языка мертвым конструктом, если она не в состоянии вступить в комбинацию с одним или несколькими значениями и, таким образом, образовать уникальную языковую комбинацию — слово. При этом разные слова могут иметь одну и ту же комбинаторную схему, а одно и то же слово в процессе своего существования может сменить несколько комбинаторных схем. Сказанное проливает свет на механизм выхода слов и значений из языка и появления в языке новых слов и значений.

поить; русск. *тереть* — *терять*; *жалеть* — *желать*; *паить* — *поить*; *пить* — *петь*; *метить* — *метать*; англ. *bend* — *bind*; нем. *fliehen* — *flehen*; литов. *šaltas* «холодный» — *šiltas* «теплый». Интересно, с другой стороны, сопоставить примеры замены фонетических элементов слова, не обуславливающей никаких семантических преобразований: англ. диалектн. *hoggan* — *foggan* «пирог со свининой»; нем. диалектн. *Schodel* — *Schuggel* «Нагг»; *Rieschen* — *Ruggen* «Säge», англ. диалектн. *bausie* — *mausie* «полный (о человеке)».

Каждая языковая реалья и языковой континуум — результат взаимодействия самых различных комбинаторных схем². Определенная комбинаторная конфигурация, бытовавшая в прошлом, в пределах той или иной языковой единицы пересекается с качественно и количественно иной комбинаторной схемой, представленной в настоящем и обладающей всеми предпосылками для возникновения новых комбинаторных укладов в ходе дальнейшего существования языка (своеобразные языковые «гены») [12]. Необходимо иметь в виду, что чисто внешнее рассмотрение только того, что непосредственно представлено в языке в синхронии и диахронии, без учета взаимосвязей и взаимодействия всех или большинства промежуточных комбинаторных схем и процессов, которые обычно как таковые в языке не представлены, неизменно приводит к иллюзиям, далеким от действительности, к искажению сущности исследуемых явлений: причина нередко принимается за следствие, а следствие за причину. Непосредственно наблюдаемые в языке элементы, в частности лексемы (материальные сущности) и их значения, в большинстве своем не являются феноменами *primum datum*, а следствием или результатом целой цепочки насланивавшихся друг на друга процессов взаимодействия этих элементов. В каждый отдельный период существования языка реально представлены лишь относительно конечные продукты взаимопроникновения языковых структур, их связей, отношений, функций, свойств, т. е. результаты целого ряда комбинаторных преобразований, которые могут связывать и разъединять отдельные языковые реалии и континуумы, накладывая на них определенные ограничения или нейтрализовать последние. Вследствие этого в каждый данный период существования языка отдельные его элементы или их значения как бы повернуты к нам лишь одной из своих сторон. Вместе с тем комбинаторика может обусловить и свободу, факультативность тех же элементов или значений, одновременно входящих в другие континуумы. Именно поэтому возможны скрытые комбинаторные схемы, причем представленная в языке минимальная комбинаторная единица не обязательно должна включать две реалии (с другой стороны, вполне возможно существование в качестве комбинаторной единицы целого континуума качественно и количественно различных элементов, объединенных единым комбинаторным условием). В качестве примера «скрытых» комбинаторных схем можно указать на весьма спорное с точки зрения происхождения английского слово *body* «тело», которое при ближайшем рассмотрении оказывается опроценным парным словом, причем первая часть этого слова, как и вторая, претерпела сложные семасиологические преобразования. Первая часть рассматриваемого слова (др.-англ. *bōdig*, др.-в.-нем. *potah*, *botah*) соотносится с и.-е. **bhū-* «*schwellen, wachsen, gedeihen; entstehen, werden, sein*» (типологически ср. нем. *leben* > *Leib*; тох. В *sarwece* «*forme d'existence*», но *sarwana* «*visage*»), которое могло дать значение «*пихать, бить, гнуть; мять, месить глину, придавая ей форму*» (ср. лат. *rumpere* «*рвать*», но нем. *Rumpf* «*тело*»). Значение «*резать, бить*» могло переходить в значения «*кожа, тело*», а также «*спрятать*» («*то, что спрятано под кожей, телом*»), о чем свидетельствует вторая часть слова (ср. др.-англ. *dēag* «*Farbe*»; *dēagol* «*verborgen*»; гот. *deigan* «*to knead*», др.-инд. *dēhmi* «*I smear*», *dēhah* «*body*»), синонимичная первой. Ср., с одной стороны, англ. диалектн. *to bud* «*to set energetically to work*»; *bud* «*the impetus of the wave on the*

² Интересно, что Ф. де Соссюр называл функцию в языке «*activité de groupement*» [10].

shore», но др.-в.-нем. гапакс: *bodanbrāwi. lippitudo* «Augentzündung» [13], тох. *A pāt-saṅk* «fenêtre», др.-инд. *bhāti* «lumière»; ср. также: серб.-хорв. *boja* «краска», но русск. *бои, бумь* (типологически ср. др.-англ. *liðian* «бить, резать», но др.-исл. *littr* «краска»). Поскольку системность в языке немислима в «чистом виде», а неизменно предстает как диалектическое единство системных и асистемных явлений, именно нарушение системности нередко выступает в качестве не только стимула, но и результата различных комбинаторных процессов, что ведет, с одной стороны, к дальнейшей переинтеграции системы, а с другой — к установлению ее относительной стабильности. Таким образом, исследование комбинаторики в языке — это прежде всего реконструкция тех промежуточных звеньев, которые хотя реально и не представлены, уже сыграли или могут сыграть существенную роль в становлении тех или иных элементов, значений, связей и их различных группировок. При комбинаторном анализе следует исходить из того, что не всякое изменение в языке связано с эволюцией и не всякая эволюция характеризуется внешним изменением. Внешне различные процессы и явления в языке могут быть результатом разворачивания или свертывания одного и того же феномена, а внешне одинаковые явления, процессы, формы, значения могут соотноситься с самыми различными (качественно и количественно) феноменами. Интересно в этой связи рассмотреть комбинаторику на уровне лексико-семантических преобразований. И.-е. **ger-* «вертеть, двигать» лежит в основе слов с совершенно различными значениями. Ср. следующие комбинаторные схемы: I — а) лат. *carpere* «pflücken», др.-исл. *hreppa* «erhalten, greifen», литов. *krūpti* «to turn round», *kreipti* «to turn upside down», а с другой стороны, б) др.-инд. *kṛpitaṃ* «кустарник», др.-исл. *hrapi* «низкорослое дерево», но также в) русск. *крепкий*, нем. *Kraft* «сила» (ср. семасиологическую параллель: лат. *robur* «дубовое дерево», но *robustus* «сильный, мощный»; русск. *дерево*, но *здоровье*) и II — относящееся к тому же корню англ. *grease* «жир» (ср. семасиологическую параллель: англ. *fat* «жир» и англ. диалектн. *fet* «тянуть, дергать», др.-инд. *pātati* «лететь, спешить», *pātáyati* «бросить»; ср. также англ. диалектн. *to fink* «покинуть, сбежать», но *finkle* «жир»). Отметим также, что германский корень, представленный др.-англ. *féorh*, др.-в.-нем. *ferah* «ánima», нем. диалектн. *Ferch* «Mark, Leib und Leben, Kernholz» в австрийском диалекте немецкого языка имеет значения: 1) «конвулсия», 2) «расстройство желудка», 3) «мазка (у коровы)», причем, в отличие от прочих немецких диалектов, где это слово среднего рода, в Австрии оно женского рода. В этом плане комбинаторный анализ предстает и как своеобразная типология, основная цель которой — не просто исследование реально представленных языковых явлений, а анализ различных языковых ко н ф и г у р а ц и й и у к л а д о в, как специфических для определенных языков, так и общих для нескольких (родственных и неродственных) языковых систем; комбинаторика изучает также возможности и результаты совместимости, преобразования и взаимодействия этих конфигураций. В связи с этим при исследовании комбинаторики большую важность приобретает использование вероятностных методов и теории игр.

Изучение комбинаторики в языке требует определения как характера объектов, которые подвергаются той или иной организации в языке, так и категорией, на основе которых такая организация реализуется (структура, система). В настоящей работе мы будем исходить из следующего. **Структура** — это сложное иерархическое целое, элементы которого находятся в определенных отношениях. **Система** — иерархическая сеть связей (связь — это совокупность причинных отношений и отношений взаимозависимости) между элементами данной структуры в относительной независимости от их свойств. При этом структура является первичной по отношению к системе. **Объект** — иерархическое полифункциональное целое, обладающее структурой и системой. В отличие от отношений, неотделимых от свойств элементов и являющихся атрибутом структуры, связи между элементами существуют безотносительно к свойствам данных элементов, у которых могут быть и могут не быть общие

свойства и которые помимо того, что они находятся в данной связи, находятся еще во множестве отношений, определяемых числом свойств этих элементов. Многочисленность и изменчивость отношений каждого элемента определяются бесконечностью свойств, характерных для него, его многокачественностью и полифункциональностью. Как отмечает Г. С. Щур [14—15], общим принципом организации систем любых объектов являются не оппозиции, не отношения, а связи. При этом более сложное не всегда означает «более высокого ранга». Не все элементы, находящиеся в отношениях, оказываются связанными, но все элементы, связанные между собой, обладают отношениями. Не каждый элемент связан с каждым и тем более со всеми другими элементами. При этом тип связи между элементами — не всегда взаимосвязь. Соотношение в языке структуры, системы, отношений, связей и свойств является комбинаторикой этих категорий. Качественная характеристика связи между данными элементами и другими связанными элементами — не одинакова. Она определяется ролью данной связи в том или ином объекте с точки зрения его функционирования и ролью элементов, между которыми существует данная связь в данной иерархической структуре. Кроме того, она определяется и тем, существует ли связь между отдельными элементами или между группами элементов. Качественные характеристики существенных, несущественных и генетических связей определяются всецело с точки зрения функционирования данного объекта. При этом существенные связи могут быть и генетическими, и синхронными, а генетические могут быть несущественными для одного или нескольких периодов эволюции языка. Зависимость изменений системы от преобразования структуры позволяет предположить невозможность существования закрытых, замкнутых или изолированных систем. Следует признать, что как в синхронии, так и в диахронии в языке сосуществует (комбинируется) множество самых различных систем, причем не только материальный состав, но и качественное устройство этих систем постоянно меняется. В этой связи вряд ли правомерно признавать наличие в языке некой абстрактной «единой» системы.

Исходными параметрами комбинаторных преобразований являются количество, качество, порядок, выбор, иерархия, функция. По отношению к этим категориям различная группировка конкретных языковых элементов и даже их различные преобразования и связанные с этим процессы являются вторичными, т. е. следствиями, а не причиной. Именно определенное соотношение той или иной из этих категорий с другими категориями того же уровня является решающим для выбора своеобразного «чертежа», «схемы» организации элементов языкового континуума (мы будем называть это комбинаторным коэффициентом или основанием континуума). Развитие и существование языка предполагает наличие порядка и порождает его, но одновременно оно возможно только на основе отрицания порядка как созидającego момента. Таким образом, в языке большое значение приобретает комбинаторная ситуация, в частности, случайная ситуация. Так, контаминация др.-англ. *hæfer* «козел» и *hæfer* «овес» привела к тому, что синонимичное *hæfer* «козел» слово — др.-англ. *gāt* — приняло мнимое значение «овес» (др.-англ. *āt*, англ. *oat* < **gāt*: относительно элизии начального согласного ср. русск. *коза*, но литов. *ožys*). В результате контаминации др.-англ. *hæfer* «козел» и *hæfer(n)* «скорпион» синонимичное *hæfer* «козел» слово — *bucca* «козел» — приняло мнимое значение «жук, насекомое» (ср. англ. *bug*).

Как мы уже отмечали, даже в пределах одного языкового элемента вполне возможны комбинаторные преобразования; с другой стороны, несколько языковых элементов могут не образовывать континуум и не включаться в комбинаторные процессы. В результате пересечения нескольких языковых континуумов может произойти нейтрализация не только отдельных свойств языковых элементов, но и самих этих элементов; кроме того, пересечение языковых континуумов или их элементов часто приводит к ограничению их протяженности и/или к качественному и количественному изменению свойств и/или значений, а также к их упорядо-

чению или, наоборот, к нарушению исходного порядка. Наконец, пересечение нескольких языковых континуумов может привести к появлению нового континуума или новых элементов континуума, новых значений. Как показывают наши наблюдения, возможности комбинаторики языковых континуумов обратно пропорциональны возможностям комбинаторики как между отдельными элементами, которые в них входят, так и внутри отдельных языковых элементов (комбинаторика формы и содержания). Комбинаторное развертывание континуумов ведет к свертыванию комбинаций отдельных элементов и их свойств, и, наоборот, комбинаторное развертывание элементов континуума ведет к комбинаторному свертыванию языковых континуумов и их частей. Чем больше количество (размеры) отдельных элементов в языковом континууме, тем меньше способность такого континуума к комбинаторике с другими континуумами; чем больше протяженность континуума, тем меньше способность отдельных его элементов к комбинированию. Если комбинаторика ведет к образованию нескольких языковых реалий или значений, то они несовместимы в одном ряду. Всякая комбинаторика — это упорядочение, поэтому чем свободнее порядок, тем меньше возможности комбинаторики. Большое значение для комбинаторики имеет языковое окружение, определенная языковая среда. Окружения тех или иных языковых элементов на определенном отрезке системы обуславливают тот или иной тип их комбинаторной организации, а тип языковой организации в свою очередь обуславливает возникновение определенного окружения.

Мощным фактором комбинаторных преобразований является присущий любой языковой системе и каждый раз неодинаковый набор ограничений, «запретов» (constraints), позволяющей избирательно «включать», «выключать» или нейтрализовать те или иные языковые процессы или явления, а также все реалии, континуумы реалий и значения, подпадающие под запрет. Комбинаторика положительного и отрицательного является для языка основополагающей: любой языковой объект, отличаясь теми или иными свойствами, признаками, связями, тем самым исключает, не допускает другие свойства, признаки, связи. Запрет в языке — это установление различных степеней свободы (прерывность) тех или иных процессов в соответствии с коэффициентом комбинаторики, лежащим в основе организации той или иной языковой сущности (слов, значений) и/или языкового континуума и предполагающим ограничение комбинаторики элементов континуумов и рядов, в которые они входят, определенным относительным пределом. Реально в языке переплетаются и накладываются друг на друга несколько различных запретов, в результате чего обычно возникает равнодействующая всех этих запретов. Отметим, что одно и то же явление или элемент могут одновременно выступать и как «запрещенное», и как «незапрещенное», если они входят в несколько языковых континуумов, бытующих в языке. С другой стороны, один и тот же запрет может охватывать несколько явлений и несколько континуумов. В рамках континуума, подпадающего под тот или иной запрет, внутри отдельных элементов может наблюдаться большая или меньшая степень свободы комбинации признаков и свойств. Наложение на определенный участок языкового континуума нескольких последовательных запретов (в том числе качественно или количественно неодинаковых) равносильно снятию запрета. Если комбинируются элементы с разными признаками, то результатом этой комбинации может быть элемент, обладающий признаками, отличными от признаков исходных элементов. В зависимости от того, охватывает ли запрет большие или меньшие участки континуума или нескольких континуумов, в какой степени он ограничивает развертывание или свертывание того или иного континуума или пересечение континуумов, в зависимости от большего или меньшего числа языковых процессов, способных в большей или меньшей степени «гасить», нейтрализовать или, наоборот, вызывать к жизни те или иные явления и процессы, мы будем говорить об относительной силе запрета и соответственно о комбинаторной силе той или иной языковой реалии или континуума, в который она входит (эта «сила» определяется, в част-

ности, свободой изменения формы и/или значения реалии или спаянностью элементов ряда, связанных аттракцией [9]). Наложение запрета на разных языковых уровнях проявляется неодинаково: так, свобода на лексико-семантическом уровне может сочетаться с запретом на грамматическом уровне, прерывность на одном уровне может сочетаться с непрерывностью на другом. В пределах различных комбинаторных схем лексико-семантические элементы не равносильны по своему функциональному потенциалу [9, с. 20]: одна лексема может «связывать» одно, два, три и более значений, а одно значение может «связывать» одну, две, три и более лексем (валентность), причем валентность лексемного и семантического уровней как внутри слова (внутренняя валентность), так и в пределах лексико-семантического континуума (внешняя валентность) находится в постоянном взаимодействии. Если комбинаторная схема лексемного (resp. семантического) уровня одного слова отличается от комбинаторной схемы семантического (resp. лексемного) уровня другого слова в пределах лексико-семантического континуума (т. е. они совместимы), возникают «связи по цепочке» между словами, относящимися к самым различным корням (лексикосемантическая аттракция) [9]. Если же комбинаторная схема лексемного (resp. семантического) уровня одного слова совпадает с комбинаторной схемой семантического (resp. лексемного) уровня другого слова в лексико-семантическом ряду (т. е. они несовместимы), неизменно происходит выход слов и значений из языка. Выход слов и значений создает положительный «заряд» внутри подсистемы, а вхождение слов и значений создает отрицательный «заряд» (в первом случае имеется в виду способность того или иного лексико-семантического окружения, или среды притягивать лексемы и значения, а во втором — отталкивать их). Чем больше связей у слова или значения, тем они менее прочны. Отметим, что определенные значения (например, «делать», «ходить», «человек» и др.) в истории ряда языков тесно связаны с определенными лексемами, которые трудно поддаются замене; любопытно, что именно слова с этими значениями в социальных диалектах имеют десятки синонимов, причем слова литературного языка, имеющие эти значения, в социальных диалектах, как правило, не употребляются. Важно также иметь в виду, что комбинаторные схемы различных уровней (в пределах слова, в пределах ряда и между рядами) в свою очередь сами находятся в определенной иерархии и в определенных комбинаторных отношениях.

Свойство избирательности в языке³, наложение определенных «запретов» на возможность вхождения слов в язык и их выхода из него обусловили тот факт, что часть общиндоевропейских лексем представлена только в узких подсистемах того или иного языка, а в некоторых случаях и вообще не представлена в отдельных индоевропейских языках. В английском сленге, например, находим слово *bird* в значении «тюрьма». Это слово, отсутствующее в других слоях английского языка, в частности, в общелитературном, соотносится с тох. *A pruk- «etre barré, enfermé»,* литов. *spráusti «(mit Anstrengung) in einen engen Zwischenraum pressen».* Только в английском сленге представлено слово *ball* в значении «удовольствие» (*have a ball*), соотносимое с русск. *баловать* (это последнее некоторые исследователи сопоставляют со ст.-слав. *балис «врач, прорицатель», баловати «лечить»,* а некоторые — с др.-инд. *balas «молодой, детский»* или лат. *fallo «обманываю»*). Ср. также англ. сленг *to pile up «повредить, испортить»* и тох. *A päl, тох. B pile «blessure»,* греч. *ἄπλος «plaie».*

³ Любой выбор в языке представляет собой равнодействующую по отношению к качественно и количественно различным возможностям и результатам выбора на уровне слова, континуума, в который входит это слово, нескольких континуумов, и всецело определяется комбинаторикой лингвистических ситуаций, имеющих как внутриязыковую, так и экстралингвистическую природу. Интересно отметить в этой связи, что в ряде случаев языковая система может «пропускать» (resp. не «пропускать») определенные или любые лексемы; вместе с тем отдельные входящие в систему лексемы могут «пропускать» или не «пропускать» те или иные значения. Между этими двумя процессами, видимо, существует взаимосвязь. При этом связи слов и значений могут быть неодинаковыми по своей «силе» и порядку (иерархия связей).

В одних случаях наблюдаются строго определенные комбинации из неограниченного (количественно и качественно) числа языковых элементов, в других возможны любые комбинации из ограниченного числа элементов (ср. явление метафоризации). В качестве примера на последний случай интересно указать на англ. *fish*, нем. *Fisch* «рыба», которое непосредственно соотносится с тох. А *pusäk* «tendon, muscle», (pl.) *puskas*, ср. англ. диалектн. *fish* «a flat plate of iron laid upon another to strengthen or protect it», индо-ар. *pišur* «muscle, flesh». Следует отметить, что в ряде языков понятие «рыба» соотносится с понятием «мускул», подобно тому, как лат. *mus* «мышь» соотносится с *musculus*: ср. следующее парное слово в адыгейском: *ləpčä* «мышца», букв. «плоть, мышца + рыба». Англ. *fish* соотносится с корнем, представленным русск. *писк*, *пищать*, лат. *spirare* «дышать, раскрывать рот», причем этот корень прошел следующий путь метафорической комбинаторики: «дуть, растягивать» → «гнуть» → «бежать, быстро двигаться; сокращаться» (ср. англ. диалектн. *to fish* «стремиться») → «прятать». Ср. англ. *cod* «стручок, оболочка», но *cod* «треска». Интересно, что в русском жаргоне *рыбой* называется шпаргалка (ср. происхождение русского слова *шпаргалка* от лат. *sparganum* < греч. *σπάργανον* «пеленка»). Ср., с другой стороны, англ. *prompt* «шпаргалка», букв. «то, что подгоняет»: следует отметить, что понятие быстроты обычно соотносится с понятием крепости — ср. чешск. *křepky* «быстрый», но русск. *крепкий*, в связи с чем важно принять во внимание соотносимые с англ. *fish* индоарийские слова: *picnā* «to be hard and tight», *piccaṃyati* «to press flat», *piccala* «slimy, slippery, sliding».

«Закономерная» комбинаторика в языке нередко нарушается разного рода контаминациями, как на уровне рукописей, так и в живой речи (паронимия), что создает определенную свободу семантики слова и ведет к вхождению в язык так называемых «мнимых слов». Интересно указать, например, что сленговое слово *bow* [букв. «гнуть; лук (оружие)»] означает «дебют (в театре), начало». Ср., однако, в глоссах Дифенбаха [16]: *arcus. archos. boge. bogen* (с. 45), но *archos. arcus. forst. forstie* (с. 46). Лат. *pātella* «сковорода» контаминировалось с лат. *pātulus* «открытый» (ср. также *patina* «сковорода, миска», но *pātens* «открытый») и соответствовало в др.-англ. *ofen* «сковорода; печь», которое в результате указанной контаминации ошибочно получило значение «открытый» (ср. совр. англ. *open*, нем. *offen*). С другой стороны, синоним *ofen* — др.-англ. *Polle* — контаминировался с др.-англ. *déal* «reichlich, stark» (ср. нем. диал. *toll*), в связи с чем появилось «мнимое» слово — англ. *often* «часто». Очевидно, комбинаторными причинами можно объяснить то обстоятельство, что, как отмечалось в специальной литературе, в языке фонем обычно меньше, чем морфем, морфем меньше, чем лексем, лексем меньше, чем семем, а семем меньше, чем тех познавательных единиц, с которыми может иметь дело человеческая мысль. Следует также учитывать, что в языке обычно представлено значительно меньшее количество комбинаций, чем теоретически возможно, что опять подчеркивает реальность существования комбинаторных ограничений. Отметим также, что омонимия отнюдь не обязана своим происхождением случайному совпадению в синхронии некогда различных слов, а представляет собой результат процесса своеобразного «выравнивания формы», направленного на создание особого комбинаторного языкового уклада, т. е. особой таксономии, основной организующий принцип которой — формальная общность входящих в нее элементов при «свободном» значении. Противоположным комбинаторным укладом является синонимия, организующий принцип которой — «свободная» форма при близости значения. В зависимости от степени свободы языковой подсистемы наличие в ней тех или иных лексем, изменчивость или неизменность их формы, связей, отношений и свойств (количественных и качественных) или отсутствие определенных лексем и их свойств могут быть обусловлены как внутриязыковыми, так и экстралингвистическими, а иногда и просто случайными факторами. Это последнее обстоятельство может свидетельствовать о характере комбинаторики (более или менее свободном) в н у т р и отдельных языковых реалий, м е ж д у этими

реалиями, а также между языковыми к о н т и н у м а м и, в которые они входят. Способность языка к саморазвитию означает, что воздействие тех или иных условий на языковой объект преломляется через его структуру, характер и состояние которой определяют конкретное направление преобразований структуры и системы данного объекта в соответствии с его функциями. Английское слово *wife* «жена», нем. *Weib* «женщина» соотносятся непосредственно с и.-е. **dyō* «два»: первоначально слово означало «расколотый (на две части), отколотый (от ребра Адама)». Ср. др.-англ. *getwaefan* «trennen, schneiden» (возможно, сюда же англ. *weapon*, нем. *Waffe*); ср. также: англ. диалектн. *dwaub* «a weak person»; *dwibble, dwabble* «flexible, yielding, weak, infirm»; *wip* «on one side, askew». Типологически ср.: франц. арг. *bis* «sexe de femme» (ср. лат. *bis* «вдвойне, дважды», англ. сленг *bit* «девушка, женщина», букв. «кусочек, осколок»). Значение «бить, разбивать» (ср. англ. диалектн. *swipe* «бить») соотносимо со значением «мокрый» (типологически ср. и.-е. **māk-* «kneten, quetschen, drücken», но **māk-* «наб; feuchten» [17], с которыми интересно сопоставить англ. *monkey* «обезьяна» и франц. арг. *tes* «человек»). Это значение, однако, могло дать значение «женщина»: ср. тох. А *wip* «être humide; mouiller», др.-инд. *ārah* «Wasser», др.-прусс. *ape* «Fluß», тох. В *āp* «Fluß», англ. диалектн. *war. warry* «home-made beer» (типологически ср. др.-англ. *fæmne* «женщина», соотносимое с авест. *paēman* «Milch, Saft», литов. *pienas* «Milch»). Англ. *to play* «играть» (ср. англ. диалектн. *play* «кипеть») соотносится с корнем, представленным тох. А *plāc* «parole, discours», *palom* «louange», др.-англ. *spell* «Predigt, Rede» (ср. нем. *Spiel* «игра», англ. сленг *ball* «удовольствие», русск. *баловать*), ср. также осет. *paelaexsan* «широкий», перс. *farax* «широкий» (букв. «scoriosis in speech»): речь идет о совершении ритуала, который, с одной стороны, связан с произнесением заклинаний, а с другой — с резкими телодвижениями (жрецы входили в экстаз, дергались, выкручивали руки и ноги). В связи с последним следует учесть русск. *плакать*, литов. *plākti* «колотить», *plōkis* «удар», лтш. *placināt* «наводить, точить, отбивать», лат. *plango* «бить себя в грудь, громко сетовать» (ср. нем. диал. *plochig* «скверный», англ. диал. *pluck* «горе, несчастье»: типологически ср. греч. *λοιδόρος* «abusive», но лат. *lūdere* «играть»). С другой стороны, ср. др.-инд. *praṅgas* «плетение», русск. *плести*, лат. *plectō*, др.-в.-нем. *flehtan*, а также др.-в.-нем. *fluohhōn* «проклинать», нем. *flicchen*, но *flehen* (типологически ср. русск. *плести* в значении «говорить вздор», а с другой стороны, амер.-англ. диал. *happu* «plaything» < *happen* < **keu-p* «biegen»). К тому же корню следует отнести: лат. *placare* «успокаивать», *placere* «понравиться», тох. АВ *plāk-* «être d'accord avec» (букв. «успокоить божество»), тох. В *pelke* «sentence, jugement solennel», англ. диал. *to pale* «звать» (типологически ср. др.-в.-нем. *jehan* «say, confess», умбрск. *iuka* «prayers», но франц. *jouer* «играть»). Наконец, следует учесть тох. А *pālk-* «luire, briller» (типологически ср. русск. *чудо*, др.-инд. *kaviṣ* «ясновидец, мудрец», греч. *κοῖω* «замечаю», др.-в.-нем. *scouwōn* «смотреть»). Ср. еще: англ. диалектн. *plack* «a situation; an allotment of work» (ср. индо-арийск. *pragira* «to fall», *prakara-* «a scattered heap», **prakr̥tta-* «to cut up», лат. *spelunca* «Höhle, Loch»). Отметим, что наряду с *play* в английском языке представлена форма с «передвинутым» начальным согласным — *to flay* «сдирать шкуру» (ср. литов. *plėsti* «рвать»). Подобным же образом англ. *toy* «игрушка» соотносится, с одной стороны, с корнем, представленным русск. *стук*, *ст чать*, а с другой стороны, осет. *turt, tuḡd* «свертывать; обматывать», *uz-dūxun* «скручивать», англ. диал. *toy* «странность» (ср. *he has a toy of scratching his head at dinner*), др.-инд. *tuḷ* «приходить в быстрое движение», а также русск. *тыкать, ткать* (ср. англ. диал. *toy* «платок»), франц. арг. *toc* «sans valeur réel», *toqué* «fou». Сюда же, видимо, относятся: тох. А *stauk* «se relâcher, se fatiguer», лтш. *tikt* «нравиться», англ. диал. *steg* «остановить».} русск. *тухнуть, тушить*, др.-инд. *tūṣyati* «он доволен», ср.-ирл. *tó* «тихий», но также: др.-англ. (нортумбр.) *tog* «strife», осет. *tox* «борьба». Вместе с тем важно иметь в виду осет. *tūg, tog* «кровь» (как атрибут жертвоприношения), осет. *tyz* «сила, мощь», др.-инд. *toka-*

«потомство, дети». Семантическое развёртывание корня **tu-*, **tēu-* «жизненная сила» > «семя» > «кровь» > «жир» (ср. др.-русск. *тукъ* «сало, жир»). Типологически ср. англ. *idle* «праздний», но нем. диал. *Idel* «Fett-decke». К тому же корню, что и англ. *toy*, относятся: нем. *Tuch* «платок», чешск. *točiti* «крутить, вить». Отметим, что англ. *play* соотносится еще с тох. *A prak-* «demande», лат. *precari* «prier», нем. *fragen*, а также тох. *A prakte* «punition» (ср. др.-в.-нем. *pflegan* «Schuld übernehmen»). В связи с этим можно полагать, что англ. *bad* «плохой» соотносится с др.-англ. *beodan* «просить» (ср. семасиологические параллели: англ. *nasty* «мерзкий», но ср.-н.-нем. *naschen* «betteln»; др.-англ. *spell* «Rede», но лтш. *peļt* «lästern», *peļ'as* «Tadel, Schmähung»). С англ. *toy* ср. еще русск. *мухуй*, литов. *dykas* «праздний». В связи с тем, что в средневековые жертвенного ягненка нередко бросали в кипящую воду (ср. швед. *sjuda*, нем. *sieden*, англ. *seethe* «кипеть», но др.-сев. *sauðr* «баран», гот. *sauþs* «жертва»), можно полагать, что англ. *lamb* «ягненок» соотносится с др.-прусск. *lopis* «flame», литов. *lõpė* «light», лтш. *lāpa* «torch», греч. *λάμπειν* «to shine, be bright».

Англ. *sick* «больной», возможно, является причастным образованием от *to sing* «петь» (типологически ср. швед. *gala* «singen, magisches Lied singen», но швед. *galen* «krank, verrückt»). Англ. *bigot* «ханжа, слепой приверженец» возникло в связи с контаминацией значений исп. *bigotes* «усы» и синонимичного франц. *barbe* «борода, растительность на лице», которое в арго означает «оьянение» (> «слепая приверженность»). С другой стороны, арготическое франц. *barbe* контаминировалось с *birbe* «негодяй, мерзавец». Кроме того, следует принять во внимание франц. арго *bigot* «козел; борода». В связи со значением ср. англ. сленг *to goat* «вступить в к.-л. организацию; выступать за к.-л. организацию или ее доктрину». Ср. глоссу из [16, с. 98]: *capere. captio. begriffunge. gefengniß. betrug. argelist*; ср. еще англ. сленг *to play the goat* «play the fool»; «lead a dissipated life». Англ. *oath*, возможно, соотносится с др.-англ. *ētan* «поедать» (ср. древний обычай съедать то, чем клянутся, например, землю). Англ. *bride* «невеста» соотносится с др.-англ. *brod* «Schößling», русск. *прут* (ср. обычай преломлять прут при совершении брачной сделки; типологически ср. лат. *stipula* «ветка», но *stipulor* «совершать сделку»).

Можно выделить следующие непосредственно соотносимые друг с другом основные виды комбинаторных процессов: замещения, взаимодействия (реакции), перестановки, изменения по рядам (последовательностям) в синхронии и диахронии.

1. **З а м е щ е н и я.** Здесь прежде всего следует указать, что так называемые «звукные переходы» (или их отсутствие) обязаны своим происхождением главным образом комбинаторным процессам, а не эволюции (в близкородственных языках одни и те же фонетические и лексико-семантические единицы претерпевают неодинаковые преобразования, а в некоторых случаях изменению в одном языке соответствует отсутствие изменения в другом). Комбинаторными в большинстве случаев являются и лексико-семантические изменения, происходящие, как правило, по принципу цепной реакции: значения, получаемые в процессе замещения тех или иных значений, в дальнейшем могут явиться исходными для значений, не соотносимых с первоначальными, причем каждый последующий семантический «шаг» как бы наслаивается на предыдущий.

2. **В з а и м о д е й с т в и я** (resp. **р е а к ц и и**) нескольких материальных и смысловых элементов как один из видов их комбинаторики (в том числе и в пределах одного слова, где, как справедливо отмечает В. М. Солнцев, «несубстанциональная природа значений создает своего рода парадокс нелинейного взаимодействия значений линейно расположенных единиц» [5, с. 283]) являются важнейшим способом восстановления нарушенного равновесия системы. Возможны следующие результаты комбинаторного взаимодействия слов и значений: а) на месте двух пересекающихся слов и/или значений возникает новое, третье; б) из двух взаимодействующих слов и/или значений одно нейтрализуется (resp. утрачивается, выходит из языка); в) происходит «перераспределение» значений слов и/или переинтеграция в пределах различных лексем; возникает не-

сколько семантических «траекторий» (комбинаторик) одного и того же значения или одна и та же «траектория» различных значений, представленных в пределах одного и того же или различных слов, что нередко значительно нарушает «преемственность» значений; d) происходит переинтеграция порядка значений, образующих семантический цикл. При этом исключительную важность приобретает принцип неаддитивности, согласно которому значение того или иного слова не складывается из определенных семантических элементов и не может быть разложено на эти элементы. Подобно этому молекула, хотя она и состоит из атомов, не является их суммой и не обладает свойствами каждого из них.

Следует отметить, что так называемые «закономерные» реакции в языке в силу разного рода запретов и случайных языковых ситуаций не всегда возможны. В связи с этим те или иные языковые реалии нередко приобретают не свойственные им изначально качественные характеристики или формы. В качестве примеров на уровне семантики можно привести следующие. Англ. *dog* «собака» соотносится с и.-е. **dhog^{uh}* «светить, гореть» (первоначально «животное, опекающее, стерегущее стадо» или «животное, идущее по следу»: значение «светить» могло давать значение «смотреть, следовать»). Ср. в связи с этим амер. *dog, hot-dog* «сосиска». Англ. *to cast* «бросать» соотносится с осет. *caest* «глаз», др.-инд. *kāś-* «сиять; смотреть» (типологически ср. англ. *to look* «смотреть», русск. *луч, излучать*, но русск. диалектн. *лукать* «бросать»). Англ. *odd* «странный, нечетный (о числе)» соотносится со словами с общим значением «дуть, раздувать» (семантическое развертывание: «увеличиваться» > «выходить за пределы ч.-л.» > «торчать, выпирать» > «выходить за пределы нормального поведения» > «отличаться от четного числа»; типологически ср. англ. *room* «пространство», но *rum* «странный»): ср. др.-англ. *oðian* «дышать», русск. диалектн. *удить* «набухать», чеш. *ud* «membrum virile», осет. *udd* «душа». Примером взаимодействия на уровне грамматики может служить слияние предлогов с определенным артиклем в немецком и французском языках: ср. нем. *an + dem* > *am*; *zu + dem* > *zum*; *in + dem* > *im*; франц. *à + le* > *au*; *de + le* > *du*; *à + les* > *aux*. Интересны случаи слияния артикля с корнем слова: ср. в кельт. *nastee* «a gift» < *yn astee*; *noash* < *yn oash* «a custom»; *nest* «the moon» < *yn eayst*; франц. *levier* «a sink» < *l'évier* (ср. др.-франц. *eve* «water»); *lierre* < *l'hierre* (лат. *hedera*); *loriot* «ячмень на глазу» < *l'oriau* (ср. исп. *orzuelo*, лат. *hordeolus*); англ. *lurch* в выражении *leave one in the lurch* «оставить в беде» < франц. *l'ourche* «a card game» < лат. *orca* «a dice-box»; ср. бавар.-нем. *Lurz* «проигрыш в карточной игре» [типологически ср. итал. *lasciare uno in asso* «оставить в беде», нем. *einen im Stiche* («туз в картах») *lassen*], а также плеонастические явления в синтаксисе типа нем. диалектн. *Er kam gegangen*, англ. диалектн. *he went to go*. Важно учитывать и образование акронимических и акросиллабических слов. Ср. «Buchstabenwörter» во французском апро: *bé* (< *béard*) «tranquille», ср. *laisse ça bé!* «n'y touche pas»; *renvoyé bé* «acquitté en justice»; *bé* «корзина» (< *berri*); *gé* «золото» (< *jeu* «золото», ср. синонимы: *verge, osier*); *cé* «серебро» (металл), ср. *tout de cé* «très bien», *marque de cé* «épouse légale» (< *cercle* «monnaie», ср. *C* как символ серебра в алхимии); *cé* «плохой ученик» (< *culot*); *ré* «обилие, большое количество» (< *rebiffe*); *pé* «mécontentement; danger, alerte au danger» < *pétard* (*faire de pé*, ср. *furer du pé* «chercher chicanes»); *em's* (< *musique*); *em's* (< *malle*, ср. *caisse-em's*); *bai* (*bé*) «вино» (< *bourgognien*); *ef* «видимость, обман» (< *frime*); *aff, eff, off* «vie, souffle» (табуистическое сокращение раннего германского заимствования: ср. др.-англ. *feorh*, др.-в.-нем. *ferah* «душа»); ср. также: англ. диалект. *aitch* «камин» (по первой букве *hearth*); *to gee* «быть подходящим друг для друга» (< *gibe* «то же»); *oe* «внук» (по первой букве гаэльск. *ogha* «внук»); *esse* «червяк» (< *serpent*); *to see* «схватить» (по первой букве *to catch*); *yam* «картофель» (по первой букве в слове *murphy*, причем гласный в алфавитном названии *m* произносится как восходящий дифтонг); англ. *ache* (по первой букве в др.-англ. *hēarm* «боль»). Примеры акронимических слов: англ. сленг *bat* «spree» < *bend* (*booze, bout, bum, bust*) + *tank up* (*tear, toot*); *curb* < *conk* + *break off*; *beef* «доносить на к.-л.» < *bam* +

+ *file*; *sham* < *shoddy* + *muggled*; *mace* < *mitch* + *swindle*; *pad* < *pillow* + *cod*; франц. *apro efcer* (< F. C. = *faire circuler*) «*passer, donner: efcé ton couteau!*»; «*expulser: efcé le brute!*»; англ. сленг *hump* «плохое настроение» < лат. *humor peior*; русск. *умог* < *умого*.

Взаимодействие значений проявляется также в явлении эллипсиса: то или иное слово в пределах словосочетания принимает несвойственные ему значения соседних слов. Ср. англ. *hag* «ведьма» из др.-англ. сочетания *haegtesse* «*witch*» < др.-англ. *haga, hæg* «*hedge*» + *tesse* (ср. норв. *tysja* «*fairy; crippled woman*», гаэльск. *dusius* «*demon*», литов. *dvasia* «*spirit*»), букв. «*woman of the hedge*» (первый элемент этого слова принял значение второго); франц. арг. *pour* (букв. «для») «ложь»: *c'est pas du pour*; *pour* также выражает недоверие и удивление: «Брось! Не может быть!» (*ah! pour! y a pas plus menteuse*) — сокращение от *c'est pour rire!* Рум. *tare* означает «сильный» (< лат. *tālis* «такой» в *tālis vir*); ср. также серб.-хорв. *jak* «сильный» (< *jak* «такой»); лат. *sermo* (*religiosus*); *dolus* (*malus*); *venenum* (*malum*); *successus* (*bonum*); др. англ. (*flesc*)-*mete* и др. Интересный пример взаимодействия значений нескольких слов путем нейтрализации значений соседних слов находим в китайском: кит. *шэньцзянь* («глубокий» + «мелкий») «глубина»; *чань-дуань* («длинный» + «короткий») «длина»; *кюань-чжуй* («широкий» + «узкий») «ширина»; *цу-си* («толстый» + «тонкий») «толщина»; *шу-ми* («редкий» + «плотный») «плотность»; *ван-цзы* («забывать» + «помнить») «забывать»; *хуань-цзы* («несрочный» + «срочный») «срочность, настоятельность»; *сун-цзинь* («ослабленный» + «напряженный») «напряженность»; *жюань-ин* («мягкий» + «твердый») «твердость»; *ай-цзэн* («любовь» + «ненависть») «ненависть»; *хоу-бо* («толстый» + «тонкий») «толщина»; *чао-ай* («высокий» + «низкий») «высота»; *чюан-ху* («окно» + «дверь») «окно»; *чань-цзин* («сухой» + «чистый») «чистый»; *чан-те* («сталь» + «железо») «сталь» [18]. Весьма наглядно реакция смыслов происходит в пределах словосочетания и независимо от эллипсиса: ср. амер. диалектн. *any more* «сейчас, в данный момент» (*anymore I never see him; it's quite warm anymore; it rains here all the time anymore*); русск. *только что* «сейчас»; англ. диалектн. *to think much* «не любить к.-л.», *to think long*; «скучать; страстно хотеть», *meet up with* «одергивать к.-л.», *make up with* «быть довольным ч.-л.», *to do be* «иметь обыкновение»; франц. арг. *sur seize!* «Полундра!»; кит. *дун си* «вещь (букв. «восток» + «запад»). Своеобразными реакциями языковых элементов являются процессы опрощения (дэтимологизации) и переразложения. Очень показательны, что целый ряд слов, вышедших из языка в силу тех или иных комбинаторных причин, при создании соответствующих условий может снова войти в язык. Взаимодействие нескольких материальных элементов языка и/или значений может приводить к уменьшению или увеличению их количества с одновременным изменением (уменьшением или увеличением) качества, в частности, к изменению протяженности слова или континуума, в которой оно входит. Ср., с одной стороны, удвоение как словообразовательный принцип, а с другой — как способ изменения грамматического значения (например, удвоение в табасаранском языке и кубачинском диалекте даргинского языка служит способом грамматического отрицания [19], а в готском языке — способом образования прошедшего времени). Интересны также парные слова [иногда компоненты парных слов настолько «сливаются», что их трудно отделить друг от друга: ср. англ. *empty* «пустой» (др.-англ. *ǣmetta* «*Ruhe, Muße*»; *ǣmettig* «*leer*») соотносится с корнем, представленным др.-инд. *ama*-«*Andrang*», др.-исл. *ama* «*plagen*», нем. *emsig* + корень, представленный др.-англ. *ēhtan* «*to chase, to pursue*» со стяженным *-h-*; типологически ср. осет. *tomar* «устремляться», но др.-англ. *tom* «пустой»], а также явление потенцирования (например, в немецких диалектах), укорочения слов. В ряде случаев происходит полное «расщепление» формы и значения слова (ср. так называемые этимологические дублиеты). С другой стороны, удлинение состава слова нередко является необходимым условием его существования: ср. франц. *père* «отец», но *pèrère* «хороший, крепкий», лат. *papilio*; др.-в.-нем. *fi-falter*; лат. *querquera* «агуе»; лат. *sisara* «a kind of sheep».

3. Перестановки (перемещения) элементов слов (ср. явления метатезы в фонетике) и отдельных слов и значений в пределах языкового континуума или нескольких континуумов. Перестановки являются частным случаем сочетаний и размещений, т. е. соединений элементов, отличающихся друг от друга составом входящих элементов и порядком их расположения. Функциональная значимость перестановок различна: если в некоторых случаях перестановка фонетических элементов слова не приводит к смещению смысла, то в других случаях возможен только определенный порядок следования компонентов слова [ср. русск. *работа*, но нем. *arbeiten*; русск. *хлеботор*, где вторая часть слова должна была бы иметь вид **бор* (ср. *брать*); русск. *ладонь* < *долонь*; русск. *печень*, но литов. *kerpenys* и др.].

4. Последовательности слов и значений, в которых одновременно или последовательно могут наблюдаться соотнесенные (упорядоченные) тем или иным образом преобразования (перестановки или замещения), обусловленные определенным способом (основанием, комбинаторным коэффициентом) их группировки (например, группировка любого количества при ограниченном качестве или любого качества при ограниченном количестве, свертывание, развертывание).

Все сказанное не оставляет сомнения в том, что анализ комбинаторики требует исследования сложного комплекса явлений, определяющих суть самого языка: структуры, системы, отношений, причинно-следственных связей, вариативности, лингвистического времени, категорий диалектики языка и их взаимодействия. Разумеется, все эти явления можно адекватно рассмотреть только на основе анализа большого фактического материала, который неизменно должен лежать в основе любых общетеоретических выводов [20]. К сожалению, многие ученые вместо такого исследования, выражаясь словами Монтеня, «passent par dessus les effects (= faits.— М. М.), mais... en examinent curieusement les consequences» [21]. Как справедливо отмечает Б. А. Серебрянников, «...проблема взаимной мотивации элементов языка является одной из интересных и перспективных областей языкознания. Решить эту проблему можно только при условии изучения причинно-следственных связей в широком плане и независимо от канонических структуралистских определений системы» [22, ср. 23].

ЛИТЕРАТУРА

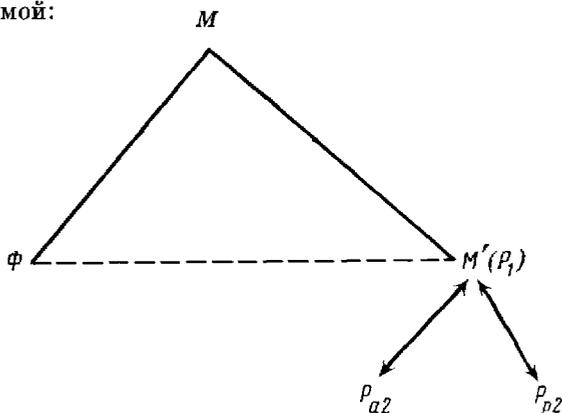
1. *Cossour Ph. de*. Курс общей лингвистики. М., 1933.
2. *Mandelbaum M.* Language and chess.— In: *Logic, methodology and philosophy of science*, 1968, v. 77, N 3.
3. *Moulton J., Robinson G. M.* The organisation of language. Cambridge, 1981.
4. *Aebischer P.* Etudes de stratigraphie linguistique. Bern, 1978.
5. *Солнцев В. М.* Некоторые вопросы комбинаторики единиц языка.— В кн.: *Солнцев В. М.* Язык как системно-структурное образование. 2-е изд. М., 1977, с. 268.
6. *Солнцев В. М.* О понятии уровня языковой системы.— ВЯ, 1972, № 3, с. 9.
7. *Wildgen W.* Catastrofe theoretic semantics. Amsterdam, 1982.
8. *Persson P.* Beiträge zur indogermanische Wortforschung. I—II. Leipzig, 1936.
9. *Маковский М. М.* Теория лексической аттракции. М., 1971.
10. *Engler R. F.* Lexique de la terminologie saussurienne. Anvers, 1968, p. 25.
11. *Макаев Э. А.* Структура слова в индоевропейских и германских языках. М., 1970.
12. *Morrissey M. D.* Genetic semantics.— *Acta linguistica Hafniensia*, 1983, v. 18, N 1.
13. *Starck T., Wells J. C.* Althochdeutsches glossenwörterbuch. Lf. 1. Heidelberg, 1972.
14. *Scur G. S.* On the relation among some categories of linguistics.— *General systems*, 1966, v. XI.
15. *Scur G. S.* On the principle of interaction of structure and system in a language.— *Annali de Istituto orientale de Napoli*, 1967, v. 8.
16. *Dieffenbach L.* Glossarium latino-germanicum. Frankfurt-am-Main, 1857.
17. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959, S. 698.
18. *Семенов А. Л.* Коуплятивный вид связи в лексике современного китайского языка: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1973.
19. *Магомедов А. А.* Отрицание в кубачинском диалекте даргинского языка.— В кн.: *Языки Дагестана*. Вып. 2. Махачкала, 1954, с. 169.
20. *Robins R. H.* Theory-orientation versus data-orientation. A recurrent theme in linguistics.— *Historiographia linguistica*, 1974, v. 1.
21. *Montaigne M.* Essais. II. Ed. de Rat M. Paris, 1962, p. 473—474.
22. *Серебрянников Б. А.* О взаимосвязи языковых явлений и их исторических изменениях.— ВЯ, 1964, № 3, с. 31.
23. *Clairis Ch.* Classes, groupes, ensembles.— *La linguistique*, 1984, v. 20, fasc. 1.

ЛУКИН В. А.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПОНЕНТНОГО АНАЛИЗА

В настоящее время неудовлетворительность результатов компонентного анализа (КА) в применении к словам «открытых систем» [1, с 109] является общепризнанной. Поэтому исследователи предпочитают пользоваться содержательными методами, которые не столь строги, зато более гибки, нежели КА, а это позволяет получать хотя и неоднозначные, но интуитивно достоверные результаты [2]. Однако стремление к точности и объективности заставляет искать альтернативы как КА в его современном состоянии, так и интуиции, путь даже профессиональной, но непроверяемой.

Для того, чтобы рассмотреть данную проблему, обратимся к произвольной группе слов с той или иной семантикой. Пусть такой группой будут глаголы русского языка, обозначающие мыслительные процессы и состояния (ГМ). Их семантическая структура может быть представлена следующей схемой:



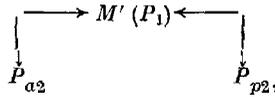
Здесь Φ — звуковая форма; M — значение слова, представляющее собой мыслительное образование; $M'(P_1)$ — референт, который, как и значение, является у ГМ мыслительным образованием.

Очевидно, что M отражает существенные свойства $M'(P_1)$, которые формируются в процессе «работы» мышления с объектами реального мира — метареферентами P_{p2} (материальный объект) и P_{a2} (любой абстрактный объект). При этом референтом или метареферентом языкового знака может быть все, кроме самих языковых знаков, поскольку «всякая знаковая система служит для обозначения как раз того, что находится за пределами самой данной системы» [3, с. 18]. Но ГМ имеют своим референтом мыслительный процесс; при этом неизвестно, является ли данный процесс знакообразовательным или нет.

Ситуация несколько проясняется по отношению к P_{a2} . Однако и здесь неясно, какой именно из абстрактных объектов — языковой природы или неязыковой, — соответствует метареференту. Что же касается P_{p2} , то его принципиально иной, материальный, характер исключает всякую неоднозначность, присущую $M'(P_1)$ и P_{a2} .

Если стоять на позициях КА, то компоненты значения выделяются в нашем случае не по отношению к референту $M'(P_1)$, а в результате

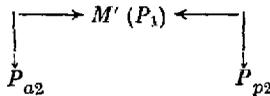
рассмотрения процесса



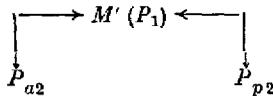
где выбор P_{a2} или P_{p2} в общем случае неясен. Например, глагол *переосмыслить* имеет своим референтом интеллектуальный процесс, истолкованный в словаре как «осмыслить заново, иначе» [4, т. III, с. 113]. Из словарной статьи неясно, что именно следует осмыслить заново, т. е. метареферент не определен. Поэтому из множества контекстов можно предположить по крайней мере два: (1) «переосмыслить результаты анализа питьевой воды»; (2) «переосмыслить понятие аксиоматизации в математике».

В (1) контекст определяет метареферент типа P_{p2} , в (2) — P_{a2} . Таким образом, возможность включения в референтное множество $\{M'(P_1), P_{a2}, \dots, P_{an}\}$ объектов языковой природы обуславливает размытость границ данного множества и, следовательно, неопределенность в соотношении данной Φ с референтами или метареферентами типа P_a . Иначе говоря, семантическая неопределенность возникает тогда, когда «некоторый элемент значения не может быть приписан слову безусловно» [3, с. 21], что «скрывает в себе модальность неуверенного предположения» [5, с. 55].

Не вникая в достоинства и недостатки многочисленных теорий значения, примем широко распространенную точку зрения о принадлежности значения языковому уровню, а смысла — речевому. Теперь вернемся к нашей схеме, где значение M несет на себе отражение процесса

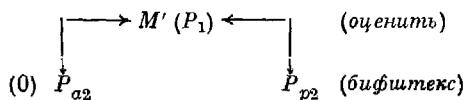


безотносительно к конкретному наполнению P_{a2} или P_{p2} . Смысл же есть сам процесс с конкретным содержанием P_{a2} или P_{p2} .

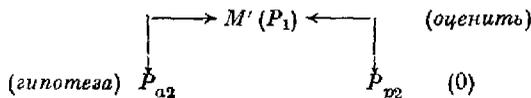


Например, *оценить* — «Составить представление, суждение о ком-, чем-л., определить значение, характер, роль и т. п. кого-, чего-л.» [4, II, с. 1104]:

а) «Оценить вкусовые достоинства бифштекса»



б) «Оценить доказательность лингвистической гипотезы»



Смысловая связь $M'(P_1) \rightleftharpoons P_{p2}$ определяет в рамках значения слова *оценить* такие, например, признаки: а) интеллектуальное действие, а₁), характеризующееся созданием оценочного концепта, а₂), происходящее в соотношении с материальным объектом

Само значение, являясь абстракцией от конкретных смыслов, вбирает в себя их общее содержание. В нашем примере это сказывается в том, что подпункт a_2 при учете $M'(P_1) \rightleftharpoons P_{a2}$ (*гипотеза*) приобретает вид: «происходящее в соотношении, возможно, с материальным, возможно, с абстрактным объектом»¹.

Большая часть исследователей, занимающихся КА, исходит из предположения о равноценности семантических компонентов (сем), представ-

¹ Далее будут анализироваться именно значения, а не смыслы слов.

ляя значение в виде неупорядоченного набора сем (см., например, [6, 7 и др.]).

Другие, разграничивая группы компонентов и говоря о необходимости «синтаксиса семантического представления» [8], не дают обоснования для подобного разграничения. В этом случае порядок расположения сем не носит детерминированного характера, т. е. не предлагается никаких формальных процедур, ведущих к обнаружению внутреннего строения значения.

С другой стороны, общепризнано положение об иерархичности структуры значения слова, что, несомненно, подразумевает системно обусловленную упорядоченность компонентов значения. Однако ни приверженцы равноценности сем, ни сторонники упорядоченного представления компонентов значения не учитывают необходимости отражения в КА не только произвольного порядка сем, но и порядка, обусловленного семантическими закономерностями самой системы значений слов в языке.

Отсюда понятно, почему применение КА удачно, когда объектом являются слова «четких закрытых систем: термины родства, наименования воинских званий» [1, с. 109]. Эти слова просты по структуре значения, которая допускает линейную, не всегда упорядоченную запись в мета-языке. Одновременно «попытки применения компонентного анализа к словам других, более открытых систем вызвали существенные затруднения» [1, с. 109].

Успешное функционирование КА как метаязыка — семиотической системы более высокого порядка, нежели естественный язык, — зависит, помимо прочих факторов, от способности знаков данной системы моделировать свойства своего объекта: «...при движении „вверх — вниз“ по ярусам семиотических систем отношения эквивалентности носят модельный характер: знак одного яруса является моделью знаков другого яруса. . .» [9, с. 103].

Из сказанного следует, что КА лишь тогда может быть адекватным средством описания лексической семантики, когда его структура будет моделировать иерархическую упорядоченность структуры значения слова, и, что наиболее существенно, моделировать, исходя из принципа нелинейности, заложенного в семантике естественного языка.

Выяснив теоретические положения, которые необходимо учитывать при создании метаязыка в рамках КА, попытаемся очертить его общие контуры на примере анализа семантического поля ГМ (СПМ)².

Список символов, необходимых для описания СПМ, разбивается на три группы. В первую группу входят элементарные семы — метаязыковые единицы, отражающие самостоятельные признаки значений. Они репрезентируют СПМ, объем которого задают две семы аксиоматического характера: 1) ИД — интеллектуальное действие; 2) ИС — интеллектуальное состояние (всего элементарных сем — 23); 3) БЕЗ — ИД, имеющее целью получение определенного результата, но не достигшее его: *раздумывать* — БЕЗ — «думать, колеблясь, долго не приходя к решению» [4, т. III, с. 812]; 4) БЕС — ИД, не имеющее разумных обоснований: *обесмыслить* — БЕС — «сделать бессмысленным, ничего не выражающим» [4, т. II, с. 725]; 5) ВОЗ — воздействие интеллектуального характера, преследующее цель навязать, заставить сделать кого-л. что-л.: *убедить* — ВОЗ — «заставить поверить чему-л., уверить в чем-л.» [4, т. IV, с. 607]; 6) ВЛ — ИД, имеющее целью получение вывода, решения какого-л. вопроса, проблемы: *решить* — ВЛ — «после размышления, обдумывания прийти к какому-л. выводу, заключению» [4, т. III, с. 947]; 7) ДИС — ИД, прерывное, дискретное: *подумать* — ДИС — «иногда, по временам думать, раздумывать о чем-л.» [4, т. III, с. 311]; 8) ИЗМ — ИД, характеризующееся изменением или заменой своего объекта: *разубедить* — ИЗМ — «...заставить кого-л. изменить свою убежденность в чем-л. или отказаться от своих намерений» [4, т. III, с. 844]; 9) ИМП — ИД, харак-

² Анализ СПМ не является самостоятельной целью данной статьи, он служит лишь примером, на котором в общих чертах демонстрируется нелинейный КА.

теризующееся резким, импульсивным началом: *вздумать* — ИМП — «неожиданно задумать, пожелать что-л. сделать» [4, т. I, с. 210]; 10) ИНФ — ИД или ИС, характеризующееся освоением информации: *познать* — ИНФ — «приобрести знание, получить истинное представление о ком-, чем-л.» [4, т. III, с. 329]; 11) ИСТ — ИД, имеющее целью выявление соответствия абстрактного объекта и его реального аналога: *доказать* — ИСТ — «подтвердить истинность, правильность чего-л. фактами...» [4, т. I, с. 567]; 12) ЛО — ИД, противоположное ИСТ: *лагать* — ЛО; 13) ЛОГ — ИД, протекающее в логических формах: *вывести* — ЛОГ — «прийти к какому-л. заключению, ... сделать вывод» [4, т. I, с. 322]; 14) МО — создание интеллектуальной модели того, что было или может быть: *предположить* — МО — «сделать предположение...» [4, т. III, с. 505]; 15) НОВ — ИД, характеризующееся созданием чего-л. нового, ранее неизвестного: *изобрести* — НОВ — «творчески работая, создать что-л. новое, прежде неизвестное» [4, т. I, с. 899]; 16) ОБЪ — ИД, соединяющее составные части в целое: *синтезировать* — ОБЪ — «произвести (производить) синтез... обобщить» [4, т. IV, с. 136]; 17) ОТВ — отвлечение от несущественных черт и признаков и выделение главного, существенного: *абстрагировать* — ОТВ — «мыслить что-л. в отвлечении от несущественных признаков...» [4, т. I, с. 5]; 18) ПО — ИД, протекающее вне волевого контроля субъекта, подсознательно: *подуматься* — ПО — «прийти на ум, мелькнуть в мыслях» [4, т. III, с. 311]; 19) ПОЗН — объект, интеллектуально освоенный, познанный: *усвоить* — ПОЗН — «поняв как следует, разобравшись в чем-л., запомнить что-л., воспринять, освоить» [4, т. IV, с. 703]; 20) РАС — расчленение целого на составные части; *разобраться* — РАС — «вникнув в подробности, понять что-л., проанализировать» [4, т. III, с. 833]; 21) РЕ — ИД, происходящее в соотношении с реальностью; *мыслить* — РЕ — «рассуждать, сопоставляя явления объективной действительности и делая выводы» [4, т. II, с. 435]; 22) РЕФ — ИД, объектом которого является не что-л. реальное, а некоторое другое ИД или ИС: *переосмыслить* — РЕФ — «осмыслить заново, иначе» [4, т. III, с. 113]; 23) ЦЕН — сравнение двух или более объектов с целью определения значимости, ценности одного или нескольких из них: *оценить* — ЦЕН — «составить представление, суждение о ком-, чем-л.; определить значение, характер, роль и т. п. кого-, чего-л.»: «понять, признать достоинства, положительные качества, ценность и т. п. кого-, чего-л.» [4, т. II, с. 1004].

Вторую группу образуют семные компоненты, которые отражают не самостоятельные признаки значений, а их отдельные черты. Им не присуще значение, задаваемое ИД и ИС; они более абстрактны, чем семы, и носят межполевой характер, т. е. могут использоваться при описании других семантических полей. Их основное назначение состоит в том, что они являются составными элементами для сложных сем.

В некоторых случаях семный компонент может стать семой в структуре какого-либо значения, а именно тогда, когда он отражает существенный признак значения, не характерный для СПМ, но существенный для этого значения. Данная роль нетипична для семного компонента и типична для семы: 1) Де — действие (любое); 2) Об — Де, направленное на объект; 3) Суб — Де, направленное на субъект; 4) Обк — объект концептуальной природы (теория, гипотеза, мировоззрение, взгляд, мнение...); 5) Обкн — Обк неустойчивый, изменчивый; 6) Реч — реализация Ид в речи.

В состав третьей группы входят синтаксические переменные. Они необходимы для конструирования сложных сем, т. е. сем, состоящих из различных комбинаций элементарных сем и/или семных компонентов: 1) \wedge — «и»; 2) \vee — «или»; 3) n — средний «объем» ИД, норма³. Например, *подумывать* — ИД $< n$, а *думать* — ИД $= n$; 4) t — локализация во времени: 4а) $t_{пр}$ — ИД или СО, или МО...⁴, предшествующее некото-

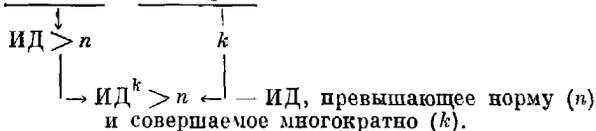
³ Ю. Д. Апресян отмечает, что норма «...обозначает такое положение вещей, которое должно представляться или представляется большинству говорящих как наиболее вероятное в данной конкретной ситуации» [10, с. 74].

рому событию; 4б) t_{no} — ИД последующее; 5) \rightarrow — «если..., то». Например: $A \rightarrow B$ — если А, то В; 6) $=$ — тождество; 7) p — возможность.

Например: p ЛОГ — возможно, что ИД носит логический характер; 8) k — многократность совершения действия⁴. К

Таким образом, для записи значений СПМ, включающего 129 слов, в рамках нелинейного КА необходимо 37 символов. При этом набор символов позволяет конструировать новые сложные семы из уже имеющихся. Что же касается значений сложных сем, то они выводятся из значений составляющих их символов, толкование которых было дано. Например:

«передумать» — «подумать о многом и много раз»

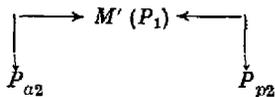


Имея возможность получить семы, необходимые для записи всех значений СПМ, мы можем представить любое из них в виде множества компонентов, пока еще неупорядоченного: «абстрагировать» — ЛОГ, ОТВ, РЕ, p РЕФ; МО, Об.

Очевидно, что для каждого значения существует более весомый признак, нежели остальные. Соответствующая этому признаку сема определяется по «принципу Приоритета» [12], который предполагает усилие «коммуникативно наиболее значимых компонентов смысла» [12, с. 343] и ослабление менее значимых. Практическим руководством, как и в приписывании остальных сем, здесь является словарное толкование: *абстрагировать* — «...мысленно выделить (выделять) отдельные стороны или отношения явлений; мыслить что-л. в отвлечении от несущественных признаков» (разрядка наша. — Л. В.) [4, т. I. с. 5].

Поскольку подчеркнутая фраза является ключевой в словарной статье, обозначающая ее содержание сема ОТВ (приоритетная сема) наиболее значима для данного слова.

Приоритетная сема наиболее существенна в структуре значения, где она конкретизируется менее существенными, но необходимыми семами (в данном случае — ЛОГ, РЕ, МО, p РЕФ, Об), отражающими процесс



Приоритетная сема — сущность, сформированная в результате процесса, а остальные семы — средство формирования данной сущности, они отражают сам процесс и неравноценны в этой своей функции. Поэтому если представлять значение как иерархию, то, несомненно, семы, выделенные по принципу Приоритета, займут в ней верхние уровни.

Теперь необходимо распределить по уровням остальные семы. Некоторые из 81 семы (именно столько сем потребовалось для анализа СПМ)⁵ можно описать до рассмотрения конкретного материала. Эти семы сущности почти всем (ИД) или многим значениям (p ЛОГ — 133, ЛОГ — 44...). Они носят интегральный характер. В отличие от них, семы, определен-

⁴ Подобное разграничение групп компонентов, имеющее в своем основании критерий содержательного объема значения компонента, было сделано исходя из известных представлений о единицах, используемых в практике КА [см., например: 2, с. 23—45; 11, с. 370—371; 3, с. 107, 148—155 и др.].

⁵ Пока, к сожалению, не представляется возможным создание теоретически обоснованного критерия для определения необходимого и достаточного числа сем. Поэтому в данном случае цифра 81 (81 сема) получена эмпирически. Это означает, что меньшее количество сем не позволяло с необходимой степенью точности описывать материал, а большее излишне отягощало процедуру описания.

ные в ходе анализа конкретных значений, дифференциальны. Если частота первых достаточно велика, то вторые, как правило, встречаются лишь в единичных случаях. Так, семы $MO > n$ (*навыдумать*) или $ID^k > n$ (*передумать*) встречаются по одному разу⁶.

Наличие в значении слова дифференциальной семы с низкой частотой является, что очевидно, отличительным признаком большей силы, нежели наличие интегральной семы с высокой частотой. Первая различает значения, вторая объединяет их в группу, а при максимальной частоте — в поле.

Итак, чем ниже частота семы относительно других сем в поле, тем больше ее значимость. При этом значимость понимается как чисто дифференциальная сущность. Ее характеристика определяется «не положительно-своим содержанием», а «сводится к следующему: быть тем, чем не являются другие» [13, с. 149].

Значимость задается, как было показано, соотношением дифференциальных и интегральных сем в структуре значения. Вместе с тем значимость определяет место отдельного значения в системе значений семантического поля, т. е. «значение является одним из факторов, формирующих значимость..., а значимость трансформирует значение. Так что ничто не является „главным“ и все одинаково необходимо. Важно учитывать и значение, и значимость, причем в их постоянном взаимодействии» [14, с. 261].

Взаимосвязь характеристик частоты и значимости, значимости и значения позволяет утверждать, что частота сем в масштабе семантического поля влияет на значимость и значение любого слова поля. Это влияние обуславливает иерархию структуры значения, предопределяя в ней место каждой семы (исключения составляют приоритетные семы).

Выяснив принцип, лежащий в основе иерархизации структуры значения, мы имеем возможность составить список сем всего поля по возрастающей частоте и, следовательно, по значимости, убывающей от первого уровня до последнего:

№ уровня	сема	частота	значимость
I	$ЛОГ \vee \overline{p} \overline{ПО}, \overline{ВОЗ} \rightarrow Де, \overline{p} \overline{ВОЗ},$ $ИС \rightarrow \overline{p} \overline{ИД}, \overline{p} (ИД \rightarrow \overline{p} \overline{ВЫ}), \overline{p} \overline{ИЗМ},$ $БЕС, ДИС, ИСТ < n, БЕЗ, ОБЪ,$ $ЛО > n, ИД^k > n, РАС^{t_{по}}, РАС < n,$ $ОТВ > n, \overline{p} \overline{НОВ}, \overline{p} \overline{ПО} < n,$ $МО > n, ИД < n, \overline{p} \overline{ИД} \rightarrow Суб,$ $\overline{p} \overline{ПОЗН} > n, Обк (ЛО), Обк^{t_{np}},$ $\overline{p} \overline{РЕ}, Об \vee (Суб \rightarrow РЕФ), ПОЗН < n,$ $Обк = Обк (ЛО), ((Обк \vee Де) (ИЗМ)),$ $((Обк \rightarrow РЕ)^{t_{np}} \rightarrow ИД (МО)) \rightarrow (Обк \rightarrow РЕ)^{t_{по}},$ $((Обк)^{t_{np}} \rightarrow ИД(МО)) \wedge ИД (МО) \rightarrow (Обк)^{t_{по}}$ $= (Обк)^{t_{np}} \wedge (Обк)^{t_{по}}.$	1	25
II	$\overline{ЛОГ}, ЛО, ИНФ < n, Обк^{t_{np}} \rightarrow Де^{t_{по}},$ $((Обк = Обк (ЛО)) \rightarrow \overline{Обк} = Обк (ИСТ)).$	2	24
III	$(ИС \rightarrow ИД)^t, ИМП, ПО.$	3	23
IV	$\overline{p} \overline{РАС} \wedge \overline{p} \overline{ОБЪ}, \overline{p} \overline{РАС}, \overline{p} \overline{ПОЗН},$ $ИД (МО) \rightarrow Реч.$	4	22
V	$ИД \vee ИС, \overline{p} \overline{МО}.$	5	21

⁶ Частота сем определялась так же, как определяется частота слов в тексте, т. е. из всего набора сем («текст») выбирались тождественные семы («слова») и подсчитывалось число встречаемости каждой семы. В общем случае частота семы равна числу ее употреблений в значениях слов СПМ.

VI	\overline{p} ОТВ, ИД \rightarrow \overline{p} ВЫ, МО ^{пр} , НОВ, \overline{p} ИСТ, ВЫ ^{но} , Обк (ИЗМ).	6	20
VII	ИС \rightarrow ИД, ИНФ, \overline{p} ИСТ \vee \overline{p} ЛО.	8	19
VIII	РЕ, ИС.	9	18
IX	ВЫ.	10	17
X	\overline{p} (\overline{p} ЛОГ \vee \overline{p} ПО), Суб.	12	16
XI	\overline{p} Об, \overline{p} Суб.	13	15
XII	ВОЗ, \overline{p} Об \wedge \overline{p} Суб.	14	14
XIII	\overline{p} ЛОГ \vee \overline{p} ПО, ИЗМ.	15	13
XIV	ЦЕН, РЕФ.	20	12
XV	\overline{p} ПО,	22	11
XVI	ОТВ.	26	10
XVII	\overline{p} ИС, РАС.	27	9
XVIII	\overline{p} РЕ.	29	8
XIX	ПОЗН.	30	7
XX	\overline{p} РЕФ.	31	6
XXI	ИСТ, Обк.	41	5
XXII	ЛОГ.	44	4
XXIII	МО.	57	3
XXIV	Об.	81	2
XXV	\overline{p} ЛОГ.	133	1

Соотношение значимостей способно дать представление о семантических особенностях объекта исследования, способно моделировать его существенные свойства, т. е. быть его моделью. В дальнейшем мы будем пользоваться ею как эталоном для построения нелинейной семной записи значений. Это, конечно, не означает, что семы любого значения должны быть расположены так же, как в таблице значимости (vs. частоты) сем всего поля. В противном случае не учитывались бы особенности конкретного значения, которое не может быть всегда тождественно усредненной характеристике поля. Следовательно, мы можем говорить о семной иерархии по значимости не просто как о модели, а как о вероятностной модели (ВМ), отклонения от которой неизбежны.

Отклонения от ВМ могут быть проиллюстрированы на примере приоритетных сем, которые располагаются в структуре значения всегда на первом уровне независимо от их значимости в ВМ. Отсюда ясно, что если два или несколько значений имеют одинаковые схемы верхних уровней структур, то эти значения объединяются в одну общую группу. В каждой такой группе вследствие частоты сем, отличной от общеполовой, распределение значимостей будет также другим, нежели в поле в целом. По этой причине заполнение семами структур значений следует производить по ВМ группы, составляемой по образцу ВМ поля. Например:

ВМ группы ОТВ

сема	частота	значимость
ОТВ,	4	приоритет. сема
\overline{p} РЕ, ОТВ $>$ \overline{p} РЕ	1	4
\overline{p} ЛОГ, \overline{p} Об \wedge \overline{p} Суб, Об	2	3
ЛОГ, РЕ, \overline{p} РЕФ	3	2
МО	4	1

Следуя ВМ группы, получаем следующие структуры значений:

<i>абстрагировать</i> —	ОТВ
	Об
	ЛОГ, РЕ, \overline{p} РЕФ
	МО
<i>абстрагироваться</i> —	ОТВ
	\overline{p} Об \wedge \overline{p} Суб
	ЛОГ, РЕ, \overline{p} РЕФ
	МО
<i>отвлечь</i> —	ОТВ
	Об
	ЛОГ, РЕ, \overline{p} РЕФ
	МО
<i>отвлечься</i> —	ОТВ
	\overline{p} РЕ
	\overline{p} ЛОГ, \overline{p} Об \wedge \overline{p} Суб
	МО
<i>умствовать</i> —	ОТВ > n
	\overline{p} РЕ
	\overline{p} ЛОГ

Мы не приводим конкретных результатов анализа СПМ, поскольку наша главная задача состояла в представлении нелинейного КА — метода, применение которого позволит описывать слова более сложной семантики, нежели описываемые «традиционным» КА.

Самое, пожалуй, существенное достоинство описанного в данной статье метода состоит, как уже говорилось, в расширении сферы его применения по сравнению с другими разновидностями КА. Это происходит в силу нелинейной организации нового КА, которая моделирует иерархически упорядоченную структуру значения слова.

Применение нелинейного КА к СПМ показало его достаточно высокую экономность. Для описания всего поля потребовалось 37 символов, т. е. в данном случае в метаязыке в 3,5 раза меньше символов, нежели слов (129) в СПМ. Вместе с тем возможность из имеющихся в списке символов («языковой» уровень) конструировать новые семы («речевой» уровень) обеспечивает довольно подробное описание значений слов. Разумеется, результаты анализа только одного семантического поля не могут быть свидетельством экономности метаязыка. Однако разграничение групп символов КА и обусловленность порядка расположения сем в структурах значений создают возможность доказательства того, что число символов метаязыка всегда будет меньше числа слов в описываемых им семантических полях⁷.

Обратно пропорциональное соотношение значимости и частоты сем должно, вероятно, сказываться и на значениях слов, т. е. значимость (vs. частота) слова должна быть прямо пропорциональна значимости (vs. частоте) его сем. Это предположение получило подтверждение на примере анализа центральной группы СПМ и массива всего поля путем сравнения значимости слов и их ожидаемой частоты (последняя определялась по [15]).

Таким образом, в перспективе вполне возможно нахождение зависимости между ВМ любого семантического поля и частотой слов, входящих в него. Так, а priori ясно, что чем больше в ВМ семных компонентов,

⁷ Ввиду большого объема упомянутое доказательство в статье не приводится.

приобретших семный статус, тем выше суммарная частота слов данного поля относительно другого. И наоборот, чем больше в ВМ сем индивидуального, присущего только этому полю содержания, тем ниже частота его слов.

Конечно же, здесь должны возникнуть трудности, требующие принятия новых решений. Например, возможно, что некоторые семы типа МО или ЛОГ присущи не одному семантическому полю. Поэтому их значимость меньше, нежели сем, сходных с ИД^н > n, что также должно сказаться на ВМ, в которой присутствуют те или иные семы (наличие межполевых сем в ВМ будет, очевидно, свидетельствовать о большей частоте слов такого поля в противоположность полю, в котором их меньше или нет вообще).

Но трудности еще не свидетельствуют о принципиальной невозможности получения положительного результата. Конкретно такой результат может выразиться, например, в создании словаря вероятностной частотности (vs. значимости) семантических полей русского языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Долгих Н. Г. О трех направлениях в разработке метода компонентного анализа применительно к лексическому материалу.— ФН, 1974, № 2.
2. Васильев Л. М. Семантика русского глагола. М., 1981.
3. Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973.
4. Словарь русского языка в четырех томах. М., 1957—1961.
5. Гуревич В. В. О семантике неопределенности.— ФН, 1983, № 1.
6. Соколовская Ж. П. Система в лексической семантике. Киев, 1979.
7. Селиверстова О. Н. Компонентный анализ многозначных слов. М., 1975.
8. Вейнрейх У. Опыт семантической теории.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. М., 1980.
9. Степанов Ю. С. Семиотика. М., 1971.
10. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. М., 1974.
11. Гак В. Г. К проблеме семантической синтагматики.— В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1971. М., 1972.
12. Бергельсон М. Б., Кибрик А. Е. Прагматический «принцип Приоритета» и его отражение в грамматике языка.— ИАН СЛЯ, 1981, № 4.
13. Соссюр Ф. де. Труды по общему языкознанию. М., 1977.
14. Мельников Г. П. Системология и языковые аспекты кибернетики. М., 1978.
15. Частотный словарь русского языка. Под ред. Засориной Л. Н. М., 1977.

ОНИАНИ А. Л.

О ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ КЛАССА
В КАРТВЕЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ

Как известно, существует мнение, что для картвельских языков исторически было характерно противопоставление по грамматической (испр. морфологической) категории класса [1, с. 135—261; 2, с. 118—152; 3, с. 37—39 и др.]. Часть исследователей объявила это предположение доказанным с полной убедительностью и, по сути дела, возвела реконструированную категорию класса в ранг факта (см., например, [3, с. 37]), другая же часть не разделила его и не придала ему вообще серьезного значения. И если гипотеза исторического наличия категории классов некоторое время активно аргументировалась и внедрялась в картвелистику, то противоположные воззрения, которых придерживаются не только представители школы А. Г. Шанидзе, но и вообще большинство видных картвелистов, понятно, остались невысказанными. Это может создать впечатление, будто указанные утверждения являются бесспорными.

Уже поэтому показ того, насколько правомерно и логично указанное предположение, становится актуальной задачей. Особую значимость вопросу придает то, что с грамматическими классами связаны далеко идущие выводы о генетических связях картвельских языков и о важнейших вопросах истории языков Кавказа. При отсутствии закономерных фонемных соответствий реконструкция категорий класса в картвельских языках превращается в один из основных аргументов в пользу их родства с горскими кавказскими языками и рассмотрения всех этих языков как одной языковой семьи [2, с. 118; 3, с. 37].

Более или менее детальное рассмотрение вопроса необходимо еще и потому, что в картвельских языках до сих пор иногда усматривают следы грамматических классов, хотя материал этих языков (в том числе и грузинского, засвидетельствованного в письменных памятниках на протяжении 1500 лет) не дает для этого оснований. Анализ данных, на которые опираются сторонники указанной гипотезы, может дать соответствующее представление как о ней самой, так и о той концепции в целом, органической частью которой она является.

Согласно этой гипотезе, в картвельских языках существовало два грамматических класса: класс «кто» и класс «что», т. е. классы человека и вещей¹. Отмечается, что в этих языках представлены «как окаменелые классные показатели (в составе основы), так и форманты грамматических классов с измененной функцией» [2, с. 119—120]. Приводимые в пользу этого соображения доказательства и связанные с ними вопросы требуют раздельного рассмотрения.

1. О так называемых классных показателях с измененной функцией. Таковыми считаются морфологические единицы, посредством которых, согласно данной гипотезе, в картвельских языках различаются человек и вещь (не-человек).

В связи с этим в первую очередь привлекли внимание суффиксы *-el* и *-ur*, поскольку по нормам современного грузинского языка *-el* соотносится с человеком, а *-ur* — с вещью: *kaḥ-el-i* «кахетинец», *kaḥ-ur-i ṡwino* «кахетинское вино» [1, с. 136—139; 2, с. 120]. Несмотря на это делается вывод: «...назначение суффиксов *-el* и *-ur*, видимо, не заключалось в раз-

¹ В картвельских языках вопрос «кто» относится только к человеку, а «что» ко всему остальному. Таким образом, под «вещью» здесь подразумевается все (живое и неживое), что не является человеком.

личении имен категории к т о и ч т о» [2, с. 120]. Этот вывод обусловлен тем, что в современном литературном грузинском языке и диалектах наблюдаются и исключения, когда *-ur* соотносится не с вещью, а с человеком, а *-el* не с человеком, а с вещью: *sada-ur-i* «откуда родом (о мужчине, женщине)», *baɣdad-el-i ɣwino* «багдадское вино». Принцип реконструкции ясен. Если его последовательно придерживаться, то реконструкция грамматического класса («человек» — «вещь») должна считаться возможной лишь на основе материала, выражающего это противопоставление без исключений. Возможно, с учетом этого связано утверждение, что в картвельских языках в выражении противопоставления человека и вещи наблюдается «полная корреляция».

Исходным при реконструкции классов является положение: в грузинском языке «категории с префиксом *m-*, к а т е г о р и и ч е л о в е к а, — противоположно образование с префиксами *s-*, *d-*, *n-* (без гласных или, чаще, с гласными), образование к а т е г о р и и в е щ и» [1, с. 143]. Следы выражения класса этими префиксами видят в производных (отыменных и отглагольных) словах современных картвельских языков, где «наблюдается система противопоставленных формантов... Одним членом противоположных пар подразумевается имя категории к т о, другим — ч т о в виде полной корреляции» [2, с. 120].

Если «полная корреляция» подразумевает, что одна часть префиксов (например, *m-*) всегда обозначает человека, а другая (*s-*, *d-*, *n-*) — всегда вещь, то их следует считать не классными показателями с измененной функцией (т. е. реинтерпретированными показателями классов), а обычными показателями класса. Но дело именно в том, что существование такой корреляции не подтверждается фактами.

Рассмотрим в отдельности формы, в которых предполагается наличие следов классных показателей:

1. Отыменные имена в грузинском языке. *mçituri* «красноватый». В этой форме (которую противопоставляют форме *çiteli* «красный») начальный *m-* считается «специфическим префиксом, выражающим категорию человека» [1, с. 140]. Но как в древнегрузинском, так и в современном грузинском языке *mçituri* обозначает не человека с красным лицом, а красноватый цвет разных предметов и существ, не обязательно людей. Это очевидно из примеров: др.-груз. *tetr ars peri misi da ara çitel da arca mçitur* «бел цвет его, а не красен и не красноват», *tmisa...mçiturisa* «волоса... рыжего», *mçitur egre ars, witarca okroj* «цвета червонного он, как золото» [4, с. 310]²; совр. груз. *mçituri çiançwelebis karawani* «караван рыжих муравьев» [5, V]. Элемент *m-* в слове *mçituri*, как видим, не имеет ничего общего с выражением класса. То же самое следует сказать и о слове *msoplio* (ср. *msoplioj krebaj* «вселенский собор») [1, с. 140—141].

megwipteli. На основе примеров типа *megwiptelni* «египтяне» *m-* в этом слове был сочтен показателем класса человека [1, с. 143—144]. Однако наряду с формами с суф. *-el* (*megwipt-el-i*) в древнегрузинских памятниках засвидетельствованы и формы с суф. *-ur* (*megwipt-ur-i*), соотносящиеся лишь с названиями вещей: *xorcisatwis megwipt-ur-is-a* «ради плоти египетской», *megwipt-ur-ta niwttagan* «из вещей египетских» [6, с. 8].

Следовательно, формы с преф. *m-* могут обозначать как человека (при наличии суф. *-el*), так и вещь (если представлен суф. *-ur*). Это значит: противопоставление «человек — вещь» выражается здесь суффиксами *-el* и *-ur*, а *m-* отношения к нему не имеет. Единственное известное нам исключение составляет *nawi megwipt-el-i* «ладья египетская» [6, с. 8], но и этот пример подтверждает, что *m-* не является показателем класса человека.

Преф. *m-* не выражает класса человека и в *megreli* «мегрел», которому так же противостоит *megruli* «мегрельский», как форме *megwipteli* — форма *megwipturi* (*-ul* < *-ur* в результате диссимилиации под влиянием предыдущего *r*).

² Древнегрузинский иллюстративный материал, оставленный ниже без указания на источник, почерпнут из словаря И. В. Абуладзе [4].

Из анализа этих форм следует, что *m-* нельзя считать показателем класса и в формах *mgoweli*, *maçqwereli*, *maçabeli*, *margweli* и т. д. Это — фамилии или близкие по значению к ним формы, в которых отражена связь человека с той или иной местностью. И здесь такая связь выражается не преф. *m-*, а суфф. *-el* (как и во многих формах без *m-*: *tbil-el-i* «тбилисец», *boln-el-i* «болнисец» и т. д.).

К показателю класса человека возводят начальный *m-* и в словах: *msaxuri* «слуга», *mtawari* «глава, главный», *mdidari* «богатый», *mziçe* «няня», *mriše* «блудница», *mrçobli*, *marçbiwi* «двойной, парный», *mçignobari* «книжник», *mozarçe* «данник, платящий налог», *mogware* «однофамилец», *maspinzeli* «хозяин» и др. [1, с. 147—155].

Большая часть названных слов действительно подразумевает именно человека, но это обусловлено не наличием преф. *m-*, а семантикой этих лексем; только человек (но не вещь) может быть книжником, слугой, однофамильцем, няней, хозяином и т. д. Это подтверждается тем, что часть таких слов, если семантика позволяет, сочетается с названиями вещей (что признается и в указанном труде): *mdidari kwegana* «богатая страна», *mtawari sakme* «главное дело» [1, с. 181], *mrçoblita zaçwita* «двойной цепью» и др.

Согласно рассматриваемой гипотезе, «префикс *m-* относится к категории человека, а префикс *sa-* — к категории вещей» в таких формах, как *merçquli* «водонос» — *sarçquli* «сосуд», *mezuere* «таможенник» — *sazuere* «таможня», *metauri* «глава(рь)» — *satauri* «заглавье», *mekatme* «птичник» — *sakatme* — «курятник», *menawe* «лодочник», *mesxware* «овчар», *mokalake* «гражданин», *monadire* «охотник» и др. [1, с. 157—168; 2, с. 120—121]. Однако достаточно вспомнить множество не учитываемых при этом фактов, чтобы неадекватность этого утверждения стала очевидной. Речь идет о хорошо известных случаях, когда формы с начальным *m-* соотносятся не с человеком, а, наоборот, с не-человеком, вещью, формы же с начальным *sa-* — не с вещью, а, наоборот, с человеком: *monadire zaçli* «охотничья собака», *mekatme mela* «лисица-куроедка», *metauri cerili* «передовая статья», *mezore prinwelebi* «птицы-стервятники» [5, V]; др.-груз. *mçamiobi* «летучая мышь», *mtredni mebudarni* «голуби гнездящиеся»... [4, с. 228] и вместе с тем: *sakmro* «жених», *sacole* «невеста», *sarçlo*, *sasizo*, *sasidedro*, *sasimamro*, соответственно тот, кто должен стать невестой, зятем, тещей, тестем. Ср. также: *size* «зять», *sidedri* «теща», *simamri* «тесть» и др.

Дело в том, что названные аффиксы в грузинском языке (как в древнем, так и в современном) имеют совершенно иную функцию, чем выражение класса («человек» — «вещь»). Как отмечает А. Г. Шанидзе, конфиксы с элементом *m-* (*me—e*, *me—ur*...) указывают на профессию, а конфиксы с элементом *s-* (*sa—e*, *sa—ur*, *sa—o*...) — на назначение [7, с. 132—135, 8, с. 54].

Поскольку быть представителем профессии, исполнителем регулярных действий может главным образом человек, как это признается и в рассматриваемых трудах (см., например [1, с. 148]), а назначение — это свойство вещи (не-человека), то, естественно, формы с начальным *m-* связаны преимущественно с человеком, а с начальным *s-* — с вещью. Но так как назначение сможет иметь и человек (например, жених, невеста...), а регулярные действия могут быть характерны и для не-человека (например, охота для собаки), то формы с обоими этими элементами могут относиться как к человеку, так и к вещи. Связь этих элементов с классами, таким образом, является лишь кажущейся.

Показателем категории вещи считают и элемент *na-* в формах типа *na-otx-al-i* «четверть», *na-kalak-ar-i* «городище», *na-çuar-ev-i* «оврат» и др. [1, с. 182—185; 2, с. 122—123].

Если анализировать материал в целом, а не избирательно, то станет ясно, что нельзя согласиться и с этим утверждением. Достаточно привести несколько примеров из огромного множества случаев, когда формы с *na-* обозначают именно человека, а не вещь: *nacolari* «бывшая жена», *nakmarewi* «бывший муж», *našwilewi* «кусыновленный», *naçmewi* «бывший

крепостной», *paqacaxari* «бывший разбойник», *nabičwari* «незаконнорожденный», *namoçapari* «бывший ученик», *natesawi* «родственник», а также многие другие формы, передающие всевозможные бывшие состояния человека [ср. 1, с. 183].

2. Причастия в грузинском языке. Согласно рассматриваемой точке зрения, корреляция префиксов *m-* — *sa-(na-)* в причастиях такова же, что и в именах, образованных от существительных, *m-* и здесь обозначал категорию человека, а *sa-, na-* — категорию вещи [1, с. 184; 2, с. 123].

Этот вывод делается несмотря на то, что «причастие с префиксом *sa-* в настоящее время используется и в качестве определения человека (*sanačreli dye* — *sanačreli zma* „желанный день“ — „желанный брат“), а причастие с префиксом *m-* выступает и определением имен категории вещи (*mdinare* „река“, *myelware zywa* „волнующееся море“, *mgznebare sičqwa* „пламенное слово“») [1, с. 184; см. также 2, с. 123—124].

Вопрос о суффиксах *-el, -ur*, как мы видели выше, был решен с опорой на исключения, а здесь, напротив, исключения не влияют на решение. Методическая непоследовательность очевидна.

По справедливому утверждению А. Г. Шанидзе, префиксы *m-, sa-, na-* в причастиях как современного, так и древнегрузинского языка выражают лишь противопоставление по залогу и времени [7, с. 567 и сл.; 8, с. 137 и сл.]. Возможность иной диахронической квалификации этих префиксов и не возникает. Между тем предполагается, что различение причастием категорий времени и залогов определено основой глагола («идет от основы глагола») [1, с. 184], префиксами же исторически выражалось лишь противопоставление по грамматическому классу [2, с. 122—123]. С данным выводом не согласуется множество противопоставленных форм типа *da-m-çer-i* — *da-sa-çer-i* — *da-na-çer-i* «тот, кто (на)пишет — то, что предстоит (на)писать — то, что написано», где залог (как и время) выражается именно префиксами (которыми эти формы отличаются друг от друга в плане выражения), а основа (абсолютно одинаковая во всех трех случаях) остается здесь неизменной. Повода для иной диахронической интерпретации эти формы, таким образом, не дают.

Сказанное подтверждается множеством форм, где *m-* относится не к человеку, а к вещи, а *sa-, na-*, напротив, не к вещи, а к человеку:

а) *mçenare* «растение», *mçinwari* «ледник», *mdinare* «река», *mçwadi* «шашлык», *mçipe* «спелый», *mçreli* «острый, режущий», *mçxunware* «жгучий», *mçekare* «громкий», *mduçare* «кипящий, кипяток», *mezebari* «ищейка (собака)», *mčbenari* «вошь»; др.-груз. *terxani* «лишай», *mntebare* «свещающая (свеча)» *mçepari* «лающая (собака)», *mçowari* «пасущееся (стадо)» и др.;

б) *sačrpo* «возлюбленный», *gasatxowari* «девушка на выданье», *saçwareli* «любовник, любимый», *sanačreli* «желанный» («*sanačrelman šušanik... hrkua*» «желанная Шушаник... сказала»), *sacçalobeli* «жалкий» («*sacçalobel ikmna . . . warsken*» «жалким стал... Варскен»), *saçurisi* «евнух» и др.;

в) *nasçawli* «образованный», *našromi* «потрудившийся», *nakeipari* «покутивший», *nabrzoli* «повоевавший», *nasadilewi* «пообедавший», *nasauzmewi* «позавтракавший», *naswami* «выпивший, пьяный», *našwilewi* «усыновленный», *naççeni* «обиженный», *namčiralewi* «наплаканный», *načitzi* «начитанный» и др.

Из этого материала, по-видимому, следует, что префиксы *m-, sa-, na-* не имеют ничего общего с выражением грамматической категории класса и что в этом отношении никакой корреляции по классам, тем более полной, здесь нет. Это значит: употребление данных префиксов не дает основания для реконструкции грамматической категории класса.

В занском и сванском языках, по сути дела, наблюдается та же картина, что и в грузинском. Но во избежание повторений ограничимся лишь показом случаев, когда формы, содержащие предполагаемые показатели класса человека, обозначают (или подразумевают) вещи, а формы с предполагаемыми показателями класса вещи — человека.

3. Причастия и отыменные имена в занском языке. Исконным показателем класса человека считается преф. *m-*, а класса вещи — префиксы *o-*, *no-* [1, с. 186 и сл.]. Из двух последних «первый равняется грузинскому *sa-*, а второй — *na-*» [1, с. 193]. Этому противоречит, однако, множество языковых фактов, известных и автору цитируемой работы:

а) *maršalia* «соловей» (ср. *pšala* «хмель»), *maluγia* название птицы (ср. *luγi* «инжир»). В связи с этими формами дается примечание: «В чанском такое образование уже не является продуктивным, сохранено кое-где в названиях рыб, птиц. . .» [1, с. 191]. Здесь упущено, что рыбы и птицы относятся к классу вещи, а не человека. Ср. также: *mačaminže žoγori* «кусающаяся собака», *metžγoni kibri* — разновидность зуба [ср. 1, с. 200] и др.;

б) *oškari žima* «средний брат», *okotonžoni* «девушка на выданье», *oči-loni* «тот, кому следует жениться» [ср. 1, с. 201], *počili* «бывшая жена» [ср. 1, с. 195] и др.

4. Причастия и отыменные имена в сванском языке. Исконным показателем класса человека и здесь считается *m-*, а класса вещи — аффиксы с элементами *l-*, *n-* [1, с. 203 и сл.; 2, с. 126 и сл.]. *l-* занимает место грузинского *s-*; префиксы *m-* и *n-* те же, что и в грузинском [1, с. 203]. Множество ясных примеров и здесь противоречит этому:

а) *mučwār* «свеча», *muγwe* (*lic*) «кипящая (вода)», *məlc* «дикая утка» (ср. *lic* «вода»), *mēšgi* (*pur*) «дойная (корова)», *mətqab* (*katal*) «жареная (курица)», *məžab* (*leγw*) «вареное (мясо)», *məxim* «жир», названия многих растений типа *mə-ləžōl*, *mə-saronōl*;

б) *ləčiže* «женатый», *ləcwile* «замужняя», *ləjexw* «женатый», *ləčāš* «замужняя», *lətor* «образованный», *lərekw* «одетый», *ləsdile* «пообедавший», *ləwaxšme* «поужинавший», *ləčšəri* «жених», *ləjxuri* «невеста», *ləlač* «любовник», *ləcje* «приглашенный» и др.;

в) *nəjexw* «бывшая жена», *načāš* «бывший муж», *nator* «образованный», *nakāt* «посторонний», *nalgen* «переночевавший», *nəjrxnič* «бывший товарищ», *namčurla* «глубокий старик» и др.

Наличие следов классовых показателей предполагают также в аффиксах масдаров, падежей, чисел и лиц.

5. М а с д а р ы. Следы выражения категории класса ищут и в масдарах [1, с. 212 и сл.; 2, с. 125—127], несмотря на то, что здесь отсутствует какая-либо основа для выделения двух рядов показателей, один из которых мог бы соотноситься с классом человека, а другой — с классом вещи. Как отмечено в отношении грузинского языка, «корреляция здесь дефектна, не хватает варианта *m-*» [2, с. 125]. Но можно ли говорить о какой-либо корреляции (хотя бы дефектной), если имеется лишь один член «противопоставления»? Уже отсюда ясно, что аффиксы масдара не создают никакой корреляции, которая сводилась бы к противопоставлению классов. Такая же картина не только в грузинском и занском, но и в сванском языке, где масдар образуется двумя аффиксами (*li-* и *ma-*), одинаково нейтральными в отношении классов (*lilač*, *malač* «любовь») [ср. 2, с. 128]. Таким образом, в масдаре нет и того минимума, который был положен в основу реконструкции классов в рассмотренных выше случаях.

6. П о к а з а т е л и п а д е ж е й , л и ц и ч и с е л. Ряд падежных окончаний (показатели дательного, родительного, творительного и обстоятельного падежей), а также все суффиксы картвельских языков с элементами *d*, *n* и *t* (<**d*) представлялись восходящими к показателям классов [2, с. 150; 3, с. 38; 9, с. 67 и сл.].

Поскольку большая часть падежных показателей, а также суффикс множественности в глаголе (груз. *-t* — зан. *-t* — сван. *-d* ~ *-šd*) без сомнения реконструируются для общекартвельского состояния [10; 11, с. 196 и сл.], постольку эти суффиксы, сохранившие свои функции до сегодняшнего дня, не имеют ничего общего с выражением категории клас-

са не только в отдельных картвельских языках, но и в их праязыке³. Следует отметить и другие важные обстоятельства:

а) грузинские показатели род. и дат. падежей *-is* и *-s* были сочтены восходящими к одному общему источнику — классному показателю *s* [2, с. 150]. Но эти элементы имеют в картвельских языках разные фонетические соответствия. Поэтому совершенно очевидно, что они восходят к двум разным аффиксам: род. п. груз. *-is* — зан. *-iš* — сван. *-iṣ* (<общекартв. **-is₁*); дат. п. груз. *-s* — зан. *-s* — сван. *-s* (<общекартв. **-s*) [2, с. 103, 160; 13, с. 24 и сл.];

б) реинтерпретированным показателем класса вещей был признан не только конечный элемент *-d* соответствующих грузинских суффиксов, но и *-t* (предполагался процесс $t < d$). Причиной изменения $-d > t$ в грузинском языке считается оглушение звонких в абсолютном конце слова [9, с. 74—75]. Но тогда такое изменение в указанной позиции должно было осуществиться везде. На деле же в древнегрузинском языке в одних случаях (в показателях обстоятельств. падежа, 3-го лица глагола и мн. числа этого лица) представлен, как правило, *-d*, а в других случаях (в показателях твор. падежа, мн. числа имен и глаголов) — только *-t*. Главное состоит в том, что именно такое распределение этих элементов имело место еще до зарождения тенденции оглушения звонких в конце слова (такая тенденция, как известно, стала наблюдаться в более поздний период развития древнегрузинского языка) [см. 11, с. 196—200]. Это значит: нельзя выводить суффиксы *-d* и *-t* из одного источника и связывать с ними одну и ту же морфологическую функцию.

Как видим, в рассмотренном материале не обнаруживается какой-либо системы противопоставленных формантов и, тем более, «полной корреляции» по категории класса. Материал показывает как раз обратное. Сравним две группы лексем: 1) *mxaṭwari* «художник», *sacole* «невеста», *naṭoṣapari* «бывший ученик» и 2) *mḡepari* «лающий, пес», *saḡoze* «ткань для чохи», *nakalakari* «городище». Слова первой группы обозначают только людей, а второй — только вещи. И это несмотря на то, что они полностью совпадают по аффиксам, с помощью которых будто образуется «полная корреляция» по классам (ср. *m-xaṭw-ar-i* — *m-ḡep-ar-i*, *ṣa-col-e* — *sa-ḡox-e*, *na-ṭoṣap-ar-i* — *na-kalak-ar-i*).

В картвельских языках нет, таким образом, того самого главного, на основе чего можно было бы реконструировать грамматическую категорию класса. Естественно, реконструкция, построенная таким образом, неприемлема. Положение не меняется и с учетом данных сванских аффиксов, выражающих «происхождение» человека и не-человека. Ничто не говорит о том, что здесь мы имеем дело со следами выражения грамматического класса. Диахроническое отношение их к этой категории такое же, что и у функционально совпадающих с ними грузинских суффиксов *-el*, *-ur*.

Здесь, естественно, возникает вопрос: какой же могла быть на общекартвельском хронологическом уровне функция тех аффиксов, которые иногда возводят к показателям классов?

Подробное освещение этого вопроса здесь, разумеется, невозможно. Однако если удастся показать, что аффиксы, соответствующие друг другу фонетически, обладают одной и той же функцией во всех картвельских языках, то тем самым будут выявлены и наиболее вероятные функции их архетипов на общекартвельской ступени.

Как известно, груз. *m* — зан. *m* — сван. *m* (<общекартв. **m*) и груз. *e* — зан. *a* — сван. *e* (<общекартв. **e*) являются закономерными звуко-соответствиями [14, с. 140 и сл.]. Что же касается аффиксов, содержащих производимый к показателю класса *m-*, то они в картвельских языках встречаются в виде нескольких разных аффиксов с разными функциями. При этом, что особенно важно, функции фонетически соответствующих друг другу аффиксов полностью совпадают:

1) *me—ur*, *me—e* образуют имена, указывающие на профессию как

³ Говоря об общекартвельском праязыке, мы имеем в виду последнюю ступень его развития.

в древнем, так и в современном грузинском языке: *me-bad-ur-i*, «рыбак», *me-baγ-e* «садовник» [7, с. 135; 8, с. 54]. В такой же функции употребляются их закономерные фонетические соответствия: зан. *ma-ur* (*ma-kiṣṣ-ur-i* «поздравитель») и сван. *mə-ər* (*mə-xm-ḍr-i* «свинопас»);

2) причастия действительного залога в грузинском языке образуются посредством аффиксов *m-*, *m-el*, *ma-el* [7, с. 570—572; 8, с. 137], в занском — *ma-al*, *mo-u* [15, с. 094], а в сванском — *mə-*, *me-*, *mo-*, *ma-* [16, с. 213—215]. Между этими аффиксами можно установить не только функциональное, но и фонетическое соответствие;

3) конфикс *me-e*, начальный *m-* которого тоже возводят к показателю класса [1, с. 180—181], в грузинском языке (как в древнем, так и в современном) образует порядковые числительные: *sami-me-sam-e* «три — третий». С точно такой же функцией выступают его закономерные фонетические соответствия: зан. *ma-a* (*sumi-ma-sum-a* «три — третий») и сван. *me-e* (*seti-me-sm-e* «три — третий»).

Приведенные данные дают основание для реконструкции на общекартвельской ступени трех разных аффиксов, содержащих *m-*, с тремя разными функциями [см. 12, с. 123, 131], не имеющими отношения к выражению класса.

Известны звуковые соответствия: груз. *a* — зан. *a* — сван. *a* и груз. *s* — зан. *θ* — сван. *l* (в начале основы) [13, с. 33—35]. Груз. *sa-* — зан. *o-* — сван. *la-*, следовательно, фонетически закономерно соответствуют друг другу. В картвельских языках морфологические единицы с этими элементами встречаются в виде двух разных аффиксов с разными функциями: 1) выражение назначения в именах; 2) образование причастия будущего времени страдательного залога [1, с. 193—198; 7, с. 132—133, 573—576; 8, с. 54, 138; 15, с. 095; 16, с. 215—218]. Поскольку функциональные соответствия являются и фонетическими соответствиями, постольку реконструкция их архетипов на общекартвельском уровне с этими же функциями вполне естественна [12, с. 168].

Закономерные фонетические соответствия выявляют и аффиксы: груз. *na-* — зан. *no-* — сван. *na-*. Функции их (или конфиксов, в которые они входят) одинаковы во всех картвельских языках. Выделяются две разновидности таких аффиксов с двумя разными функциями: 1) отражение пройденного состояния, 2) образование причастия прошедшего времени страдательного залога [1, с. 193—196; 7, с. 133—134, 575—576; 8, с. 139—140; 15, с. 095; 16, с. 221—223]. Те же функции должны были иметь эти аффиксы в прошлом во всех картвельских языках, как и их архетипы на общекартвельском уровне.

Общезвестно, что архетипы фонетически и семантически соответствующих друг другу единиц реконструируются в праязыке с теми же значениями, которые они имеют в родственных языках. Ни у кого не возникло сомнения, например, в том, что архетип слов груз. *datwi* — зан. *tunti* — сван. *däšdw*, обозначающих во всех трех языках медведя, в праязыке имел то же значение. Бесспорно и то, что праформа фонетически соответствующих суффиксов груз. *-is* — зан. *-iš* — сван. *-iṣ*, выражающих во всех картвельских языках род. падеж, и в праязыке имела эту же самую морфологическую функцию [12, с. 103; 13, с. 28—29]. Ясно, что и аффиксы с элементами *m-*, *s-*, *n-*, которые в картвельских языках фонетически соответствуют друг другу и обладают одинаковой функцией, не имеющей отношения к классам, с этой же функцией должны реконструироваться и на уровне общекартвельской общности.

II. О так называемых «окаменелых» показателях класса в картвельских языках. Как отмечено выше, в основах отдельных слов усматривают окаменелые показатели класса [1, с. 169—179; 2, с. 129—133]. Ряд слов, казалось бы, дает основание для выделения префиксального элемента, так как в их начале нет ожидаемого звукосоответствия (ср., например, груз. *saxwi* — чан. *disxi* «липа»). Но происхождение начального *d* в аналогичных чанских формах убедительно объяснил Т. Е. Гудава: $d < *z, *ḡ$ в результате регрессивной диссимилятивной дезаффрикатизации под влиянием глухой аффрикаты

основы [17]. Тем самым восстанавливается закономерное звукосоответствие (груз. *casxi* < **zasxi* — чан. *disxi* < **zosxi*), а выделение в таких словах *d*- как префикса становится невозможным.

В других случаях *d*- как префикс выделяется даже без такого кажущегося основания морфологической разложимости слов. К ним относятся, например, груз. *datwi*, зан. *tuti, tunti*, сван. *dāšdw* «медведь», груз. *ttue*, зан. *tuta*, сван. *došdul* «месяц, луна»; груз. *zayli*, зан. *žoyori*, сван. *žey* «собака» [1, с. 174—177; 2, с. 129—130]. Ни данные отдельных картвельских языков, ни сравнение этих данных не позволяют выделить в таких формах префиксальные элементы. Все элементы сравниваемых основ представлены закономерными звуковыми соответствиями, и, что важнее всего, не встречаются друг без друга. Поэтому не только такие основы, засвидетельствованные в картвельских языках, но и их общекартвельские архетипы не могут считаться морфологически разложимыми единицами.

Есть препятствия и иного рода. В связи с основой со значением «собака» следует сказать следующее: а) общекартвельским архетипом начальных звуков, создающих соответствие $з - \check{з} - \check{з} (< *z)$, является не **d*, а другой звук. Общекартвельский **d* во всех картвельских языках дает *d*, а не приведенное выше соответствие (ср. груз. *dye* — зан. *dya* — сван. *ladey* «день») [13, с. 19—23]. Соответствие же $з - \check{з} - \check{з} (< *z)$ дает только звук, который обозначается как **z*₁ [13, с. 28—31]; б) если считать, что основы слов со значениями «медведь», «месяц (луна)», с одной стороны, и «собака», с другой, начинались одним и тем же согласным *d*, то нельзя будет объяснить, почему один и тот же звук в одной и той же позиции в одном случае во всех картвельских языках дает *d*, а в другом случае — соответствие $з - \check{з} - \check{з}$; в) если в основе со значением «собака» был выделен префиксальный элемент, возводимый к показателю класса вещей, то таким же образом, следовало выделить аналогичный элемент и в основе со значением «брат», ибо и здесь мы имеем то же самое соответствие (груз. *zta* — зан. *žta* — сван. *žmil*). Трудно избавиться от впечатления, что логическая последовательность здесь оказалась нарушенной потому, что выделенный *d*- в этом слове уже следовало бы отнести к показателю класса человека, а не вещи.

Можно заключить, что в картвельских языках не было найдено ни одного бесспорного свидетельства былого выражения грамматической категории класса. Языковой материал не дает возможности реконструировать эту категорию не только в отдельных картвельских языках, но и в общекартвельском праязыке.

Возникает вопрос: какие методические просчеты привели к таким неприемлемым представлениям? Можно указать на некоторые из них.

1) Известно, что фундаментом сравнительно-исторического языкознания является установление системы регулярных фонемных соответствий. С опорой на звукосоответствия решаются в нем все существенные вопросы истории любого элемента языковой структуры. Реконструкция же категории класса в картвельских языках проводилась без предварительного установления звукосоответствий между предполагаемыми показателями классов. Реконструированная категория грамматического класса была выдвинута в качестве одного из основных аргументов родства картвельских языков с горскими кавказскими языками также без установления звукосоответствий. Обойдено и второе важное требование сравнительно-исторической лингвистики — установление релятивной хронологии диахронических изменений. В результате этого не были даны лингвистически аргументированные ответы на важнейшие вопросы: сосуществовали ли на какой-либо хронологической ступени в картвельских языках (или в их праязыке) категории класса и падежа? Если сосуществовали, то до какой ступени? Если же нет, то на какой ступени исчезли классы и на какой появились падежи? Сложнейшие вопросы лингвистической реконструкции решались, таким образом, без соблюдения основных принципов сравнительно-исторического языкознания, определяющих строгость и достоверность лингвистических выводов.

2) Часто к одному и тому же источнику возводятся элементы, счи-

тающиеся префиксами и суффиксами, например, начальный *d* в груз. *datwi*, чан. *discxi* и конечные *d* или *t* (возводимый к **d*) в таких формах, как груз. *kasad* «человеком», *wcert* «пишем» [9, с. 72—76], а также начальные и конечные *s* грузинских форм *sisxli* «кровь», *saxre* «палка» и *kasic* «человека», *aketes* «делали» [2, с. 150; 9, с. 76].

Такие связи устанавливались без должной аргументации. Картвельские языки, как известно, характеризуются строго определенным порядком следования морфем, в них отсутствуют бесспорные случаи превращения префикса в суффикс и наоборот. Ясно, что рассмотрение вопроса требует от исследователя гораздо большей осторожности.

3) Аффиксы, состоящие из гласного и согласного, расчленились на две части с целью выделения показателей классов. Так, показатели падежей *-is*, *-ad-*, *-it* представлялись составленными из двух аффиксов с разными функциями (*-i-s*, *-i-t*, *-a-d*). В других случаях считалось возможным расчленение аффиксов без выявления функций выделенных частей: «... в вариантах с гласными (*me-*, *mo-*) формантом класса человека, видимо, является только префикс *m-*, функции гласных *-e-*, *-o-* следует выяснять» [1, с. 169]. Указанные *me-*, *mo-* в большинстве случаев являются элементами конфиксов (*me — e*, *me — ur*, *mo — e*, *mo — o*). Конфиксы же, обладающие в картвельских языках одной, неделимой функцией, тоже без какой-либо аргументации объявлялись двумя формантами (префиксом и суффиксом) [2, с. 121]. Считалось, следовательно, возможным диахроническое слияние двух или трех аффиксов с разными функциями (даже префикса и суффикса) в одну морфологическую единицу, с одной неделимой функцией. Однако в картвельских языках не известно ни одного очевидного примера такого слияния аффиксов. К тому же большая часть названных аффиксов реконструируется на общекартвельской ступени с одной функцией. Так, реконструируются, например, показатель род. падежа **-is₁* [12, с. 103; 13, с. 28—29] и конфикс порядковых числительных **me — e* (груз. *me — e*, зан. *ta — a*, сван. *me — e*) [12, с. 131]. Это значит: дальнейшее морфологическое разложение этих аффиксов невозможно не только в отдельных картвельских языках, но и на уровне общекартвельской общности.

4) Вопрос выражения категории класса в разных случаях решался с нарушением избранного критерия: суффиксы *-el*, *-ur*, как отмечено выше, не были возведены к показателям классов из-за исключений, имеющих место в выражении ими противопоставления «человек — не-человек» [1, с. 136—139; 2, с. 120]. Аффиксы причастий были возведены к показателям классов, несмотря на констатацию таких исключений [1, с. 184; 2, с. 123—124]. В масдарах же классные показатели были выделены, несмотря на признание полного отсутствия противопоставления по этой категории [1, с. 219 и сл.; 2, с. 125—127].

5) Логика построения доказательств в пользу рассматриваемой гипотезы и связанные с ней квалификации языковых фактов являются спорными и в других случаях. Например, если в современном (или древнем) грузинском языке выражение противопоставления человека и вещи действительно характеризуется «полной» корреляцией, то тогда аффиксы, образующие эту корреляцию, должны считаться обычными, действующими показателями классов, а не классными показателями с измененной функцией. Но этот логически напрашивающийся вывод не был сделан. Не был сделан, по всей вероятности, потому, что он пришел бы в явное противоречие с другим, совершенно справедливым, положением: «ни для современного, ни для древнего грузинского языка, ни для занского и сванского языков различение грамматических классов не характерно» [2, с. 118].

6) Для реконструкции грамматического класса щедро привлекаются факты, которые с позиции гипотезы классов могут подкрепить предположение об историческом существовании в картвельских языках данной категории, без внимания не остаются даже малоизвестные формы (такие, например, как *mšuale*, *mremli*, *sisraj*, *naxutali* и др.). В то же время не упоминается, за некоторыми исключениями, огромное множество общеизвестных фактов, противоречащих такой реконструкции (см. выше).

Чем же были обусловлены такие неожиданные методические противоречия? По-видимому, явным желанием доказать родство картвельских языков с горскими кавказскими языками. Иначе трудно объяснить тот факт, что реконструкция грамматического класса, ставшего одним из основных аргументов в пользу родства двух групп языков, проводилась с учетом и опорой на данные опять-таки горских кавказских языков.

Человек и не-человек в грузинском языке различаются лишь суффиксами *el*, *-ur*, но именно они не были возведены к показателям классов. Почему? Видимо, потому, что в горских кавказских языках древнейшими показателями класса считаются префиксы, а не суффиксы [ср. 1, с. 260].

В одной группе слов тождественной структуры были выделены «окаменелые» классные показатели, в другой же группе они не выделялись. Сравнение таких форм, как *datwi — tunti — dāšdw* «медведь», *tue — tuta — došdul* «месяц, луна», как было показано выше, стало основой для выделения классного показателя *d*-. Однако сравнение аналогичного строения форм: груз. *kači* «человек» — зан. *koči* «человек» — сван. *čāš* «муж» или др.-груз. *čvili* — зан. *čički*, *čički* — сван. *tēšgwe* «мягкий» не легло в основу выделения *k*- и *č*- в качестве «окаменелых» классных показателей.

Чем же обусловлена такая разная интерпретация сходных форм, не вытекающая из картвельских данных? Безусловно, опорой на все те же горские кавказские языки, а именно, на то, что «*d* как один из формантов класса вещи широко распространен в языках нахской группы и в большинстве дагестанских языков» [9, с. 75], чего нельзя сказать о *k* и *č*.

Таким образом, реконструкция показателей класса в картвельских языках основывалась и на фактах горских кавказских языков. Реконструируемая же этим путем категория класса превращается в одно из основных доказательств родства картвельских языков с теми же горскими кавказскими языками. Круг в доказательстве, как видим, замкнулся. Если исходить из критериев сравнительно-исторического языкознания, то родство картвельских языков с горскими кавказскими языками нельзя считать доказанным [см. 18, 19]. Выяснение их генетического взаимоотношения — задача чрезвычайной важности, нуждающаяся в решении в соответствии со строгими требованиями современной лингвистики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Чикобава А. С. Древнейшая структура именных основ в картвельских языках. Тбилиси, 1942 (на груз. яз.).
2. Чикобава А. С. Введение в иберийско-кавказское языкознание. Тбилиси, 1979 (на груз. яз.).
3. Рогова Г. В. Основные вопросы сравнительно-исторического изучения фонетики картвельских языков. — ИКЯ, 1953, IV (на груз. яз.).
4. Абуладзе И. В. Словарь древнегрузинского языка. Тбилиси, 1973 (на груз. яз.).
5. Толковый словарь грузинского языка. Т. I—VIII. Под общ. ред. Чикобава А. С. Тбилиси, 1950—1964.
6. Сарджвеладзе З. А. Мровели или Мрувели. Мравалтави. — Историко-филологические разыскания. II. Тбилиси, 1973 (на груз. яз.).
7. Шанидзе А. Г. Основы грамматики грузинского языка. I. Морфология. Тбилиси, 1973 (на груз. яз.).
8. Шанидзе А. Г. Грамматика древнегрузинского языка. Тбилиси, 1976 (на груз. яз.).
9. Чикобава А. С. К генезису суффиксов множественности в грузинском языке. — ИКЯ, 1954, VI (на груз. яз.).
10. Климов Г. А. Склонение в картвельских языках в сравнительно-историческом аспекте. М., 1962, с. 146.
11. Ониани А. Л. Вопросы исторической морфологии картвельских языков. Тбилиси, 1978 (на груз. яз.).
12. Климов Г. А. Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964.
13. Мачавариани Г. И. Общекартвельская консонантная система. Тбилиси, 1965 (на груз. яз.).
14. Гамкрелидзе Т. В., Мачавариани Г. И. Система сонантов и аблаут в картвельских языках. Тбилиси, 1965 (на груз. яз.).
15. Кипшидзе И. Грамматика мингрельского (иверского) языка. СПб., 1914.
16. Топурия В. Т. Труды. Т. I. Тбилиси, 1967 (на груз. яз.).
17. Гудая Т. Е. Об одном случае регрессивной дезаффрикатизации в занском (мегрело-чанском) языке. — Сообщения АН ГССР, 1964, XXXIII, 2. (на груз. яз.).
18. Гамкрелидзе Т. В. Современная диахроническая лингвистика и картвельские языки. (I). — ВЯ, 1971, № 2, с. 28—29.
19. Серебрянников Б. А. Проблема достаточности основания в гипотезах, касающихся генетического родства языков. — В кн.: Теоретические основы классификации языков мира. Проблема родства. М., 1982.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

БЛАНАР В.

ЛЕКСИКОЛОГИЯ ЛЕКСИКОГРАФИИ

1. Так называемое составление словарей стало анахронизмом с тех пор, как лексикография и при алфавитно упорядоченном описании лексического состава поставила своей целью обработку единиц лексического состава как элементов лексико-семантической системы, точнее говоря, как элементов иерархически упорядоченных и взаимно пересекающихся частных систем. Лексические единицы посредством своей формы и своего лексического значения вступают в различные лексико-семантические отношения, в своей частной системе они занимают определенное место, которое может в ходе развития лексики изменяться. Задачей лексикографического описания является определение смысловой структуры; лексической значимости и стилистического характера лексической единицы как элемента частной системы. Поэтому лексикографическая работа не может обойтись без систематического внутреннего сравнения лексической единицы с элементами частных систем, в которые эта лексическая единица включается [1].

Основной ход лексикографического описания в толковых словарях можно коротко представить в следующем виде: при помощи анализа лексических единиц в тексте (уровень речи) мы стараемся постигнуть их лексическую значимость на уровне языка, а результаты комплексного анализа обрабатываем лексикографически, принимая во внимание тип разрабатываемого словаря [2]. Эта формулировка требует уточнения с учетом специфической ситуации в исторической лексикологии и лексикографии, о которой тут, в первую очередь, идет речь.

Принцип опоры лексикографического описания на лексикологический анализ общепризнан. Однако следует различать рабочие методы при лексикографическом описании современного языка и при описании исторического развития словарного состава. Лексикографическое описание современного языка может опираться на живое языковое сознание лексикографа и на достаточный языковой материал. В процессе лексикографической практики были выработаны многочисленные методические приемы лексико-семантического анализа, учитывающие эти обстоятельства. Например, субституционные эксперименты и вообще методы, которые исходят из интуитивного знания возможных употреблений лексической единицы, а значит — из искусственно образованных контекстов, отвечающих языковой норме, хорошо применимы к анализу современного языкового материала [3]. Напротив, историческая лексикография имеет дело с более или менее неполным лексическим материалом, при анализе которого мы не можем опираться на современное языковое сознание. Поэтому при семантическом анализе исторических текстов затруднительно использовать метод сравнения с другими лексическими элементами, которые в тексте могли бы подменять соответствующую лексическую единицу, или метод, основанный на учете сочетаемости данной лексической единицы с другим синтактико-семантическим окружением. Работа в области исторической лексикологии и лексикографии имеет более широкие эвристико-интерпретационные предпосылки; она требует а) сбора и анализа как можно большего количества исторических контекстов, б) объяснения на основе существующих источников и литературы исторических реалий, в) использования наряду с основными методическими приемами, к которым мы относим

компонентный и дистрибутивный анализ, также и вспомогательных приемов; сравнения с более поздней стадией развития данного языка (при такой продленной перспективе развития важная роль принадлежит сравнению с положением в диалектах) и с другими, прежде всего, родственными языками. Под лексико-семантической реконструкцией в диахронном и синхронном аспектах мы понимаем использование совокупности методических приемов, адекватных комплексному лексико-семантическому анализу [4]. С помощью лексико-семантической реконструкции вскрывается и характеризуется динамическая структура микро- и макросистем лексического состава на уровне языка и речи.

Предварительно добавим еще несколько общих замечаний о характере лексического развития [5]. Постоянным источником развития словарного состава являются большие или меньшие изменения смыслообразующих факторов, т. е. (1) поименованной реальности, (2) отношения говорящего к поименованной реальности, (3) ее понятийной обработки и (4) языкового оформления. Эти смыслообразующие факторы представляют различные стороны единого номинативного процесса, который состоит в языковом выражении психического содержания. В лексическом развитии языковые и внеязыковые факторы проявляются во взаимодействии. Словарный состав реагирует на внешние импульсы с учетом внутренних системных предпосылок. Динамику развития лексики в первую очередь обуславливают изменения семантического строя и изменения в наборе лексических единиц. Важным фактором является и дифференциация лексических единиц с точки зрения различных коммуникативных потребностей функциональных стилей. Этот фактор играл значительную роль уже на начальной стадии образования культурного языка, но особенно важное значение он приобрел в период, когда создавался более устойчивый кодифицированный литературный язык. В литературном языке укрепляется необходимая стилистическая дифференциация его выразительных средств и при этом устраняется излишняя синонимичность (*polylexia*), унаследованная от эпохи некодифицированного культурного языка. В общем лексическое развитие можно характеризовать как изменение набора, структуры и стилистической функции лексико-семантических элементов и изменение структуры частных лексических систем. Словарный состав приобретает специфический облик в зависимости от того, насколько выразительно проявляются в ходе исторического развития отдельные виды лексико-семантических изменений.

В данной статье развитие лексического состава интересует нас как проблема лексикографии. С этой точки зрения приобретают важность приемы, с помощью которых отмечаются характерные признаки лексического развития. Уже из приведенных замечаний следует, что при лексикографическом описании словарного состава нельзя забывать о таких явлениях, как, например, расширение/сужение значения слова, увеличение/уменьшение синонимии (*polylexia*), отмирание слова или перестройка его семантики в связи с утратой реалии, стилистическая и семантическая специализация — как выражение функционального диапазона выразительных средств культурного или же литературного языка.

2. Лексикологическая проблематика лексикографии охватывает широкий круг вопросов, которые создают предпосылки лексикографического описания. Речь идет по существу о формальной и содержательной сторонах лексической единицы, а также о их взаимоотношениях. При объяснении основных лексикографических понятий (например, заголовочное слово, семантическая структура заголовочного слова) применяется комплексный подход. В дальнейшем мы будем характеризовать эти понятия с точки зрения лексикологической теории и потребностей лексикографического описания лексики исследуемого исторического периода. В рамках данной статьи мы можем только наметить самые важные проблемы, их более подробный анализ требует монографического исследования.

Заголовочное слово. Заголовочное слово в словаре выделяется на основе лексической единицы. Заголовочное слово является лексикографической единицей, понимание которой в известной степени определяет

ся типом словаря. Лексическую единицу мы понимаем в соответствии с лексикологической теорией и исходим из следующего определения: слово есть единица ббльшая, чем морфема, и меньшая, чем словосочетание; она характеризуется единством формальной и лексико-семантической стороны, вступает в отношения с другими единицами языка и используется в соответствующем языковом обществе как средство коммуникации [6, с. 20—21]. Если речь идет об отношении этих двух понятий (заголовочное слово и лексическая единица), в лексикологической практике применяется тройное решение: а) заголовочное слово совпадает с понятием лексической единицы (правда, под ним понимается всегда только однословная лексема), б) за отдельное заголовочное слово не принимается выражение, не представляющее собой лексической единицы, в) заголовочное слово не соответствует понятию лексической единицы [6, с. 20].

Более частым является случай, когда заголовочное слово отождествляется с однословной лексемой. Словами, не имеющими характера морфемы, считаются также предлоги и союзы; возвратная частица *sa/si* в возвратных глаголах не считается отдельным членом синтагмы (ср. заголовочные слова *ponáh'at'sa*, *všimnú't'si*, *zdat'sa*. Словами, едиными с точки зрения лексического значения, считаются и слова с расчлененной смысловой структурой. За слово, единое с формальной стороны, принимаются и слова с самыми незначительными различиями: а) фонетическими (слвц. *frajmak*, *frajmok*, *frajmark*; ст.-чеш. *donid*, *doniž*, *doňaž*); б) морфологическими (слвц. *ulica*, *ulic*; ст.-чеш. *manželstvo*, *manželství*); в) словообразовательными (слвц. *dedizna*, *dedovizna*). При оценке формальной близости лексем языковая ситуация так разнообразна, что трудно применить один принцип даже в словаре одного типа, ср., например, слова с одним и тем же этимологом, но заимствованные различными путями и в разное время (слвц. *kaštieľ' : kostol* — различные значения, два заголовочных слова *farba : barva* — одинаковое значение, одно заголовочное слово).

Так как в предкодификационный период не существовало устойчивой литературной нормы, и, например, процессы развития словарного состава из своих и чужих источников проходили достаточно стихийно, в определении формы заголовочного слова в славянских исторических словарях нет единого принципа: в качестве заголовочного слова подаются в упрощенной графике фонетические варианты, засвидетельствованные в исторических памятниках (Старопольский словарь [7], Староукраинский словарь XIV—XV вв. [8]), в качестве заголовочного слова может приводиться форма слова, какой она засвидетельствована в конце обрабатываемого словарем периода (Словарь русского языка XI—XVII вв. [9]), в Старочешском словаре заголовочное слово имеет стандартизованную форму, которая предполагается для 1300 г., в подготавливаемом Историческом словаре словацкого языка исторически засвидетельствованные формы приводятся как фонетические, морфологические и словообразовательные варианты при заголовочном слове, а заголовочное слово, которое имеет современную литературную форму, является лишь практическим ориентировочным средством упорядочения материала.

Самостоятельным заголовочным словом не являются многословные типичные сочетания (слвц. *fiškálska žaloba* «судебный иск», *klást' prisažnú povinnosť* «присягать на верность»), они разрабатываются при определяемом, а иногда и при определяющем слове. Лексические омонимы, т. е. слова, сходные только своей формальной стороной (слвц. *futro¹* «корм для скота», *futro²* « меховая подкладка», *futro³* «косяк у окна, двери»), и синонимы, слова сходные по значению (слвц. *boženík*, *prisediaci*, *prisažný*, *radný* «член более узкого сельского, городского, столичного совета с определенными судебными и исполнительными полномочиями»), разрабатываются не в одной словарной статье, а под разными заголовочными словами.

Внимания заслуживает третья группа, в которой заголовочное слово по практическим соображениям определяется более широко, чем лексическая единица. В одной словарной статье обрабатываются и многочисленные самостоятельные лексические единицы, например, слово и его лексикализованное употребление в роли другой части речи (ср. слвц.: *malo-*

mocný, прил. — *malomocný*, сущ. м. р.; *prísazný*, прил. — *prísazný*, сущ. м. р.; *ale*, союз — *ale*, частица), слова со сходным значением, но различающиеся своим морфематическим строем (ст.-чеш. *než, nežli*), некоторые типы производных слов, в случае, если их смысловое ядро не изменяется [*granát, -ový, -ik; / gróf, -ov, -ka, -in, -(ov)ský*].

Этими лексикографическими приемами словари часто отличаются друг от друга; гнездовой способ расположения слов используется обычно в словарях малого типа. Обратим внимание еще на одну проблему. Границы между полисемией и омонимией в лексическом развитии, а следовательно, и при его лексикографическом описании не всегда достаточно очевидны (ср., например, слов. *huncút* 1. «подлец»..., 2. «проказник»; *chybný*¹ 1. «имеющий недостаток, несовершенный, ущербный», 2. «неправильный, ошибочный» — *chybný*² «такой, в котором что-л. отсутствует, бедный чем-л.»); в случаях, когда при лексических, словообразовательных и морфологических омонимах и омонимах — частях речи смысловая связь еще ощутима, их разработка в одной словарной статье имеет свое обоснование. Состояние языка, однако, не делает возможным принятие единого и всеобщего лексикографического решения.

Важнейшее участие в языковом оформлении психического содержания принимают категориальные (интеграционные) признаки. Определенный ряд фонем / морфем включается во всеобщие формально-семантические категории языка высшего порядка, такие, как часть речи, словообразовательный тип, словообразовательное гнездо. Указания на категориальные признаки с помощью морфологических квалификаторов образуют надежную составную часть характеристики заголовочного слова. В больших исторических словарях мы найдем и указания на экстенциональные отношения заголовочного слова (синонимические и деривационные ряды), что делает более выразительной значимость слова в данной микросистеме, ср., например, Словарь польского языка XVI в. [10], проект Исторического словацкого словаря долитературной поры [11], отчасти Старочешский словарь [6]. Характерным признаком развития словарного состава славянских культурных языков была специализация лексического значения в терминологических целях. Ограничение терминологического содержания с соответствующим стилистическим квалификатором дается за исходным, стилистически немаркированным лексическим значением.

Построение словарной статьи. Центральной задачей лексикографического описания является постижение смысловой структуры слова на уровне языковой системы. Несмотря на слабые стороны эвристической работы, от этой цели не должна отказываться и историческая лексикография. Лексикографическая практика в этом отношении неодинакова. Во введении к Староукраинскому словарю XIV—XV вв. [8, с. 13] упоминается, что исторический словарь является словарем к текстам, в которых слово употребляется в контекстном значении; но сам словарь, сделанный с большой тщательностью, выходит за эти рамки. На уровне современной лексикологии стоит и концепция составителей Старочешского словаря.

При толковании и словарной обработке лексического значения оказывается плодотворным понятие парафразы [12, с. 4]. Парафраза возникает в результате преобразования лексемы/семемы в более сложную синтаксико-семантическую единицу, в которой отдельные признаки выражены самостоятельными лексическими элементами. Между лексемой/семемой и парафразой существует тем более высокая степень эквивалентности, чем больше компонентов семемы эксплицитно содержится в парафразе. Требованиям лексикографии отвечает так называемая дискурсивная дефиниция, основанная лишь на определенном отборе семантических признаков. Постигание семантической структуры слова в древний период предполагает комплексный семантический анализ, из результатов которого исходит описание структуры семантических признаков данной лексемы/семемы. Основой словарной дефиниции является, следовательно, структура семемы. Описываемое слово прежде всего причисляется к разряду высшего порядка (родовой признак), а потом вычленяются признаки, которыми определяемое слово отличается от других слов того же разря-

да (специфические признаки). Правда, вопрос о членимости лексического значения на семантические признаки не решен окончательно. Представляется, что с этой точки зрения можно различать три группы лексики. Центр образуют большей частью полисемичные слова основного словарного фонда с денотативно-сигнификативным значением. В этой группе слов лексическое значение понимается как иерархическая структура семантических признаков различной степени абстракции. Периферийную группу образуют, как указала, например, А. А. Уфимцева [13], конкретные существительные с денотативным значением (номенклатура и терминологические названия), а вторым разрядом являются абстрактные существительные с сигнификативным значением (научные понятия). У номенклатурных признаки когнитивной потенции слова не объединились в лексическое значение, у терминов и научных понятий мы ограничиваем содержание слова научной дефиницией. Между номенклатурой и разрядом слов с денотативно-сигнификативным значением существует переходная зона различных тематических групп. Их организация не однотипна. Они характеризуются широким диапазоном от членения близкого лексико-семантическим принципам частных систем основного словарного фонда до структурности, опирающейся на отношения в поименованной действительности [4, с. 56—57]. Из сказанного видно, что при языковом оформлении психического содержания отдельные смыслообразующие факторы действуют неодинаково. При номенклатуре и терминологических названиях главным смыслообразующим фактором является означаемая действительность (характеристика значения ориентируется на постижение содержания понятия), при мотивированных словах им является форма лексемы (на нее опирается структурное значение), при предлогах, союзах, прилагательных, глаголах основным смыслообразующим фактором является связанность с другими единицами в языковом контексте [6, с. 24 и сл.]. Как известно, одной формой в языке можно выразить различное содержание и одно содержание может быть связано со многими формами. Как при лексикологическом анализе необходимо сочетать ономаσιологический и семасиологический аспекты, так и при четком разграничении и парафразе лексического значения в словарях необходимо учитывать также отношения лексического элемента в частной системе [4]. Внутрисистемное сопоставление относится к важным приемам и в исторической лексикографии. Интенциональные отношения заголовочного слова получают свое выражение при лексикографическом описании в парафразе лексического значения, экстенциональные отношения в эксплицитной ссылке на его включение в частные системы.

Способ фиксации лексико-семантического развития в лексикографическом описании остается неизменно актуальной задачей. Необходимо выработать свое отношение к проблемам, свойственным самому языку. Например, в полисемичной смысловой структуре обнаруживаются семемы, которые не имеют твердой опоры в формальных показателях; семантическая валентность иногда бывает формальным показателем различия семем, но ее последовательное проведение наталкивается в малых словарях на технические трудности; с техническими трудностями мы встречаемся и при использовании в словаре большого числа исторических контекстов, что, однако, обосновано, если надо документировать лексему/семему, представленную только в самом древнем материале (при отмирании лексического элемента) или в самом новом материале (при возникновении новых лексико-семантических элементов.) Если удастся установить развитие системы значений слова от исходного конкретного значения к абстрактному (хотя возможно и обратное движение) и к терминологически специализированному, стилистически маркированному значению в последовательности семем, само членение системы значений слова указывает на семантическое развитие. Языковое значение слова обуславливает его лексическую сочетаемость, а изменения лексической сочетаемости сигнализируют о новых движениях значения; поэтому замещение регулярных позиций смысловыми классами актантов должно быть документировано историческим материалом и в малых типах словарей.

Лексикографическое описание единиц словарного состава как элементов лексико-семантической системы делает возможным заполнить пробелы в историческом цитатном материале на основе анализа системных отношений. Например, можно реконструировать (обозначив это соответствующим способом) исходную форму существительного, а также прилагательного — по засвидетельствованной уменьшительной форме, субстантив — по засвидетельствованному производному прилагательному, незасвидетельствованный член видовой пары, словообразовательное значение — по представленному переносному значению мотивированного слова и т. п. [15].

3. Нельзя обойти молчанием тот факт, что между состоянием языковой системы и ее лексикографическим описанием существует определенное напряжение. Языковое развитие имеет непрерывный характер, и его результатом являются динамические отношения языковых элементов и явлений на каждом синхронном срезе (правомерно говорить о центре, периферии и переходных явлениях); при этом существуют выразительные различия в характере протекания изменений в области лексики и лексической семантики по сравнению с медленным ходом изменений в грамматической и фонологической системах. Вспомним, например, взаимные переходы между частями речи, колеблющуюся границу между свободными, типичными и лексикализованными сочетаниями, неотчетливые границы между семемами, совсем не выраженные в формальном отношении. В лексикографическом описании явления и отношения классифицируются и подаются в принципе как дискретные. Обычно документируются явления типичные, более центральные, меньше внимания уделяется явлениям периферийным и переходным. Этим до известной степени затемняется одна из характернейших черт языковой системы, а именно ее динамичный характер. Поэтому не случайно в последнее время все более и более подчеркивается потребность целеустремленного переноса результатов новых лексикологических исследований в лексикографическую практику [6]. Это обоснованное требование будет выполнено тогда, когда с помощью лексикографического описания удастся исследовать системные и периферийные явления в их относительной полноте и динамической противоречивости.

Перевела со словацкого *Романова Г. Я.*

ЛИТЕРАТУРА

1. *Filipec J.* K otázce sémantického popisu lexikálnich jednotek.— SaS, 1973, 34.
2. *Blanár V.* Lexikálno-sémantická problematika historického slovníka slovenského jazyka.— In: Jazykovedné štúdie, 1982, 7.
3. *Wojtak G.* Untersuchungen zur Struktur der Bedeutung. Ein Beitrag zu Gegenstand und Methode der modernen Bedeutungsforschung unter besonderer Berücksichtigung der semantischen Konstituentenanalyse. 2. Aufl. Berlin, 1977.
4. *Blanár V.* Lexikálno-sémantická rekonštrukcia. Bratislava, 1984.
5. *Blanár V.* Vývin slovenskej slovnej zásoby v predkodifikačnom období.— Slovenská reč, 1983, 48.
6. *Staročeský slovník. Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek. I.* Praha, 1968.
7. *Słownik staropolski.* Red. Urbańczyk S. Zesz. 1—52. Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk, 1953—1980.
8. *Словник староукраїнської мови XIV—XV ст. Т. I—II.* Ред. Гумецька Л. Л. Київ, 1977—1978.
9. *Словарь русского языка XI—XVII вв.* Вып. 1—6. Гл. ред. Бархударов С. Г., ред. Богатова Г. А.; Вып. 7—10. Гл. ред. Филин Ф. П., ред. Богатова Г. А. М., 1975—1983.
10. *Słownik polszczyzny 16 wieku. T. 1—14.* Red. Bak St. i in. Wrocław—Warszawa—Kraków — Gdańsk—Łódź, 1966—1982.
11. *Slovenský historický slovník z predpisovného obdobia. Ukážkový zôšit.* Bratislava, 1973.
12. *Probleme der semantischen Analyse. (Studia grammatica, 15).* Berlin, 1977.
13. *Уфимцева А. А.* Типы словесных знаков. М., 1974, с. 115—116.
14. *Pisárčiková M.* Spôsob sémantického opisu slovnej zásoby v Krátkom slovníku slovenského jazyka.— Kultúra slova, 1984, 18.
15. *Němec I.* Rekonstrukce lexikálního vývoje. Praha, 1980.
16. *Herberg D.* Neuere Erkenntnisse zu den Strukturprinzipien von Wortbedeutungen und ihre Widerspiegelung in Wörterbüchern.— In: Wortschatzforschung heute. Aktuelle Probleme der Lexikologie und Lexikographie. Leipzig, 1982.

КОЗЫРЕВ В. А.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО И ДИАЛЕКТНОГО
СЛОВАРЕЙ

Задачу воссоздания истории отдельного слова и всего словарного состава языка лексикографическими средствами ученые в настоящее время связывают «с с и с т е м о й словарей исторического цикла (этимологических, исторических, диалектных, историко-этимологических, диалектных с историческими данными), способных в совокупности обеспечить прочтение истории слова каждого языка с необходимой для специалиста глубиной и мерой подробности» [1]. И если в начале 60-х гг. реальное состояние словарной работы было таковым, что Ф. П. Филин, определяя основную цель, к которой должна стремиться славянская лексикография (создание «словарных документов, которые заключали бы в себе непрерывность хронологических и территориальных „координат“ отдельного слова и всей лексики в целом»), с сожалением отмечал, что «лексикографы пока еще далеки от этой цели» [2], то уже к 80-м гг. в русской исторической лексикографии сложилась система словарей исторического цикла, «которые в совокупности дают сейчас исследователю наиболее полный материал по истории слова в устной и письменной форме его бытования» [3]. Прежде всего имеются в виду такие фундаментальные лексикографические труды, как Этимологический словарь славянских языков [4] (далее — ЭССЯ), Словарь русского языка XI—XVII вв. [5] (далее — СлРЯ XI—XVII вв.), Словарь русских народных говоров [6]. К сводному диалектному словарю, каковым является Словарь русских народных говоров, примыкают, дополняя его, многочисленные региональные словари, среди которых особое место занимают диалектные словари полного типа: Псковский областной словарь с историческими данными [7], Словарь брянских говоров [8], полудифференциальный Словарь современного русского народного говора [9], а также наиболее крупные дифференциальные словари: Архангельский областной словарь [10], Словарь смоленских говоров [11] и некоторые другие [12—16]. Каждый из этих словарей имеет самостоятельное научное значение, по ценности каждого из них значительно возрастает в лексикографическом комплексе, представляющем «историческую лексикографию как жанр» [17], слагаемый из этимологической, собственно исторической и диалектной лексикографии. Наличие системы словарей исторического цикла обеспечивает возможность не только проследить историю отдельного слова, групп слов и т. д., но и восполнить те лакуны, которые по тем или иным причинам неизбежны в каждом из словарей. Так, при отсутствии или недостаточности письменных свидетельств прошлых эпох диалектный словарь приобретает особое значение в лексикографическом комплексе сведений о языке. Письменная судьба слова, как известно, не всегда соответствует его реальной истории. Современным диалектам известны многие древнерусские слова, которые либо вообще не нашли отражения в письменности, либо представлены в ней единичными примерами. В этом случае диалектный словарь является одним из основных источников их ретроспективного изучения. При этом, однако, ретроспекция диалектного словаря должна по возможности подкрепляться показаниями этимологического и собственно исторического словарей.

В качестве материала, иллюстрирующего возможности сопоставительного изучения исторического и диалектного словарей, в настоящей статье используется лексика «Слова о полку Игореве (далее — «Слово»). Обращение к словарному составу этого памятника как основе такого сопостав-

ления тем более показательны, что завершено уникальное филологическое издание — Словарь-справочник «Слова о полку Игореве» [18], подводящий известные итоги и намечающий новые перспективы в изучении языка памятника. Поставив перед собой задачу сопоставительного изучения словарного состава «Слова о полку Игореве» и лексики современных русских народных говоров, автор статьи обратился к поискам в живой народной речи словарных соответствий к лексике «Слова», которая не сохранилась в современном русском литературном языке. Основным источником для выявления такого рода параллелей послужили данные всех опубликованных диалектных словарей, а также материалы наиболее крупных диалектных словарных картотек¹, в первую очередь КСБГ, в которой представлены сведения по говорам той территории или сопредельной той, где происходили описываемые в «Слове» события. В результате обнаружены соответствия более чем к ста пятидесяти лексемам памятника². Из них наибольший интерес, естественно, представляют параллели к той лексике, которая, кроме «Слова», нигде более не отмечена.

В вышедших выпусках СлРЯ XI—XVII вв. (А—Н) содержится около пятидесяти случаев, когда иллюстративная часть словарной статьи представлена лишь примерами из «Слова», поскольку в других памятниках соответствующие слова или значения не обнаружены. Сопоставление исторического и диалектного словарей³ показывает, что значительная часть той лексики, которая отмечена только в «Слове» и не встречается более ни в одном другом письменном памятнике, имеется в современных русских народных говорах. Ср., например: *болого* «добро, доброе дело» [5, вып. 1, с. 282] — яросл.⁴, твер., новг., влад., нижегор., костр., волог., вост.-сиб., тобол., том., забайк., иркут. *б'олого* «хорошо; хорошо что» [6, вып. 3, с. 76], брян. *болог'о* «хорошо» [8, вып. 1, с. 67], яросл. *б'олог'о* «хорошо; хорошо что» [15, вып. 2, с. 10]; *болонь* «низменное поречье» [5, вып. 1, с. 282] — *болонь* брян. «низменная луговая равнина у реки или у озера, заливаемая водой» [8, вып. 1, с. 67], смол. «низкая луговая равнина у реки, озера, заливаемая водой» [11, вып. 1, с. 217], «низкое болотистое место; болотце» [6, вып. 3, с. 78]; *бусовь* (*бусувь*) «серый» [5, вып. 1, с. 359] — приамур. *бусовый* «серый» [16, с. 32]; *былина* «то, что действительно было, быть» [5, вып. 1, с. 364] — *былина* брян. «то, что было в действительности, происходило в прошлом; быть, бывшее» [8, вып. 2, с. 28], казан., вят., арх. «истинное происшествие, быть» [6, вып. 3, с. 344]; *в'трило* «ветер» [5, вып. 2, с. 125] — брян. [8, вып. 2, с. 51], смол. [11, вып. 2, с. 36], пск. [7, вып. 3, 128] *ветрило* «сильный ветер»; *возграти* «громко каркать, оглашать граем» [5, вып. 2, с. 281] — брян. *возграт'ься* «начать каркать (о вороне)» [8, вып. 3, с. 39]; *взлел'яти* «взростить, выпестовать» [5, вып. 2, с. 153] — брян. *взлел'ять* и *взлел'ять* «воспитать, взростить, выпестовать» [8, вып. 3, с. 24]; *гн'здо* «род, потомство»⁵ [5, вып. 4, с. 43] — брян. *гн'здо* «происхождение, род» [8, вып. 4, с. 27]; *гразивый* «топкий»⁶ [5, вып. 4, с. 149] — брян. *гразивый* «болотистый,

¹ Картотека! Словаря русских народных говоров (далее — КСРНГ), хранящаяся в Словарном секторе ЛО Института языкознания АН СССР; Картотека Псковского областного словаря с историческими данными (далее — КПОС), хранящаяся в Межкафедральном словарном кабинете им. проф. Б. А. Ларина в ЛГУ им. А. А. Жданова; Картотека Словаря брянских говоров (далее — КСБГ), хранящаяся в Словарном кабинете им. проф. В. И. Чагишевой в ЛГПИ им. А. И. Герцена; Картотека Словаря смоленских говоров (далее — КССГ), хранящаяся в Смоленском гос. педагогическом институте; Картотека Словаря орловских говоров (далее — КСОГ), хранящаяся в Орловском гос. педагогическом институте.

² Часть этих параллелей в свое время была введена автором в научный оборот [19]. Выход в свет новых словарей исторического цикла предоставляет возможность и обуславливает необходимость их более детального рассмотрения в лексикографическом комплексе.

³ Под диалектным словарем понимается вся совокупность русских диалектных словарей и их картотек.

⁴ Здесь и далее языки и диалекты приводятся в сокращениях, принятых в ЭССЯ.

⁵ Кроме «Слова», в этом значении *гн'здо* употреблено лишь в «Задоянине» [5, вып. 4, с. 43—44], где, как полагают, этот образ является вторичным [20].

⁶ Наряду со «Словом», прилагательное *гразивый* отмечено в качестве наименования — по *Грязивои р'бчк'б* [18, вып. 1, с. 183].

топкий» [8, вып. 4, с. 69]; *жирь* «богатство, довольство» [5, вып. 5, с. 113] — брян. *жир* «достаток, богатство» (КСБГ); *жирный* «обильный» [5, вып. 5, с. 113] — орл., тамб., ворон., сарат. *жйрный* и *жирной* «большой, обильный» [6, вып. 9, с. 183], брян. (КСБГ), пск. (КПОС) *жйрный* «обильный»; *закладати* «закрывать» [5, вып. 5, с. 210] — *закладать* брян. «закрывать, запирать» (КСБГ), курск., смол., орл. «закрывать, запирать (с помощью какой-либо задвижки, запора)» [6, вып. 10, с. 126]; *зарание* «утро, рассвет» [5, вып. 5, с. 286] — брян. *зарание* «раннее утро» (КСБГ), зап.-брян. *заранне* «утро» [21, с. 111]; *кикати* (*кыкати*) «покрикивать, кричать» [5, вып. 7, с. 122] — *кйкать* брян. «кричать» (КСБГ), ю.-сиб., волог., арх., беломор., колым. «кричать (о птицах)», волог. «кричать, понукать животное, гикать» [6, вып. 13, с. 204], *кйкать* ю.-сиб., амур., иркут., перм. «кричать (о лебедях, реже — гусях)» [6, вып. 16, с. 200]; *кнесь* «балка, поддерживающая потолок, матица» [5, вып. 7, с. 195] — *кнес* брян. (КСБГ), смол. (КССГ) «матица»; *лжа* (*лъжа*) «несогласие, раздор, вражда» [5, вып. 8, с. 225] — брян. *лжа* «раздор, несогласие» (КСБГ); и мн. др.

Расширение сравнительного изучения словарного состава «Слова» за счет привлечения данных современных русских народных говоров значительно обогащает ту фактическую базу, на которой основывается толкование лексики памятника.

Так, например, до сих пор вызывает противоречивые толкования словосочетание *босый влъкъ*, не отмеченное ни в одном другом памятнике ⁷: *А Игорь князь поксочи горностаемъ къ тростию, и бълымъ гоголемъ на воду; въврѣжеса на бръзъ комонь, и скочи съ него босымъ влъкомъ, и потече къ лугу Донца...* ⁸. Отсутствие соответствующих данных породило множество противоречивых суждений ⁹. Большинство исследователей исправляет *босый* на *бусый* и толкует его как «серый» ¹⁰. Другие, не сомневаясь в текстологической достоверности словосочетания *босый влъкъ*, значительно расходятся в его истолковании. Вопрос о семантике древнерусского имени прилагательного *босый* (в сочетании *босый влъкъ*) до сих пор по существу остается открытым. Даже в специальном издании — Словаре-справочнике «Слова о полку Игореве» — оно толкуется предположительно и весьма неопределенно: *босый* — «белоногий (?)», *босый влъкъ* — «необыкновенный; быстрый» [18, вып. 1, с. 64]. Аналогично в СлРЯ XI—XVII вв.: *босый* — «белоногий (?)». Быстрый, необыкновенный (?) [5, вып. 1, с. 302].

Показания современной русской диалектной речи свидетельствуют о реальности этого уникального словосочетания, поддерживая тем самым правоту его бесконъектурного прочтения в Словаре-справочнике «Слова о полку Игореве» и в СлРЯ XI—XVII вв., а также позволяют высказать некоторые соображения относительно его значения. В брянских говорах имя прилагательное *ббсый* (в сочетании *ббсый волк*) широко употребляется для обозначения характера волосяного покрова волка после весенней линьки: *ббсый волк* — «волк, сбросивший, сменивший шерсть в период линьки» [8, вып. 1, с. 74] ¹¹. Указанная семантика лежит в основе бытующего в брянских говорах сравнения *как ббсый волк* (букв. «как волк после линьки, сбросивший шерсть и ставший более легким на ходу», перен.: «быстрый, резвый») — для характеристики бегущего чело-

⁷ В письменности известно имя собственное *Босоволковъ*, зафиксированное в летописи под 1347 г. [18, вып. 1, с. 65].

⁸ Здесь и далее «Слово» цит. по тексту, приведенному в Словаре-справочнике «Слова о полку Игореве» [18, вып. 1, с. 15—25].

⁹ Свод основных гипотез см. [18, вып. 1, с. 64—65; 18, вып. 6, с. 205—206].

¹⁰ Основание для такой конъектуры усматривается в наличии русского диалектного прилагательного *ббсый* и *ббсбй* «серый, пепельный, дымчатый» [6, вып. 3, с. 306; 8, вып. 2, с. 27; 10, вып. 2, с. 187; 11, вып. 1, с. 297; 13, с. 48, 49; 14, с. 32; 16, с. 71].

¹¹ Например: *Ббсый волк кадъ шэрсть тирлит — вот ббсый волк, шэрсть збръсьветъ вясной, зимой былъ сёрый, а збрбсил, стал ббсый, билаватый, билявый дѣльцица, он аблягчился, ажывлѣнный дѣльцица вясной, бѣгътиъ быстрѣя* (Брянская обл., Карачевский р-н, Ружное).

века [8, вып. 1, с. 74]¹². Ср. также известное псковским говорам словосочетание *ббсый волк*, где *ббсый* — «быстрый, резвый» [7, вып. 1, с. 131]. Семантика диалектного *ббсый* (о волке) в свою очередь выводима из значения «голый, лишенный растительного покрова (шерсти, волос)», с которым имя прилагательное *ббсый* также бытует в брянских говорах (КСБГ)¹³.

Приведенные диалектные материалы находят подтверждение в этимологической лексикографии. Так, по данным ЭССЯ, праслав. **bosъ* обнаруживает родственные образования в литов., герм., др.-исл., др.-сакс., англос., др.-в.-нем., арм., греч., хетт. — «все в конечном счете из и.-е. **bhoso-s* „голый“. Это древнее более широкое знач. может сохраняться в слав. в виде остаточного употребления, ср. укр. чоловік з *босою* губою „мужчина с голой губой“, т. е. „без усов“ [4, вып. 2, с. 223]. Брянские материалы указывают на то, что это древнее значение представлено на славянской территории более широко¹⁴.

В свете приведенных диалектных материалов, подкрепленных данными этимологии, сравнение в памятнике князя Игоря, бегущего из плена, с босым волком, т. е. «быстро, резво, стремительно», приобретает реальный смысл.

Введение диалектных материалов в круг сравнительного изучения лексики «Слова» позволяет обратиться к толкованию не только отдельных лексем, но и целых отрывков текста, которые до сих пор остаются неясными.

Так, не вполне понятна фраза *За нимъ кликну Карна, и Жля поскочи по Руской земли, смагу людемъ мычючи въ пламянь розъ*¹⁵, следующая за сообщением автора «Слова» о гибели Игоря войска.

Прежде всего по-разному толкуются слова *Карна* и *Жля*. Существует мнение, восходящее к первому изданию памятника, что здесь речь идет о половецких ханах. Более распространенным является взгляд на слова *Карна* и *Жля* как на олицетворение печали, скорби. Именно такое толкование представлено в Словаре-справочнике «Слова о полку Игореве»: *Жля* — «олицетворение скорби» [18, вып. 2, с. 87]; *Карна* — «олицетворение печали, скорби» [18, вып. 2, с. 178]. Эта точка зрения нашла отражение и в СлРЯ XI—XVII вв.: *Жля* — «олицетворение печали, скорби» [5, вып. 5, с. 120]¹⁶. Однако такое толкование подтверждается в письменности лишь косвенными данными: *жаль* — «горе, печаль» [5, вып. 5, с. 74], *желя* — «печаль, горе» [5, вып. 5, с. 86], *карити* — «оплакивать умершего» [5, вып. 7, с. 80]. Прямые соответствия словам *Карна* и *Жля* в известных нам памятниках не отмечены.

Диалектные материалы указывают на наличие в русских народных говорах параллелей по крайней мере к одному из этих двух гапаксов «Слова». Так, современным брянским говорам известны имя существительное *карна* «печаль, скорбь», имя прилагательное *карный* «печальный, скорбь-

¹² Например: *Ну пабѣх, как ббсый волк, што ни дагбниш, кто шьпка пабѣх, нъ тагб сѣжют: пабѣх, как ббсый волк, и ни дагбниш* (Брянская обл., Карачевский р-н, Ружное).

¹³ Например: *Стривѣл минѣ волк, но ни ббсый, а лахмѣтый. Я отстѣла. «Скажѣ куманѣк...» Малѣтвы забѣла у страстьх чѣм зря. Ой, кум-волк стрел минѣ, лѣск зубѣми* (Брянская обл., Брасовский р-н, Виженка); *Так ббсѣя ж гѣлавѣ у нѣво, ни вѣласѣнки* (Брянская обл., Навлиньский р-н, Навля).

¹⁴ В этой связи небезынтересно привести употребление имени прилагательного *босый* с аналогичной семантикой в романе А. Толстого «Петр Первый»: «В конце стола суетился полячок-дирижёр, намыливая¹ остриженные бороды, брил... Зеркало подставлял, проклятый, чтобы изувеченный боярин взглянул на босое, с кривым ребячьим ртом, срамное лицо свое...» (кн. 1, гл. 18); «Врешь! Истинную несешь небыллицу, князь Маргын! — Роман Борисович всем телом повернулся на лавке, навесив брови, засверкав взором (ах, не босые бы щепки, кривоватый голый рот, — совсем бы страшней был князь Роман) ...» (кн. 2, гл. 4).¹

¹⁵ Подборку основных толкований этой фразы см. [18, вып. 2, с. 87—89, 178; 18, вып. 5, с. 177—180; 18, вып. 6, с. 221, 238].

¹⁶ Слово *Карна* в СлРЯ XI—XVII вв. пропущено.

ный», безлично-предикативное наречие *карно* «горько, мучительно, тягостно» (КСБГ) ¹⁷.

Судя по показаниям ЭССЯ, приведенные факты русской диалектной речи не являются изолированными в славянском языковом мире. Ср. серб.-хорв. *карња* «ругань, брань, ссора», ст.-чеш. *kárna* «мука, мучение», на основании которых (а также имея в виду др.-русск. *Карна*), О. Н. Трубачев реконструирует праслав. **karъna* как производное с суф. *-ъna* от глагола **kariti* [4, вып. 9, с. 155]. В свою очередь праслав. **kariti* (*se*) реконструируется на основании серб.-хорв. *карити* «сердить, злить», *ка̀рити се* «сердиться, злиться», диал. *ка̀рит* «огорчать, сердить», др.-русск. *карити* «оплакивать», русск. диал. *ка̀ритъ* «упрекать, выговаривать» (ряз., брян.), *ка̀рится* «жаловаться» (ряз.) [4, вып. 9, с. 153—154]. Указанное сближение **karъna* с **kariti* позволяет (в связи с толкованием др.-русск. *Карна*) дополнить аргументацию следующими брянскими параллелями: *ка̀ритъ* «печалиться, скорбеть; оплакивать умершего» (КСБГ) ¹⁸.

Таким образом, диалектные данные, соотнесенные с материалами ЭССЯ, СлРЯ XI—XVII вв., свидетельствуют о реальности, достоверности древнерусского слова *Карна* и о правомерности его истолкования в памятнике как «олицетворение печали, скорби».

Представление о словах *Карна* и *Жля* как об олицетворении печали, скорби требует особого осмысления в этом контексте словосочетания *смагу мыкати*.

Убедительного толкования слова *смага*, несмотря на специальный интерес к нему комментаторов памятника, до сих пор не дано. Достаточно сказать, что в Словаре-справочнике «Слова о полку Игореве», где обобщены итоги более чем полуторавековой исследовательской работы над текстом памятника, слово *смага* вообще не толкуется и сопровождается вопросительным знаком [18, вып. 5, с. 175]. Если же обратиться к тем предположениям, которые выдвигались в процессе изучения «Слова», то становится очевидным, что в толковании слова *смага* обычно исходят из семантики слов *Карна* и *Жля*. В частности, сторонники мнения о двух половцевких ханах объясняли слово *смага* как «живой огонь» половцев, о котором упоминается в Ипатьевской летописи под 1184 г. [22]. Те исследователи, которые усматривают в словах *Карна* и *Жля* олицетворение печали, скорби, обычно имеют в виду под «мыканием смаги» какой-либо погребальный обычай, связывая слово *смага* с горящими углями, горячей головней погребального костра, и т. д. При всей несхожести этих толкований они имеют общее звено: семантика слова *смага* соотносится в них с понятием «огонь, пламя».

Действительно, **smaga* и родственные ему образования этимологически связаны с семантикой «огонь» (ср., например: греч. *σμήω* аор. страд. *ἔσμήθη* «сжигая медленным огнем»), но на славянской почве они прослеживаются в производных значениях, так или иначе соотносимых с исходным, например: словен. *smága* «смуглая кожа», чеш. *smaha*, *smáha* «жар, зной, ожог», в.-луж. *smaha* «загар», н.-луж. *smaga* «ожог», польск. *smaga* «сухость во рту», укр. и блр. *смáга* «сухость на губах; жажда» и др. Помимо этих значений, корнеслов развивает и более широкую семантику, например: словен. *smágniti*, *smágnem* «изнывать от тоски» [23].

Аналогичная картина наблюдается и в русских народных говорах. На многозначность слова *смáга* в свое время указывал еще В. И. Даль [24]. Новые диалектные материалы значительно расширяют наши представления о семантике и распространении слова *смáга* в русских народных

¹⁷ Например: *У меня брaтeц пaгнѣн, тѣк я и тяпѣрь плaчю на нѣм, кaрна мeня глaдбeтъ на нѣм* (Брянская обл., Трубчевский р-н, Кветуль); *Мaткa нѣ дятѣнку тaмнѣтъ, кaрнѣя сидѣтъ, душa жѣ балѣтъ нѣ дятенку* (Брянская обл., Карачевский р-н, Емельяново); *Штo ш тѣ? Кaрна мнe, a тѣ ни жалѣиш* (Брянская обл., Брасовский р-н, Перескоки).

¹⁸ Например: *Кaрю нѣ свѣямѣ вѣнѣку, скучѣю, вaлнѣюсь* (Брянская обл., Трубчевский р-н, Кветуль); *Кaкѣи свaи гaдѣ не атжѣл — нѣ тaмѣ кaрѣт, a кaкѣи вeк свoи атжѣл — штo нѣ нѣмѣ кaрѣтъ: цaрствa бoжѣи, вѣчнѣи упaкѣи* (Брянская обл., Карачевский р-н, Емельяново).

говорах: брян. (КСБГ), смол. (КССГ), пск. (КПОС) «сухость на губах, во рту от жары, переутомления, болезни, сильного волнения и проч.»; брян. (КСБГ), калуж., смол. (КСРНГ) «жажда»; зап.-брян. «сильная жажда при сухости губ и во рту, налет на губах от сильной жажды, усталости и волнения» [24, с. 246]; брян. (КСБГ), смол. (КССГ) «изжога»; брян. (КСБГ), смол. (КССГ) «неприятное, вяжущее ощущение во рту»; брян. (КСБГ), орл. (КСОГ) «налет на губах и во рту»; курск. «налет, накипь на губах» (КСРНГ); брян. «пена на губах от болезни, переутомления и проч.» (КСБГ); смол. «влага на губах, накипь на губах от жара, трудов и болезни» [25]; орл. «темное пятно» (КСОГ); курск. «сажа на стенке» (КСРНГ); волог. «сажа, копоть, чернота» (КСРНГ); орл. «чад» (КСОГ); брян. (КСБГ), пск. (КПОС) «недомогание, усталость»; сарат. «горечь от безысходного горя, первый спазм в горле» (КСРНГ); брян. (КСБГ), пск. (КПОС) «горе»¹⁹. Ср.: калуж. *смагу принимать* «терпеть нужду, испытывать неприятность» (КСРНГ); брян. *смаговать* «горевать» (КСБГ)²⁰; смол. *смаженьку смаговать* «горевать, страдать» [26, с. 336]²¹; смол. *засмагуваться* «измучиться, истрадаться» [26, с. 647]²².

На основании приведенных материалов легко реконструируется семантическая история слова **smaga* от первичного «огонь» к переносному «горе»²³. Судя по имеющимся данным, развитие производных значений восходит к праславянской эпохе. В свете указанных выше фактов *смага* «горе» вполне возможно в древнерусском языке XII в., тем более что именно с такой семантикой оно в полной мере соответствует тексту «Слова»²⁴.

Предложенное толкование слова *смага*, а также данные о семантике слов *Карна* и *Жля* приводят к мысли о том, что глагол *мыкати* употреблен здесь не в своем обычном значении — «бросать, кидать, метать», как полагают составители СлРЯ XI—XVII вв. [5, вып. 9, с. 329], а в переносном, в котором он зафиксирован в письменности в составе устойчивого словосочетания *горе мыкати* «терпеть лишения, испытывать невзгоды» [5, вып. 9, с. 329]. В подтверждение можно привести брянские параллели: *смагу мыкати*, *смаженьку мыкати* — «терпеть лишения, испытывать невзгоды» (КСБГ)²⁵.

В результате становится более понятной та метафорическая картина, которую рисует здесь автор «Слова»: «А Игорева храброго полка не воскресить! По нему кликнула Скорбь, и Печаль поскакала по Русской земле, горе людям мыкая в пламенном роге».

Перечень такого рода примеров, основанных на сопоставлении исторического и диалектного словарей, легко может быть продолжен. Материалы русских народных говоров, привлеченные к комментарию лексики «Слова» (особенно той, которая вызывает споры), позволяют уточнить, дополнить толкования, а в ряде случаев по-новому трактовать отдельные лексемы памятника. Современные диалектные параллели к тем словам, которые являются вполне понятными и не вызывают разночрепных суждений, на новом материале подтверждают общепринятое их толкование. Наличие в народных говорах словарных соответствий к лексике «Слова о полку Игореве» указывает на органическую связь языка памятника с народной

¹⁹ Например: *Смага — горе, цылый век гарюю, смагую, цылый век* (Брянская обл., Клетвянский р-н, Алень); *При бираг-та ня жизнь былъ — смага; и при немуюх тобже таска, смерть* (Псковская обл., Порховский р-н, Шмойлово).

²⁰ Например: *Када бѣтстве, он гарюитъ, смагуютъ, чилавѣк пичьяльный, худа ямъ, смагуютъ чилавѣк* (Брянская обл., Клетвянский р-н, Мужиново).

²¹ Например: *А як маѣ дитятка / Да на чужой/Стыране:/Ти живеть, ти гарюитъ, Ти смажиньку смагуютъ?* (Смоленская губ., Ельвинский уезд, Злотова).

²² Например: *А уже мая душинька засмагувалася, /Голыду и холыду натярпелася,/ А усякий эта сваернысти напринималася* (Смоленская губ., Смоленский уезд).

²³ Как указывает О. Н. Трубочев, «родство значений „горе, печаль“ и „жечь, гореть, печь“ элементарно» [4, вып. 7, с. 40].

²⁴ Этому предположению не противоречит вторая, наряду со «Словом», случай употребления в русской письменности слова *смага*, относящийся к XII в. и иллюстрирующий производное значение — «сухость на губах» [18, вып. 5, с. 176].

²⁵ Например: *Смагу мыкъл върмякъый, дѣннѣй пици ни имѣл* (Брянская обл., Брянский р-н, Лопушь); *Мужѣк-та памѣр, астѣлсья я с малями дитяями мыкати смагу* (Брянская обл., Трубочевский р-н, Кветушь); *Ня жыли, а смажиньку мыкъли, съльдавали, пѣха, дѣтка, жыли* (Брянская обл., Карачевский р-н, Емельяново).

речью и является еще одним свидетельством того, что «„Слово“ не стоит обособленно» [27].

Материалы исторического и диалектного словарей, подкрепленные показаниями этимологического словаря, взаимно дополняют друг друга и в совокупности обеспечивают «всесторонний подход к истории слова, широкий языковой фон и „прочтение истории“ слова с той мерой подробности, потребность в которой может возникнуть у разных категорий обращающихся к словарям специалистов» [17, с. 81].

ЛИТЕРАТУРА

1. Богатова Г. А. Соотношение цитаты и словаря (об особенностях иллюстрирования слов и значений в словарях исторического жанра). — ВЯ, 1980, № 6, с. 56.
2. Филин Ф. П. О составлении диалектологических словарей славянских языков. — В кн.: Славянские языковедение. V Международный съезд славистов (София, сентябрь 1963): Доклады советской делегации. М., 1963, с. 318.
3. Богатова Г. А. О словарях исторического цикла и способах воссоздания семантической истории слова (70—80-е годы). — В кн.: Международный симпозиум по проблемам этимологии, исторической лексикологии и лексикографии. Москва, 21—26 мая 1984 г.: Тезисы докладов. М., 1984, с. 110.
4. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1—10. Под ред. Трубачева О. Н., М., 1974—1983.
5. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 1—10. Гл. ред. Бархударов С. Г. (вып. 1—6), Филин Ф. П. (вып. 7—10), ред. Богатова Г. А. М., 1975—1983.
6. Словарь русских народных говоров. Вып. 1—19. Гл. ред. Филин Ф. П., ред. Сороколетов Ф. П. М.—Л., 1965—1983.
7. Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1—5. Ред. Лебедева А. И. (вып. 1, 2, 4, 5), Мжельская О. С. (вып. 1, 2, 5), Глушкина С. М. (вып. 3, 4), Ивашко Л. А. (вып. 3), Корнев А. И. (вып. 4). Л., 1967—1983.
8. Словарь брянских говоров. Вып. 1—4. Ред. Чагишева В. И. (вып. 1, 2), Козырев В. А. (вып. 2—4). Л., 1976—1984.
9. Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области). Под ред. Осовецкого И. А. М., 1969.
10. Архангельский областной словарь. Вып. 1—2. Под ред. Гецовой О. Г. М., 1980—1982.
11. Словарь смоленских говоров. Вып. 1—3. Под ред. Ивановой А. И. Смоленск, 1974—1982.
12. Меркурьев И. С. Живая речь кольских поморов. Под ред. Богородского Б. Л. Мурманск, 1979.
13. Словарь русских говоров Новосибирской области. Под ред. Федорова А. И. Новосибирск, 1979.
14. Элиасов Л. Е. Словарь русских говоров Забайкалья. Отв. ред. Филин Ф. П., М., 1980.
15. Ярославский областной словарь. Вып. 1—2. Отв. ред. Мельниченко Г. Г. Ярославль, 1981—1982.
16. Словарь русских говоров Приамурья. Отв. ред. Филин Ф. П. М., 1983.
17. Богатова Г. А. Историческая лексикография как жанр. — ВЯ, 1981, № 1.
18. Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Составитель Виноградова В. Л. Вып. 1—6. Под ред. Богородского Б. Л., Ларина Б. А. (вып. 1), Лихачева Д. С., Творогова О. В. (вып. 2—6). Л., 1965—1984.
19. Козырев В. А. Словарный состав «Слова о полку Игореве» и лексика современных русских народных говоров. — В кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники древнерусской литературы (ТОДРЛ, т. XXXI). Л., 1976.
20. Слово о полку Игореве. 2-е изд. Л., 1967, с. 485 (Примеч. Творогова О. В.).
21. Расторгуев П. А. Словарь народных говоров Западной Брянщины (Материалы для истории словарного состава говоров). Ред. Романович Е. М. Минск, 1973.
22. Полное собрание русских летописей. Т. II. М., 1962, с. 634.
23. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Перев. с нем. и доп. Трубачева О. Н. Т. III. М., 1971, с. 682—683.
24. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. М., 1955, с. 230.
25. Добровольский В. Н. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914, с. 846.
26. Добровольский В. Н. Смоленский этнографический сборник. Ч. IV.— Зап. Русского географического общества по отделению этнографии. Т. 27. М., 1903.
27. Лихачев Д. С. Изучение «Слова о полку Игореве» и вопрос его подлинности. — В кн.: «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М.—Л., 1962, с. 39.

БУЛЫКО А. Н.

ИНОЯЗЫЧНАЯ ЛЕКСИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ
БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА

Совершенным можно считать такой исторический словарь, который отражает всю зафиксированную в письменных памятниках лексику. Однако в лексикографической практике в зависимости от задач словаря и возможностей их реализации наблюдается дифференцированный подход к различным типам лексического материала. В этом отношении не составляет исключения лексика иноязычного происхождения, отбор и обработка которой требуют от лексикографа особенно пристального внимания.

В языке памятников старобелорусской письменности XIV—XVIII вв., представляющих материал для исторического словаря белорусского языка, иноязычные лексические средства занимают заметное место. Генетически они связаны более чем с десятком языковых источников, оказывавших в древности непосредственное или опосредствованное влияние на письменную и устную формы белорусского языка. По количественным показателям наиболее существенную часть среди них составляют лексемы, приходившие из западных языков, что объясняется многими причинами социально-исторического, экономического и культурного характера.

На протяжении почти четырех столетий белорусский литературный язык развивался в условиях белорусско-польского двуязычия. Воздействие польского языка на белорусский началось уже в XIV в., когда после Кревской унии 1385 г. укрепился политический и военный союз Великого княжества Литовского и королевской Польши. Но особенно интенсивным стал приток польской лексики в белорусский язык во второй половине XVI в., после Люблинской унии 1569 г., в результате которой территория Белоруссии, как и все Великое княжество Литовское, оказалась в составе Речи Посполитой¹.

Почти одновременно с польским языком в Белоруссию начала проникать латынь. По примеру Польши, где использование латинского языка во всех сферах общественной и научно-культурной жизни имело давнюю традицию [2], его рано начали употреблять при оформлении местной документации и в дипломатической переписке с зарубежными странами. Со второй половины XVI в. латинский язык стал одним из основных предметов обучения в католических, униатских и даже православных братских школах [3]. Но основной сферой применения этого языка явилась научная литература, выпуску которой уделяли внимание многие польские типографии, основанные на территории Белоруссии [4].

Большое значение для пополнения старобелорусского словаря иноязычной лексикой имело распространение в Белоруссии идей Реформации. Это передовое для того времени гуманистическое течение, тесно связанное с западноевропейскими и польскими реформационными течениями, содействовало развитию на белорусских землях просвещения, науки, книгопечатания, повышалось интерес образованных кругов к античной культуре и культурному наследию европейского Возрождения [5]. Благодаря переводческой деятельности представителей белорусской культуры читателю стали доступны многие произведения западноевропейской художественной, научной и исторической литературы [6].

¹ Исследованию социально-исторических и культурных условий распространения польского языка в Белоруссии посвящена монография французского слависта А. Мартея [1].

Кроме укрепления всесторонних связей с Западом, в результате которых старобелорусская лексическая система обогатилась тысячами новых слов, белорусы на протяжении своей истории соприкасались и с другими народами. Наиболее продолжительным и прочным было общение с литовцами. Однако в то время как в старолитовском языке слова белорусского происхождения составили значительный слой [7], в старобелорусском литературно-письменном языке литовская лексическая струя ограничилась лишь несколькими десятками лексем. Это объясняется тем, что белорусский язык выступал в Великом княжестве Литовском в качестве официального, а белорусские земли составляли основу его экономического могущества. Малоаметным оказался и тюркский вклад в белорусский словарь. Сравнительно небольшим на протяжении XIV—XVIII вв. был также приток в белорусский словарь грецизмов, хотя лексика греческого происхождения, употреблявшаяся в старобелорусском литературно-письменном языке, составляла значительный слой. Но основная часть ее, связанная, как правило, со сферой религиозной жизни, адаптировалась уже в древнерусском языке, когда после принятия христианства интенсивно формировалась православная церковная терминология. В период же самостоятельного развития восточнославянских языков в новых религиозных терминах православного направления почти не было нужды, поэтому греческая лексическая струя в старобелорусском языке существенно сузилась. Несколько оживляли ее лишь лексические единицы из области науки и культурной жизни, которые поступали преимущественно через переводы с греческого языка религиозной и научной литературы.

В числе иноязычных слов, являющихся объектом исторического словаря белорусского языка, основную часть составляют заимствования. Их вклад в словарный состав старобелорусского языка был внушительным как со стороны количественного роста необходимых средств выражения, так и в отношении качественного улучшения коммуникативной способности языка. Заимствования, число которых за более чем четырехвековой период иноязычного воздействия составило около 4000 самостоятельных словарных единиц, дополнили в лексической системе старобелорусского языка почти все семантические звенья, поставив его в один ряд с наиболее развитыми европейскими языками того времени. Появление многокомпонентных синонимических рядов значительно повысило дифференциацию и стилистическую гибкость языка, дало возможность выражать различными лексическими единицами абстрактные и конкретные понятия.

Становление основных лексических членений — лексико-семантических разрядов и групп происходило прежде всего в результате изменения социально-экономических и культурно-исторических условий жизни белорусского народа. В семантическом отношении заимствованные слова распределились по ряду функциональных сфер, охватывающих в своей совокупности почти все стороны человеческой деятельности и окружающей действительности. Самой активной областью заимствования оказалась в старобелорусский период бытовая сфера. За счет заимствований существенно обогатилась старобелорусская общественно-политическая, юридическая, социально-экономическая, военная, научная, литературоведческая терминология, получила значительное развитие лексика, связанная с профессионально-производственной, религиозной и другими сторонами человеческой жизни и деятельности.

На белорусской почве заимствованная лексика была освоена в фонетическом, морфологическом и семантическом отношении и наряду с исконно белорусскими словами выполняла коммуникативные функции. Более трети заимствований приняло участие в словообразовательном процессе, дав в результате плодотворного использования белорусским населением восточнославянских словообразовательных моделей свыше 6000 дериватов. Таким образом, общее число слов, связанных своим происхождением с иноязычным корнесловом, составило в старобелорусском литературно-письменном языке около 10 000 лексических единиц.

Среди заимствований старобелорусского языка выделяются слова двух разновидностей. Одни из них были усвоены белорусским населением для

замены устаревших в результате общественного прогресса наименований, другие — в связи с необходимостью номинации новых реалий и понятий, которые постоянно возникали под влиянием знакомства с общественно-политической, хозяйственно-экономической и научно-культурной жизнью других народов. В числе последних также различаются, с одной стороны, слова для обозначения иноземных реалий, ставших принадлежностью местной жизни, и, с другой стороны, лексические средства для обозначения предметов и явлений, сохранивших свою этнографическую специфику.

Относительно правомочности включения в исторический словарь заимствований, пополнивших словарный состав старобелорусского языка в качестве средств номинации новых предметов или явлений местного использования, например, *армата, блаватъ, ванна, винда, гусаръ, драбъ, едwabъ, инъенеръ, кафель, куша, лаштъ, малмазия, пипа, пистолетъ, рубинъ, сафъянъ, семинария, тимецъ, фунтъ, шафранъ, юркгельтъ*, не возникает сомнения. Как и слова, заменившие устаревшую лексику (ср. *администраторъ, бунтъ, жолнеръ, зброя, кучня, литера, мещанинъ, палацъ, фамилия, цегла* и др.), они полностью ассимилировались на белорусской почве в фонетико-морфологическом и семантическом отношении и практически не отличались от собственно белорусской лексики ни по формальным, ни по смысловым, ни по функциональным признакам.

Несколько иное впечатление складывается при ознакомлении с лексическими средствами иноязычного происхождения, не имеющими непосредственного отношения к характеристике белорусского местного колорита. Среди них обращают на себя внимание прежде всего лексические единицы, характеризующие специфику жизни представителей различных территориально-этнических формирований периода средневековья и более отдаленного прошлого, например, древнееврейского населения Ближнего Востока (*гинъ, гоморъ, ебионитъ, ефа, ефудъ, мамзеръ, пуримъ, рабинъ, сенедримъ, сетимъ, талмутъ, шабасъ*), древних римлян (*диктаторъ, императоръ, консилия, консулъ, патриций, плебей, принцепс, секстариий, секстиль, трибунъ, трибусъ, цензурия*) и т. п. Сфера употребления этих слов в старобелорусском литературно-письменном языке была ограниченной. Они встречаются преимущественно в переводных текстах религиозных и светского содержания при изложении исторических событий и описании обычаев населения в древних государствах.

Не получили также широкого распространения в старобелорусской письменности и группы слов, дающие представление о быте и нравах ряда современных белорусам народов. Так, из лексем тюркского происхождения *байрамъ, баша, булакъ, гамъятъ, дервишъ, кадый, карачъ, мечетъ, молла, мурза, нишанъ, оталыкъ, сандчакъ, сафаръ, сейтъ, сераль, сеунчъ, улусъ, чаушъ, шерть, юртъ, янычаръ*, характеризующих уклад жизни восточных народов, лишь отдельные (*байрамъ, баша, дервишъ, мечетъ, молла, мурза, янычаръ*) в той или иной мере были известны белорусскому населению благодаря общению с татарскими поселенцами на территории Белоруссии или чтению произведений мемуарной литературы. Остальные зафиксированы в документах дипломатической переписки между правительствами Великого княжества Литовского и Крымского ханства. Подобным образом лексические единицы типа *комендаторъ, кумендеръ, кунторъ, курфберстъ, ланмаршалокъ, лядкграфъ, реща, фертмаршалокъ*, связанные с характеристикой немецкого государственного устройства, отразились лишь в ранних договорных грамотах с Тевтонским орденом и позднейших произведениях исторического жанра.

Большая часть рассмотренных слов, квалифицируемых в языковедении как экзотизмы [8], подвергалась в белорусской языковой среде лишь частичной (как правило, фонетико-морфологической) адаптации. О том, что не все они были понятны белорусскому населению, может свидетельствовать то обстоятельство, что переводчики при некоторых из них дают толкования: *былъ, магистеръ еквиумъ, то ест гетманъ* (Бельск., 1660б); *мела оная ихъ рада або сенедримъ великую моцъ* (там же, 2040б); *на кождый рокъ консилиевъ то ест рядцовъ выбирали* (Рим., 80); *проконсулъ, то ест перший панъ по цесару оборонял его* (Сб. 82, 386); *гинъ*

мера египетца, яко 10 квартъ (Хрон., 108) и др. Однако пренебрегать ими при лексикографической обработке материала старой белорусской письменности было бы ошибочным, поскольку они выполняли в литературно-письменном языке определенную коммуникативную и сигнификативную функцию. Заменить их в белорусских текстах другими лексическими средствами не представлялось возможным в связи с отсутствием в языке-рецепторе специальных слов для обозначения соответствующих предметов, понятий или явлений. Экзотическая лексика содействовала повышению образовательного уровня тогдашних читателей, расширяла их сведения о неизвестных до этого сторонах окружающей действительности и в определенных ситуациях использовалась в речевом общении. Большинство экзотизмов постепенно становилось полноценными заимствованиями. О целесообразности включения лексики этого типа в исторический словарь свидетельствует и тот факт, что большая часть ее фиксируется словарями современных литературных языков, в том числе и белорусского.

Иноязычные слова проникали в белорусский язык в разное время и различными путями, овлаивались неодинаково, поэтому многие из них зафиксированы в письменных памятниках в различных вариантах. Наиболее широко отражена в белорусской письменности XIV—XVIII вв. формальная дублетность. Орфографическая неустойчивость вообще является дошолнительным показателем иноязычного происхождения соответствующих слов. Даже в современных литературных языках с их нормированным правописанием орфографическим разнообразием характеризуются в первую очередь заимствованные слова. Применительно же к древнему периоду эта их особенность проявляется во много раз заметнее.

Под воздействием фонетических процессов, которым подвергалась иноязычная лексика в старобелорусском языке, а также в связи с неодинаковым образовательным уровнем авторов и переписчиков фонетико-орфографическая вариантность отдельных лексем выглядит в памятниках письменности особенно пестрой: *сыжнетъ — сегнетъ — секгнетъ — сигнетъ — сижнетъ — сыгнетъ*; *цирографъ — тирографъ — церографъ — цирографъ — цырографъ — цырографъ* и т. д. К этому следует присоединить словообразовательные и грамматические варианты. Поэтому при лексикографической обработке заимствований приходится решать, которые из вариантов подавать как самостоятельные слова, а которые объединять в общей словарной статье, и если объединять, то как выделить среди них основные и второстепенные.

Работа над словарным составом старобелорусского языка показывает, что при оформлении словарных статей целесообразно объединять в одной статье варианты орфографические, наиболее распространенными из которых в белорусских текстах XIV—XVIII вв. можно считать эквиваленты с различным отражением аканья (*абшлягъ — обшлягъ, калита — колита, маршалокъ — моршалокъ, палацъ — полацъ*), отвердения шипящих и р (*жычыти — жичити, подчашый — подчаший, прыватный — приватный, шыба — шибя*), взрывного г (*зекгаръ — зегаръ, кгубернаторъ — губернаторъ, локгофетъ — логгофетъ, паракграфъ — параграфъ*); звука ф (*кафтанъ — каптанъ — каттанъ, кнафель — кнапель — кнахель, флаша — пляша — хвляша*), твердости зубных согласных (*визытъ — визитъ, кардыналъ — кардиналъ, оказыя — оказия, сэнатъ — сенатъ*), результатов субституции польских носовых гласных (*вонтпити — вунтпити — вутпити, семпъ — сепъ — сунъ, хендокгий — хандокгий — хондокгий*) и др. Каждую из этих орфографических параллелей следует рассматривать как неодинаковые манифестации одной и той же лексической единицы и помещать в одной словарной статье, выбрав за основной наиболее распространенный в письменности вариант.

Также нет оснований разъединять орфографические варианты, образовавшиеся в результате воздействия на белорусский язык и языка-источника, и языка-посредника. В их числе, например, дублиеты лексических единиц германского и романского происхождения типа *галзбантъ — альзбантъ, галябарда — алябарда, гаркабузъ — аркабузъ, гохмистръ —*

ожмистръ, цинишъ — чинишъ, получившие различное начало слов в связи с тем, что попали на белорусскую почву как непосредственно, так и через польский язык. Этот же принцип подходит и к латинизмам с удвоением и отсутствием удвоения согласных вроде *аппробация — апробация, интромассия — интромассия, комиссия — комиссия, процессъ — процесь, суколлиторъ — суколлиторъ*.

В отличие от приведенных вариантов в различных словарных статьях даются заимствования, которые генетически хотя и восходят к одному языку-источнику, но проникли в старобелорусский литературно-письменный язык различными путями и в связи с этим получили неодинаковое фонетическое оформление. В качестве примеров можно привести пришедшие через латинско-польскую среду, с одной стороны, и через церковнославянский язык, с другой, дублетные лексические средства греческого происхождения типа *базилискъ — василискъ, геретикъ — еретикъ, катедрa — кафедра, целья — келья*.

В отдельных словарных статьях оформляются также существительные, которые отличаются грамматическим родом (*адамашка — адамашокъ, боклага — боклагъ, крама — крамъ, привилей — привилье, шмата — шматъ*), однокоренные слова, имеющие тождественные значения, но различающиеся словообразовательными средствами (*апокалипсисъ — апокалипсия, крамаръ — крамникъ, мордерь — мордерьца, папа — папежь, сурмачъ — сурмачей*).

Вместе с тем необходимо отметить, что лексическое воздействие отдельных языков на словарный состав письменной разновидности белорусского языка проявлялось гораздо сильнее, чем об этом можно судить на основании проанализированного материала. В некоторых памятниках и даже группах памятников старинной белорусской письменности, кроме заимствованных слов, нашло отражение большое количество иноязычных лексических единиц, в употреблении которых, казалось бы, не было надобности.

Особенно много иноязычных слов, которые стали достоянием лишь отдельных текстов и не получили закрепления в старобелорусском литературно-письменном языке, проникло под польским влиянием, что в условиях белорусско-польского двуязычия на территории Белоруссии было закономерным явлением. Примерами средств, дублирующих белорусскую лексику, могут служить случаи распространения в белорусской письменности польских неполногласных форм типа *блото, vloка, злото, кроль, млотъ, оброна, прокгъ, строна, хлодникъ, человекъ* при наличии своих полногласных форм. Если к этому присоединить характерные для ряда конфессиональных текстов неполногласные формы церковнославянского происхождения, то образуется значительное число трехчленных дублетных соединений типа *волось — влосъ — власть, ворота — врта — врата, здоровый — здровый — здравый, молодой — млодый — младый, солодкий — слодкий — сладкий*. Естественно, что в процессе работы над историческим словарем такие идентичные в семантическом отношении, но различные по происхождению и фонетическому оформлению слова нельзя сводить к одному варианту — их место в самостоятельных словарных статьях.

В польском фонетическом оформлении фиксировались в памятниках конца XVI и XVII вв. и многие другие слова, известные ранее лишь в своей исконной белорусской форме. В связи с этим получался разнобой при обозначении одних и тех же реалий и понятий: *вилькъ — волкъ, генсь — гусь, дзвонъ — звонъ, едла — ель, контъ — кутъ, ноць — ночь, ойтець — отецъ, пець — печь, ренка — рука, садло — сало, твардый — твердый, чарный — черный* и др. Этот список можно увеличить за счет глаголов польского происхождения с отсутствием эпентетического *л* типа *взавяты, выставяты, збавяты, направяты, обявляты, поставяты, розмавляты, розмавяты, употребляющихся параллельно с белорусскими взновляты, выставляты, збавляты, направляты, обявляты, постановляты, розмавляты* и т. д. Понятно, что приведенные написания нельзя считать заимствованиями, а можно только квалифицировать как лексические средства, употребленные под влиянием польского языка. Использование их рядом с иско-

но белорусскими эквивалентами в памятниках письменности является дополнительным свидетельством того, что полонизация определенных слоев белорусского населения в конце XVI и в XVII в. была довольно значительной. Но это совсем не значит, что такие варианты не следует отражать в историческом словаре: семантически они тождественны вариантам белорусского происхождения. Только разрабатываться они должны каждый самостоятельно.

Тем более не могут быть объединены в одной словарной статье соотносительные белорусские и польские слова, отличавшиеся словообразовательными средствами: *зборище* — *збориско*, *игрище* — *игриско*, *огнище* — *огниско*, *побище* — *побоиско*, *становище* — *становиско*; *дедина* — *дедизна*, *капица* — *капицзна*, *материна* — *материзна*, *мужчина* — *мужчизна* и др.

Интересным явлением в истории белорусской лексической системы было употребление в библейских книгах Ф. Скорины многих слов чешского происхождения типа *жадость*, *жаларъ*, *жизень*, *заважие*, *змизати*, *лебка*, *либивость*, *нутити*, *ошметникъ*, *планый*, *ратолесный*, *смыркъ* и др. Они проникли в результате непосредственных контактов белорусского первопечатника с чехами в период издательской деятельности в Праге (1517—1519) и использования им при обработке текста библейских книг в качестве основного пособия чешской Библии в венецианском издании 1506 г. и позже в белорусском языке не закрепились [9].

Не явилась достойным белорусского словарного состава и значительная часть зафиксированных в письменности слов литовского происхождения вроде *алкснинъ*, *вондера*, *дексня*, *жакгра*, *интокъ*, *кгирела*, *лонкеля*, *молкаса*, *намакголъ*, *ошвиникъ*, *пиртика*, *сонтокъ*, *ушкуръ*, *шлойтъ* [см. 10]. Они встречаются в деловых документах территории этнической Литвы и по отношению к лексической системе старобелорусского языка выступают как окказионализмы. Однако исключить эти лексические средства из исторического словаря нельзя, так как они органически входят в контекст и несут в письменном языке определенную семантическую нагрузку наряду с исконной лексикой.

Не могут включаться в исторический словарь разнообразные иноязычные вкрапления типа *алхамъ*, *деликтумъ*, *квинтиль*, *лахамъ*, *пеккатумъ*, *торнафъ*, встречающиеся в отдельных старинных белорусских произведениях оригинального и переводного характера, где употреблены в определенных стилистических целях. В отличие от экзотизмов, которые хотя и характеризовали черты жизни других народов, но все же входили в словарный состав старобелорусского языка, пусть часто на правах семантически недоосвоенных слов, эти лексические средства, как правило, находились вне белорусской языковой системы. Они свидетельствуют лишь о превосходном владении тем или иным белорусским автором или переводчиком иностранными языками и о его сознательном стремлении познакомить читателя с элементами чужого языка, распространить свои знания на более широкий круг людей [11].

Самые ранние случаи использования иноязычных вкраплений в старобелорусской письменности известны уже в переводных сочинениях конца XV в.: *тогда на его экъсеквие albo службу тысяць тысячей ангелов пели хваления* (Стр. Хр., 15); *соут оу них дома опришне их же тамо алхам зовутъ* (Волх., 48об). Но поистине сознательно, с пониманием дела подошел к использованию иноязычных выражений белорусский первопечатник Ф. Скорина, в изданиях которого, особенно в оригинальных предисловиях и послесловиях к библейским книгам, чужеродные вкрапления несут большую познавательную нагрузку, свидетельствуя о высоком образовательном уровне издателя: *книги пятыи моисеовы зовемьи от евреи гельгадворимъ, по греческии девтерономость, по латине секунда лексъ а по рускии вторыи законъ* (Скор. ВЗ, 1). *Притчи же нарицаются евреискымъ языкомъ Масилофъ, а греческымъ Параболе* (Скор. ПС, 2об); *месяца перьваго иже словеть по евреискии Нисанъ, то есть апрель* (Скор. КЕ, 8) и др.

Используются иноязычные вкрапления и в текстах последующих белорусских книгоиздателей: *докуль таковые речи кто выполънилъ крещонъ*

не былъ але такового звано *Оглашенымъ* а по гречески *Катикоуменость* (Буд., 6об); *инязици за руку девку, мовилъ ей, талифакумъ, што есть выкладаючи, девко, тебе мовлю, встань* (Тяп., 50). Однако наиболее регулярно иноязычные вкрапления встречаются в произведениях XVII в., особенно в переводных текстах светского и религиозного содержания и оригиналах мемуарного характера: *умарль суседъ и приятель мой чловекъ барзо добрый беатусъ виръ панъ валентый чарковскый* (Евл., 39); *дала ему имя мойсей от воды, бо моис вода по египетску* (Бельск., 41); *от того ся назвала каптонова могила для найденной головы, бо капна по латине голова есть* (Рим., 80); *негра ест то слово грецкое значит камень мягкий* (Диар., 173); *людъ закричалъ кирие елейсон, то есть господи помилуй* (Сб. 752, 412); *тыи книги грекове девторомиумъ называют то есть вторый або повторный законъ* (Хрон., 151) и др.

Как свидетельствуют приведенные примеры, они в большинстве случаев легко выявляются в памятниках письменности благодаря сопровождающему их специальному словному окружению. Чужеродность иноязычных вкраплений очевидна хотя бы потому, что такие слова или выражения сопровождаются обычно переводом на белорусский язык или описательными толкованиями. Вместе с тем при них в большинстве случаев есть указание на язык, откуда данное слово или выражение взято: *по влоску, по грецку, по египетску, по иудейску, по латинску, по халдейску* и т. п. К тому же в некоторых памятниках древнееврейские, греческие и латинские слова употребляются в их оригинальной графической оболочке: *тое же месце зовет орасилит, штосмы преложили вырочницею* (Выкл., 43); *тые книги грекове ардиносъ, латинници Numeros, то ест личбы зовут* (там же, 52об) и др. Из числа белорусских письменных памятников в этом отношении выделяются лишь деловые, в которых толкование иноязычных вкраплений в связи со спецификой стиля, как правило, не практикуется: *обецано, жебы декретъ былъ не водлугъ прима клязисъ ферованый; одъ его милости ультро форумъ акцептовать мелъ* (XVII в) и т. п. Однако и здесь на чуждый характер иноязычных лексических элементов выразительно указывает как их семантическая малодоступность, так и отсутствие белорусских морфологических черт и синтаксического согласования с окружающим контекстом.

Тем не менее при лексикографической обработке зафиксированной в памятниках письменности лексики и иноязычным вкраплениям необходим внимательный подход. Дело в том, что в определенных условиях иноязычные вкрапления имеют тенденцию сближаться с экзотизмами и некоторые из них даже осваиваются морфологически. Это касается в первую очередь тех лексических средств, которые в связи с наличием благоприятного контекста получают возможность фиксироваться в письменном языке неоднократно. Примеров, иллюстрирующих сказанное, в старобелорусской письменности достаточно. Одним из них может служить лексема *адаръ* (*вадаръ*), известная в белорусских памятниках XVI в. на правах вкрапления: *вынялъся ест месець дванадцатыи зовемый у евреи адаръ еже естъ мартъ* (Скор. КЕ, 8); *месець после февруария зовомъ мулизма, а евреискии вадаръ* (Небо, 80). Употребление этого слова в памятниках XVII в. уже без белорусского семантического эквивалента свидетельствует о том, что оно к этому времени уже стало доступным широкому кругу читателей: *минула зима и холоднии дни, а надшоу месець адар* (Бельск., 227); *установили празник дня тринадцатаго адара по всемъ свете обьходить* (Сб. 82, 22об) и др.

Представляет интерес и обратное явление, когда уже освоенные во всех отношениях, широко используемые древними книжниками слова могут выступать в качестве иноязычных вкраплений, как это случилось с зафиксированной во всех жанрово-стилевых разновидностях старобелорусской письменности, известной литературно-письменному языку с XV в. лексемой *пасха*, которая в одном из письменных памятников XVII в. употреблена как вкрапление: *по жидовску ест пасха, што тлумачи зовуть фасе, по халдейску пасха, а греки и латинници мовят пасха, што по нашому власне значит престъе* (Выкл., 35об).

Все сказанное показывает, что в каждом конкретном случае правомерность включения в исторический словарь определенной лексической единицы должна решаться путем изучения всего наличного иллюстративного материала на данное слово с учетом лингвистических и культурно-исторических факторов.

ИСТОЧНИКИ

- Бельск.— «Хроника» М. Бельского начала XVII в. (рукопись Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, F. IV. 688).
Буд.— «Катихисисъ» С. Будного (Клецк, 1562).
Волх.— «Повесть о трех королях-волавах» конца XV в. (рукопись Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Q. I. 391).
Выкл.— «Выкладъ месць труднейшихъ» середины XVII в. (рукопись Библиотеки Академии наук УССР, 9 п/111).
Диар.— «Диариушъ» А. Филипповича 1638—1648 гг. (рукопись Государственного исторического музея СССР, Синод. 856).
Евл.— «Дневникъ» Ф. Евлашевского начала XVII в. (рукопись Главного архива древних актов в Варшаве).
Небо — «О поессехъ небесныхъ» конца XVI в. (рукопись Государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина, 09/276К).
Рим.— «Римский летописецъ» начала XVII в. (рукопись Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, F. XVII. 5).
Сб. 82 — Сборник поучений середины XVII в. (рукопись Центральной библиотеки Академии наук Литовской ССР, РКФ — 82).
Сб. 752 — Сборник житий святых середины XVII в. (рукопись Государственного исторического музея СССР, Синод. 752).
Скор. ВЗ — Ф. Скорина. Книга Второзаконие (Прага, 1519).
Скор. КЕ — Ф. Скорина. Книга Судей (Прага, 1519).
Скор. ПС — Ф. Скорина. Притчи Соломона (Прага, 1517).
Стр. Хр.— «Страсти Христовы» конца XV в. (рукопись Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Q. I. 391).
Тяп.— «Евангелие» в переводе В. Тяпийского около 1580 г.
Хрон.— «Хронографъ» середины XVII в. (рукопись Государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина, № 2405).

ЛИТЕРАТУРА

1. *Martel A.* La langue polonaise dans les pays ruthènes, Ukraine et Russie Blanche. Lille, 1938.
2. *Klemensiewicz Z.* Historia języka polskiego. Warszawa, 1974, s. 319.
3. *Медынский Е. Н.* Братские школы Украины и Белоруссии в XVI—XVII вв. и их роль в воссоединении Украины с Россией. М., 1959, с. 37.
4. *Журавский А. И., Булыко А. Н.* 450 лет белорусского книгопечатания.— В кн.: Исследования и материалы. Сб. XIV. М., 1967, с. 113.
5. *Очерки истории философской и социологической мысли Белоруссии.* Минск, 1973, с. 27.
6. *Гістарычная лексікалогія беларускай мовы.* Минск, 1970, с. 85.
7. *Palionis J.* Lietuvių literatūrinė kalba XVI—XVII a. Vilnius, 1967, p. 273—286.
8. *Крысин Л. П.* Иноязычные слова в современном русском языке. М., 1968, с. 46—52.
9. *Булыко А. Н.* Западнорусская лексика в изданиях Франциска Скорины.— В кн.: Белорусский просветитель Франциск Скорина и начало книгопечатания в Белоруссии и Литве. М., 1979, с. 94—102.
10. *Jablonskis K.* Lietuvių-ke žodžiai senosios Lietuvos raštinių kalboje. Kaunas, 1941.
11. *Журавский А. И.* Экзотическая лексика и иноязычные вкрапления в старобелорусской письменности.— В кн.: Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. М., 1974, с. 141.

ДМИТРОВСКАЯ М. А.

МЕХАНИЗМЫ ПОНИМАНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЕ
ГЛАГОЛА *ПОНИМАТЬ*

Понимание определенным образом соотносено с категориями мнения и знания. Знание и мнение отличаются друг от друга по характеру источников или оснований. Мнение в общем случае является результатом анализа некоторой совокупности фактов и характеризует один из возможных миров, не обязательно совпадающий с реальным. Высказывая свое мнение, субъект отдает себе отчет в том, что возможны и иные решения интересующего его вопроса [1—3]. Утверждения мнения не гарантируют истинность пропозиции, ср.: *Я не знаю точно, но мне кажется, что завтра будет хорошая погода*. По сравнению с мнением знание гораздо богаче по количеству источников. Обычно разграничивают выводное, невыводное знание и знание «из вторых рук», т. е. полученное в процессе обучения, из разговоров, книг и т. д. Содержание невыводного знания составляют эмпирические пропозиции, в которых зафиксированы результаты чувственного опыта воспринимающего субъекта, а также априорные пропозиции или аксиомы, например, $2 \times 2 = 4$. Сюда же можно отнести такие пропозиции, как *Земля существовала задолго до нас*, которые обычно не подвергаются сомнению, а просто «включаются как данное в нашу практику, т. е. в наши действия и восприятие мира» [4, 5]. Познавая мир, человек, однако, не только пассивно воспринимает, но и анализирует, обобщает, ставит себе вопросы и пытается ответить на них. Полученные пропозиции составляют содержание выводного знания, причем они, в отличие от мнения, характеризуют возможный мир, совпадающий с реальным, пусть даже этот мир сведен к субъективному миру одного человека: мыслящий субъект, постулируя знание пропозиции, полученной путем вывода, имеет при этом в виду невозможность существования альтернативных ситуаций. Субъект, утверждая свое знание, гарантирует истинность пропозиции.

Понимание является результатом некоторых ментальных операций и поэтому составляет необходимое условие как мнения, так и выводного знания, ср.: *Я понял, что он может приехать завтра* → *Я думаю, что он приедет завтра*; *Я понял, что это произошло по моей вине* → *Я знаю (думаю), что это произошло по моей вине*.

Эксплицитное выражение понимания, подобно утверждению знания, гарантирует истинность вводимой пропозиции, а глаголы *знать* и *понимать* могут употребляться в близком смысле, ср.: «А птицы знали, понимали, что означает каждый выстрел» (Н. Глазков)¹. Если при утверждении понимания перед субъектом встанет задача самостоятельного определения своего эпистемического состояния, он всегда определит его как знание, ибо понимание ассоциируется у человека с постижением некоторой непреложной истины (это выполняется и в случае повествования от лица автора в художественном тексте): «Вронский не понял я того, что именно произошло между Картасовыми и Анной, но он понял, что произошло что-то унижающее для Анны. Он понял это по тому, что видел, и более всего по лицу Анны, которая, он знал, собрала свои последние силы, чтобы выдерживать взятую на себя роль... Зная, что что-то произошло, но не зная, что именно, Вронский испытывал мучительную тревогу и, надеясь узнать что-нибудь, пошел в ложу брата» (разрядка наша. — Д. М.) (Л. Н. Толстой).

¹ Большинство литературных примеров взято из Карточки Большого Словаря ЛО Ин-та языкознания АН СССР.

Вопросы, которые могут быть заданы к утверждениям знания, мнения и понимания, четко выделяют сходства и различия между соответствующими эпистемическими состояниями. Вопрос *Откуда ты знаешь, что он придет завтра?* направлен на прояснение источника получения информации; ср. возможные ответы на него: *Он перед отъездом сказал мне о дне своего приезда; Я вчера получил от него телеграмму; Я разговаривал с его матерью и т. д.* Вопрос *Почему ты так считаешь?* есть вопрос об основе и мнения и отражает стремление говорящего получить информацию об исходном наборе фактов и, опираясь на него, удостовериться в правильности суждения. К утверждению понимания ключевыми являются вопросы *Как ты это понял?* и *Почему ты так считаешь?*, поскольку для понимания важны основы и способ, при помощи которых субъект установил истину.

Понимание (постижение истины) не является по своей сути единым процессом и реализуется в большом количестве разнородных ситуаций. Эти ситуации различаются по способу достижения понимания. Понять что-то можно: а) проанализировав некоторый набор полученных данных; при этом реализуется понимание как пропозициональное достижение²; б) самостоятельно объяснив для себя суть явления (понимание как уяснение); в) вникнув в объяснения другого лица (понимание объяснения)³.

Первый из выделенных видов понимания — понимание как пропозициональное достижение — в свою очередь тоже неоднороден, причем способ понимания определенным образом зависит от семантики пропозиции, которая может представлять собой общеизвестную истину, выражать мнение, отражать какой-либо факт действительности и т. д. Анализ употреблений глагола совершенного вида *понять* позволяет выделить здесь следующие его значения.

Понимание-1 направлено на правильное истолкование некоторых данных опыта, которые являются признаками других событий или явлений. Понимание этого рода сводится к установлению ненаблюдаемого явления по воспринимаемому сигналу, например; «Александр Платонович захотел пить и понял, что надвигается солнце» (Павленко). Недостаток воспринимаемых данных может привести к затрудненности или неоднозначности интерпретации, ср.: «... всегда у него было такое выражение лица, что нельзя было понять, шутит он или говорит всерьез» (А. П. Чехов). Поскольку связи между наблюдаемыми явлениями и тем, что за ними стоит, объективно закреплены и входят в знание картины мира, субъект может вести поиск внешних сигнумов целенаправленно, ср.: «Евсей вскопал на ноги, снова быстро сел, взглянул на Ольгу, желая понять, заметила ли она его невольное испуганное движение» (М. Горький). От каузальных отношений между наблюдаемыми признаками и стоящими за ними явлениями надо отличать семиотические отношения, часто лежащие в основе совершения людьми определенных действий, ср.: «Коломиец взял наощупь карандаш с тумбочки, что-то отметил, словно давая понять мне, что разговор закончен» (В. Белаяев). Глагол *понять* в рассматриваемом значении вводит пропозиции, которые относятся к прошлому, настоящему или будущему положению дел и имеют статус единичного факта. Все

² Мы используем здесь термин, введенный З. Вепдлером для характеристики глаголов, обозначающих ментальные действия, в результате которых субъект становится обладателем некоторой информации. Ментальные состояния, описываемые глаголами пропозиционального отношения, и ментальные действия, описываемые глаголами пропозиционального достижения (propositional achievement), такими, как *увидеть, обнаружить, услышать, осознать, понять* и др., связаны между собой каузальными связями: например, то, что человек видел, переходит в фонд его знаний [6, 7].

³ Понимание объяснения не совпадает с пониманием, восприятием или интерпретацией текста (в том числе и речевого сообщения). Вопрос о понимании текста как выявления его истинного смысла в настоящей статье не рассматривается. Разница введенных нами терминов «понимание как пропозициональное достижение», «понимание как уяснение» и «понимание объяснения» не должна заслонять того факта, что все эти виды понимания ведут к постижению (достижению) новой для субъекта информации.

эти пропозиции поддаются верификации, хотя и не обязательно в момент произнесения соответствующего высказывания.

Утверждения этого вида понимания обычно включают указания на наблюдаемые признаки или сигналы, а сам глагол *понять* является синонимичным глаголам ментального вывода, ср.: *судя по тому, что..., я понял/заклучил, сделал вывод/, что...*

П о н и м а н и е - 2 связано с анализом ситуации, причем вывод должен быть обоснован достаточным количеством исходных данных. Момент умозаключения часто значительно удален от времени получения исходной информации. Пропозиции здесь могут иметь статус факта, быть верифицируемыми в будущем прогнозами, а также оценками. Утверждения этого вида понимания могут включать указания на особенности мыслительного процесса, его интенсивность, ср.: *Спокойно все обдумав/тщательно все взвесив/внимательно все проанализировав/, я понял, что мои дела вовсе не так уж плохи, как мне казалось раньше.* Подобные высказывания должны скрыто или явно содержать основания вывода, ср.: *После нескольких часов безуспешных попыток найти дорогу они поняли, что окончательно заблудились.*

П о н и м а н и е - 3 связано с осознанием психических процессов самого субъекта. Пропозиции здесь могут описывать общие свойства личности, реакции человека на какие-нибудь события, его восприятие других людей. Этот вид понимания обычно опирается не на анализ симптомов, а на анализ ощущений и предполагает выведение информации из подсознания в сознание, т. е. соответствует акту самоанализа. В этом употреблении глагол *понять* зачастую равнозначен глаголу *почувствовать*, ср.: «Оставшись один, Алексей Александрович понял [=почувствовал.— Д. М.], что не в силах более выдерживать роль твердости и спокойствия. Он велел отложить дождавшуюся карету, никого не велел принимать и не вышел обедать» (Л. Н. Толстой). В понимании-3 большую роль играет воображение предстоящих событий и действий, ср.: «— Положим, я вызову на дуэль, — продолжал про себя Алексей Александрович, и, живо представив себе ночь, которую он проведет после вызова, и пистолет, на него направленный, он содрогнулся и понял, что никогда он этого не сделает» (Л. Н. Толстой). Рассмотренный вид понимания часто равнозначен принятию решения.

П о н и м а н и е - 4 основано на «вчувствовании», эмпатии и направлено в первую очередь на идентификацию психического состояния других людей (в английской лингвистической философии проблема истинности таких суждений и их квалификация как мнения или знания известна как «the problem of other minds»; ее разработка связана в первую очередь с именами Дж. Виздома и Дж. Остина). В отличие от понимания-1, когда идентификация внутреннего состояния другого человека происходит по внешне наблюдаемым признакам, обычно известным всем людям, понимание как вчувствование доступно далеко не всем и зависит от психических особенностей воспринимающего субъекта, ср.: «Так как много понимал я тогда яснее чем обыкновенно, то и тут понял, что он ждет, чтобы я протянул ему руку (В. Г. Короленко). Отсутствие рационального момента в этом виде понимания может подчеркиваться употреблением соответствующих модификаторов, таких, как *понять сердцем/инстинктом/чувствами/интуитивно*, ср.: «Поликсена Ивановна... инстинктом преданного женского сердца поняла, что Павлу Ермолаичу ничего не требуется, кроме покоя, и сообразно с этим устроила для него домашнюю обстановку (М. Е. Салтыков-Щедрин). В рассмотренном значении глагол *понять* равнозначен глаголу *почувствовать*, ср.: «Петя глубоко чувствовал душевное состояние отца, он понимал, что Василий Петрович как-то особенно мучительно переживает смерть Толстого (В. Катаев).

П о н и м а н и е - 5 связано с накоплением определенных знаний и жизненного опыта и является сугубо индивидуальным. Здесь чаще всего встречаются оценки и общие суждения, которые выражают взгляды человека на мир, например: «Лет тридцати, возвратившись из ссылки, я понял, что во многом мой отец прав, что он, по несчастью, оскорбительно

хорошо знал людей» (А. И. Герцен); «Я понял, что такое отечество, почему оно вправе требовать от сынов своих жертв и даже самоотвержения» (М. Е. Салтыков-Щедрин). Формулировка общих суждений обычно не связана с открытием новых истин, а сводится к выбору из конечного числа уже существующих. Это объясняется неизбежной унификацией явлений при генерализации, а также поляризованностью мнений и оценок: так, в наших представлениях зло либо наказуемо, либо ненаказуемо; любовь либо существует, либо не существует и т. д. Общие суждения в устах конкретного человека больше говорят о нем самом, чем об окружающем мире. В спорах по этим вопросам трудно прийти к согласию, так как обоснование общих суждений такого рода обычно сводится к перечислению фактов из жизненного опыта говорящего и не исключает контрпримеров. Глагол *понять* в рассматриваемом значении синонимичен выражениям *утвердиться во мнении*, *прийти к выводу* (после того, что со мной произошло), *после знакомства с этим человеком*, *убедиться* (на собственном опыте) и т. д. Поскольку понимание-5 протекает в течение большого временного интервала, то глагол *понять* не допускает указаний на внезапность постижения истины, ср.: **Я сразу/внезапно/понял, что люди по своей природе добры*.

Понимание, приходящее с течением времени и накопленным жизненным опытом, часто равнозначно процессу осознания достаточно тривиальных истин, которые раньше принимались как данное, процессу «превращения чужого в „свое—чужое“» [8] и далее в «свое», составляющее неотъемлемую характеристику субъекта. Именно это испытал Л. Н. Толстой после посещения Ляпинского ночлежного дома: «То, что случилось с Толстым в начале 80-х годов в Москве, было высшей точкой кризиса Толстого... Разумеется, Толстой и раньше, до 80-х годов, знал о горе народном. С. А. Толстая пишет Толстому из Москвы: „И разве ты прежде не знал, что есть голодные, больные, несчастные и злые люди“. Софья Андреевна только отчасти права в своем недоумении. Он знал умом, видел, а теперь как будто заново увидел и понял (разрядка наша. — Д. М.). Увидел и понял тогда, когда чувства были обострены до предела, и чувствами он принял это увиденное в себя. И отныне ничего не мог забыть, не мог не жить с этим» [9].

Призыв к пониманию как усвоению «чужого» — моральных норм, советов, — которые должны лечь в основу деятельности субъекта, прослеживается в таких высказываниях, как *Ты должен понять, что так не поступают*; *Ты должен понять, что времени осталось мало, а дел много*.

Возможность движения от пассивного знания к пониманию вскрывает особенности этих явлений. Если знание (особенно пропозициональное) в известном смысле означает просто обладание некоторой информацией, то понимание предполагает ее внутреннее усвоение и «имеет ясно выраженный психологический контекст» [10, с. 255]. Знание не является сущностной характеристикой субъекта, ибо можно знать что-то, а потом забыть [ср. 11]. Понимание же аннулировано быть не может.

Если в результате последующей проверки окажется, что некоторая информация, которую субъект считал истинной, не соответствует действительному положению дел, то утверждение понимания должно быть заменено на утверждение мнения, ср.: **Я неправильно понял, что заблудился* вместо *Я думал, что заблудился, но ошибся*. Понимание, которое дает ошибочный результат (неправильное понимание) в то же время отлично от непонимания, когда человек не формулирует для себя никакой истины, ср.: *Я не понял, что это значит* и *Я думал, что понял, что это значит, но ошибся*.

Понимание как пропозициональное достижение четко отграничено от получения информации в результате непосредственного наблюдения, когда мыслительная деятельность в явном виде не актуализируется ⁴,

⁴ Здесь можно говорить о перцептивном понимании [12], которое, наряду с пониманием речевых сообщений на уровне реализации языковой компетенции, никогда субъектом не осознается и не эксплицируется. В речи фиксируются только те случаи, когда обычный ход восприятия оказывается нарушенным, ср.: «...усталость брала

ср.: «Евсей скорее понял, чем увидел, что Ольга совершенно спокойна, нимало не испугана» (М. Горький).

Момент достижения понимания обычно можно четко фиксировать, ср.: *Вчера я понял, что не могу здесь больше оставаться*; «Я очень рано понял, что человека создает его сопротивление окружающей среде» (М. Горький). Все виды понимания как пропозиционального достижения могут, кроме того, характеризоваться со стороны особенностей протекания мыслительных процессов у людей: легкости/затрудненности, скорости, контролируемости/неконтролируемости (неожиданности достижения результата): *понять с трудом/сразу/вдрыз/быстро*. Указания на скорость (*сразу, быстро*) и на момент наступления понимания (*наконец, через две недели*) одновременно фиксируют временной интервал, в течение которого имело место непонимание или недопонимание. И наоборот, фиксация периода непонимания может содержать оценку его длительности и как следствие оценку скорости достижения понимания. Ср.: «Очень скоро, не далее как через год после женитьбы, Иван Ильич понял, что супружеская жизнь, представляя некоторые удобства в жизни, в сущности есть очень сложное и тяжелое дело» (Л. Н. Толстой).

Понимание как пропозициональное достижение, базируясь на обработке достаточного или недостаточного количества исходных данных, преобладании интуитивного или рационального момента, может характеризоваться со стороны ясности и четкости полученных представлений, а также степени уверенности человека в их истинности, что находит свое отражение в противопоставлении выражений *понять хорошо, отлично* — с одной стороны, и *понять смутно* — с другой. Ср.: «И смутно понял я тогда, что мне на родину следа Не проложить уж никогда» (М. Ю. Лермонтов); «Он теперь хорошо понял, как мила домашняя жизнь, которая казалась ему такой простой, и как гнусна бурсацкая, к которой он когда-то стремился (И. Г. Помяловский). Понимание как пропозициональное достижение по отношению к своему результату — факту [13] является неградуированным, ср.: * *Я плохо/уже лучше/понял, как мила домашняя жизнь*.

В случае понимания как пропозиционального достижения объект понимания часто в явном виде не задан заранее, а если явления, подлежащие пониманию, четко вычленимы, то внимание субъекта направлено не на их познание, а на определение того, что за ними стоит (понимание-1); внешне наблюдаемые признаки дают лишь материал для обоснования логического вывода. Имена, замещающие пропозицию при экспликации понимания как пропозиционального достижения, не могут поэтому относиться к предзаданным объектам понимания, а должны быть получены в результате преобразования внутри пропозиции — результата мыслительных усилий субъекта. Здесь возможны следующие варианты преобразований:

1) $N_1 \text{ есть } Adj \rightarrow N_{Adj} N_1^{Gen}$; $Inf \text{ есть } Adv \rightarrow N_{Adv} Inf^5$, когда существительное образуется от прилагательного или наречия в предикативной функции, например: «Они заранее били стбой — струсили, поняли фальшивость своего положения» (Д. Фурманов) = *Они поняли, что их положение фальшиво*; «Он получил изрядное воспитание, учился в университете, но рожденный в сословии бедном, рано понял необходимость проложить себе дорогу, набить деньгу» (И. С. Тургенев) = *Он понял, что необходимо проложить себе дорогу*.

2) $N_1 V \rightarrow N_V (N_1^{Gen})$, когда существительное образуется от глагола, например: «— Однако уже, кажется, одиннадцать часов пробило, заметила Марья Дмитриевна. Гости поняли намек и начали прощаться» (И. С. Тургенев) = *Гости поняли, на что намекала Марья Дмитриевна*. Имя субъекта:

свое: он сидел, глядел и ничего не понимал» (И. С. Тургенев); «Я знаю себя и многих других, составляющих не исключение, которые при устной передаче ничего не понимают, и понимают только тогда, когда спокойно дома читают книгу» (Л. Н. Толстой).

⁵ В статье приняты следующие обозначения: N — существительное, Adv — прилагательное, Inf — инфинитив, V — глагол в личной форме, Gen — родительный падеж.

екта пропозиции может замещаться притяжательным местоимением. В случае совпадения мыслящего субъекта и субъекта пропозиции такая трансформация обязательна, при этом эксплицитное употребление местоимения не является необходимым. Ср.: «Заснувший в сумрачной чаще филин спросонья сообразит, что наступил вечер, заушает, и, поняв [свою. — Д. М.] ошибку, затихнет» (Г. Марков) = *Филин затихнет, поняв, что [он] ошибся.*

3) Прямой объект может быть подлежащим придаточного предложения определенного содержания и структуры. Свертывание пропозиции происходит здесь следующим образом:

$$\begin{aligned} & \text{понять, что } \left\{ \begin{array}{l} N \text{ есть } x \\ N \text{ заключается в том, что } y \end{array} \right\} \rightarrow \\ & \text{понять, } \left\{ \begin{array}{l} \text{каков } N \\ \text{в чем заключается } N \end{array} \right\} \rightarrow \text{понять } N, \end{aligned}$$

ср. *Я понял его состояние; Я не понял позиции собеседника.*

От понимания как пропозиционального достижения надо отличать другой вид понимания, который связан с восприятием субъектом явлений окружающего мира и информации, полученной «из вторых рук». Этот вид понимания заключается в проверке истинности, обосновании или объяснении для себя какого-либо явления или суждения, в поиске ответа на вопрос «почему так, а не иначе?»⁶, в установлении определенных логических, в основном, каузальных, связей между вновь приобретенными сведениями и всем фондом знаний и представлений субъекта. Здесь можно говорить о понимании как уяснении. Аксиомы и высказывания типа *Витгенштейн родился в 1889 г.* не нуждаются в подобном понимании, т. к. они не требуют никакого рационального подтверждения. Фразы *Вы поняли?*; *Вам понятно?*, употребленные после них, равнозначны реплике *Вы запомнили?* Нельзя проверить понимание аксиом и чисто фактических утверждений, можно проверить только их знание; однако можно установить понимание следствий из чисто фактических утверждений. Ср. «— Наши красных трубочей пригнали. Понимаешь? — Чего уж тут понимать? — лениво отозвался толстомордый ординарец» (М. Шолохов).

Понимание как уяснение не является необходимым и тогда, когда субъект достаточно компетентен в том или ином вопросе и считает полученную информацию очевидной. В этом случае процесс понимания не актуализируется, и его достижение не может быть эксплицитовано, однако понимание как состояние имеет место и связано со способностью давать объяснение другому лицу (*Ну что тут непонятного? Давай объясню.*). Поскольку при понимании как уяснении результаты мыслительной деятельности обычно могут быть сформулированы в некотором наборе суждений, то можно говорить о пропозициональном характере этого вида понимания. При уяснении вскрываются по преимуществу каузальные связи, поэтому пропозиция чаще всего имеет форму придаточного причины. Ср.: *Я понял, почему река начала мелеть; Я понял, что река начала мелеть, потому что много воды стало уходить на орошение полей.* Поскольку понимание как уяснение всегда требует ментального усилия, то глагол *понять* в рассматриваемом значении синонимичен глаголам ментального вывода *установить, прийти к выводу, выяснить, догадаться* и т. д. Понимание как уяснение в отличие от понимания как пропозиционального достижения допускает градацию. Ср.: *После того, как я прочел эту книгу, я лучше понял, почему мелеют реки.* Про это понимание часто нельзя сказать, что оно достигло своей окончательной цели, некой «истины в последней инстанции». Углубление этого вида понимания ведет к увеличению количества суждений, которые могут быть высказаны субъектом по интересующему его вопросу, а также к изменению их содержания. Это особенно относится к научному познанию.

⁶ Ср. одно из определений понимания, которое приводит В. Н. Костюк: «Понимание есть ответ на вопрос „почему?“» [10, с. 256].

При понимании как уяснении объект приложения мыслительных усилий человека практически всегда задан заранее, поэтому существительные, замещающие пропозицию, обычно представляют собой не результат ее свертывания, а являются названиями некоторых логических категорий, которые подлежат прояснению в каждом конкретном случае, ср.: *Я понял его идею/сущность этого явления/причину произошедшего события / мотивы его поступка* и т. д.

Процесс понимания предполагает активную мыслительную деятельность субъекта. Это верно и для тех случаев, когда понимание возникает в ситуации объяснения. Слушая объяснение, субъект должен не только все запомнить, но еще и проследить за ходом мысли говорящего, логикой его рассуждения, оценить правильность полученных данных. Различный характер восприятия информации, полученной «из вторых рук», отражен в таких парах, как *мне сказали — я узнал от него* (где активная мыслительная деятельность субъекта не подчеркнута) и *мне объяснили — я понял*. Объясняют то, что может быть неясным, вызывает вопрос. Повествование не обязательно ограничивается передачей новой информации. Если у слушающего по ходу дела возникнут конкретные вопросы, то рассуждение может перейти в объяснение. Понимание объяснения в принципе должно обеспечить адекватное повторение полученных сведений, однако, давая знать, что объяснение достигло или не достигло своей цели, адресат не воспроизводит полученную информацию, а прибегает к местоименной или иной замене. Ср.: *Я все понял; Я ничего не понял; Я понял тебя, не надо мне больше об этом говорить; Я все-таки не понял, почему она не может прийти* и т. д. Имена, замещающие пропозицию (или ряд пропозиций), являются здесь или названиями соответствующих речевых актов, или названиями логических категорий, на раскрытие которых направлено объяснение. Ср.: *Я понял твоё объяснение / твою мысль; Я понял теперь причину его длительных отлучек* и т. д.

В отличие от многих видов понимания как пропозиционального достижения и понимания как уяснения понимание объяснения находится обычно в прямой связи с определенной (а именно, коммуникативной) ситуацией, ср.: *Теперь / вот сейчас / после того, как ты мне объяснил. / я понял, где она живет*. Подобно пониманию как уяснению понимание объяснения допускает градацию. Ср.: *Я плохо понял, почему отец не может приехать, объясни еще раз*. При передаче фактической информации, восприятие которой строится на логической основе, полное понимание возможно и составляет задачу любого объяснения. В случае же передачи мнений, оценок, общих суждений, когда имеет место объяснение-убеждение, а также в случае сообщения информации о внутренних состояниях и мотивах поступков самого субъекта или других людей объяснение зачастую не может достичь своей цели, если адресат не обладает нужным жизненным опытом, отличается от субъекта по своей психической организации или имеет другой взгляд на вещи. В этой ситуации говорящий может признавать всю бесполезность объяснения, ср.: «Евлалия! — То, что я чувствую, я не могу объяснить вам, вы не поймете. Чтоб понять мое горе, нужно иметь хоть несколько деликатности в чувствах. У вас ее нет (А. Н. Островский).

Во всех рассмотренных выше видах понимания (понимание как пропозициональное достижение, понимание как уяснение, понимание объяснения) сочетаемость глагола *понять* с пропозицией является первичным синтаксическим свойством этого глагола, а прямая объектная конструкция всегда является вторичной. Однако не всегда понимание, отраженное в прямой объектной конструкции, может быть сведено к пониманию пропозиций, например, в случае понимания теорем, задач, гипотез, теорий и т. д. Не случайно Дж. Моравчик, говоря о пропозициональном характере подобного понимания, рассматривал его в терминах другой эпистемологической категории — знания. Так, например, понимание доказательств означает, что: (а) человек знает, что p^1, \dots, p^n являются предпосылками рассуждения; (б) человек знает, что s^1, \dots, s^n являются шагами рассуждения; (с) человек знает, что s есть вывод; (д) человек знает, что для доказательства используются правила r^1, \dots, r^n . Он знает также,

какое правило используется для какого шага доказательства; (е) человек умеет воспроизвести доказательство; (f) человек умеет применять это доказательство. При этом условия (а) — (d) описывают пропозициональное знание, а условия (е) — (f) относятся к «знанию как» (*knowing how*) [14].

О пропозициональной природе понимания еще труднее говорить в тех случаях, когда субъект утверждает, что он понимает искусство /музыку/ Фолкнера и т. д., ибо, во-первых, подобное понимание не требует строго фиксированного набора знаний, а во-вторых, оно может происходить на интуитивном уровне и выражаться в неясных представлениях, ощущениях, которые невозможно перевести на язык суждений. Прямая объектная конструкция здесь первична и зачастую единственно возможна. Подобное понимание имеет вневременной характер и не ассоциируется со значением результата. Ср.: **Я понял математику / музыку*. Утверждения рассматриваемого вида понимания не сообщают никаких дополнительных сведений об объекте понимания, но определенным образом характеризуют субъект с точки зрения его развития и особенностей психики. Ср. возможные здесь перифразы: *Он хороший математик; Он глубоко чувствует музыку; Он любит Фолкнера; он разбирается в живописи*.

Сказанное выше относится и к пониманию эмоциональных состояний и внутренних мотивов поступков других людей. Глагол *понять* может здесь, однако, не только употребляться в прямой объектной конструкции (ср.: *Я понимаю его радость*), но и вводить придаточное дополнительное, если в главном предложении содержится отрицание. Например: «— Но я не понимаю, как вы можете полюбить человека, который сделал гадость, хотя бы и не для вас» (А. Н. Островский); «— Не понимаю, решительно не понимаю, за что вы себя унижаете и что такое особенное находите в своем муже?» (А. Н. Островский). Изолированное произнесение подобных придаточных представляет собой случай риторических вопросов, близких к восклицанию. Ср.: *За что вы себя унижаете? Что тут такого радостного? Как он мог так поступить?* Эти придаточные дополнительные не выражают пропозиции, поскольку не допускают развертывания в полное суждение при утверждениях понимания (ср.: **А я понимаю, что тут такого радостного; Я понимаю, что она себя унижает за то-то и то-то*).

Понимание чужого горя, радости, тоски по дому и т. д. имеет своим основанием сходство психической организации людей, известную общность жизненного опыта и умение субъекта поставить себя на место другого человека. Высказывание *Я понимаю его радость* означает «Я бы тоже радовался в подобной ситуации или «Я признаю возможность радоваться в подобной ситуации». Утверждения этого вида понимания определенным образом характеризуют самого субъекта (ср. возможные здесь ответные реплики: *Вы очень добрый человек, всегда стараетесь всех понять; Он совсем не хочет войти в его положение* и т. д.).

Каждому довольно трудно понять особенности других натур, всякий представляет себе всех людей по характеру своей индивидуальности. Отталкиваясь от своих представлений о том, что можно и чего нельзя делать, как бы «примеряя» поведение других людей «на себя», субъект при экспликации своего понимания или непонимания людей одновременно выражает свое отношение к ним: одобряет или осуждает, сочувствует или высказывает свое равнодушие. Так, если в реплике *Не понимаю, как он мог так поступить* звучит осуждение, то в ответном высказывании собеседника *А я его понимаю* осуждение снимается, хотя и не обязательно присутствует одобрение. Известное суждение «Понять — значит простить» отражает эмоциональный характер этого вида понимания.

Когда люди выражают свою оценку происходящего, они предполагают, что фактическая сторона дела им хорошо известна. Диалог в этом случае может превратиться просто в обмен мнениями, ср.: А. — *Не понимаю, что он так радуется*. В. — *Ну как же, друг приехал (= я понимаю его радость)*. А. — *Да какой это друг, завтра же поссорятся*. Однако в процессе общения может выясниться, что один из собеседников не располагает нужными сведениями: А. — *Не понимаю, как он мог так поступить. Уехал и даже не попрощался*. В. — *Да он же был очень занят. Неприят-*

ности на работе, да тут еще и жена заболела. А.—А я не знал. Ну, тогда понятно (= я понял, почему он не попрощался). Достигнутое понимание причин события отнюдь еще не означает согласия с тем или иным способом поведения. Ср.: *Я все понял (понял, почему ты так поступил). Но я все равно осуждаю тебя.*

В той или иной ситуации люди могут обращаться к окружающим с призывом понять их: *Поймите меня! Я продолжал с ним общаться, потому что мне было его жалко. Он ведь остался совсем один.* В общем случае эти высказывания имеют для адресата неинформативный характер, а сам императив *пойми(те)* равнозначен призыву представить себя на месте говорящего и не осуждать его. Процесс такого понимания не мыслится аналогичным процессу обдумывания, логического вывода или принятия решения, т. е. не имеет значения результата. Ср. высказывание *Не понимаю и понимать не хочу* и невозможность здесь реплик: * *Так ты меня (уже) понял?*; * *Ты понял его радость?*; * *Ты понял, как он мог так поступить?* и т. д. Уместными являются здесь следующие высказывания: *Ты меня понимаешь?*; *Ты можешь меня понять?*; *Ты уже не осуждаешь меня?*; *Ты больше не сердисься?*; *Не обижайся!*; *Ты меня прости?* и т. д.

С накоплением знаний и жизненного опыта не остаются неизменными представления и мерки, с которыми люди подходят к окружающим. Если призыв *Пойми меня!* часто есть только «крик души», которому суждено остаться без ответа, то реплика *Когда-нибудь ты меня поймешь!* имеет большие основания и большую жизненную силу. Приобретенный опыт может впоследствии помочь разобраться во внутренних мотивах поступка того или иного человека и изменить отношение к нему. Достигнутое понимание может выражаться в формулировке ряда суждений и представляет собой понимание как пропозициональное достижение (понимание-5). Ср.: *Я понял своего отца и сейчас уже не осуждаю его = Я понял, почему отец ушел от матери = Я понял, что отец ушел от матери, потому что ему было трудно жить с такой властной женщиной.*

Таким образом, понимание как допущение того или иного способа поведения, согласия с ним базируется на тех знаниях и представлениях, которыми обладает субъект. Хотя в отдельных случаях это понимание можно свести к пониманию пропозиции (*Я его понимаю = Я понимаю, что он не мог поступить иначе*), в общем случае подобные суждения являются высказываниями о самом субъекте и не вводят новой информации.

Мы рассмотрели пропозициональное употребление глагола *понять/понимать* в сопоставлении с непропозициональным.

Утверждения понимания, в которых присутствует пропозиция, выполняют двоякую функцию. С одной стороны, они сообщают о самом факте понимания, описывают некоторое ментальное состояние человека. С другой стороны, они осуществляют ввод новой информации, которая была получена субъектом в результате определенных мыслительных усилий. Понимание как состояние тесно связано с пониманием как результатом, поэтому здесь вполне закономерно употребление глагола *понять* в форме несовершенного вида. Понимание как процесс охватывает множество различных ментальных операций, в результате которых субъект приходит к постижению (достижению) некоторой информации. Особенности мыслительного процесса часто определяются спецификой семантического содержания пропозиции; так, общие истины постигаются человеком на собственном опыте, факты — путем установления логических связей, оценки ситуаций основываются на анализе и выводе и т. д. Результаты понимания переходят в фонд знаний или мнений субъекта; непонимание равносильно отсутствию мнения или незнанию. Ср.: «[Антригина]— ... ничто меня в жизни не занимает. И зачем я живу? Я не понимаю [= не знаю.— Д. М.]» (А. Н. Островский).

В непропозициональном употреблении глагол *понимать* сочетается с обозначениями лиц, их поступков и эмоциональных состояний, а также продуктов интеллектуальной деятельности людей. В непропозициональном употреблении рассматриваемый глагол выполняет в основном функцию характеристики субъекта и часто не ассоциируется со значением ре-

зультатива. Связь понимания со знанием не является здесь однозначной. С одной стороны, хорошее знание, например, теоремы, невозможно без ее понимания, а с другой стороны, само понимание строится на уже приобретенном знании. Неполное понимание не исключает возможности (частичного) знания.

Исследование глагола *понять/понимать* с точки зрения особенностей интенционального объекта и рассмотрения ситуаций, в которых используются соответствующие высказывания, демонстрирует один из возможных подходов к описанию его семантики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. М., 1976, с. 61.
2. Price H. H. Some considerations about belief.— In: Knowledge and belief. Ed. by Griffiths A. Ph. Oxford, 1968.
3. Хинтиikka Я. Семантика пропозициональных установок.— В кн.: Хинтиikka Я. Логико-эпистемологические исследования. М., 1980, с. 72—76.
4. Morawetz Th. Wittgenstein and knowledge. The importance of «On certainty». The University of Massachusetts, 1978, p. 93.
5. Wittgenstein L. On certainty. Ed. by Anscombe G. E. M. and von Wright G. H. Oxford, 1968, §§ 110, 136, 308.
6. Vendler Z. Say what you think.— In: Studies in thought and language. Ed. by Cowan J. L. The University of Arizona Press, 1970. p. 88.
7. Vendler Z. Res cogitans. An essay in rational psychology. Ithaca — London, 1972, p. 27.
8. Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук.— В кн.: Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979, с. 371.
9. Маймин Е. А. Лев Толстой. М., 1984, с. 137.
10. Костюк В. П. Объяснение, предсказание, понимание.— В кн.: Логико-гносеологические исследования категориальной структуры мышления. Киев, 1980, с. 246—261.
11. Булыгина Т. В. К построению типологии предикатов в русском языке.— В кн.: Семантические типы предикатов. М., 1982, с. 46.
12. Вистрицкий Е. К., Филатов В. П. Теория познания и проблема понимания.— В кн.: Гносеология в системе философского мировоззрения. М., 1983, с. 189.
13. Арутюнова Н. Д. Сокровенная связка (к проблеме предикативного отношения).— ИАН СЛЯ, 1980, № 4, с. 349.
14. Moravcsik J. M. Understanding.— *Dialectica*, 1979, v. 33, № 3—4, p. 206.

ОГЛОБЛИН А. К.

ДИАХРОНИЯ И МОРФОЛОГИЯ МАЛАЙСКО-ЯВАНСКИХ ЯЗЫКОВ

Целью настоящей статьи является обобщение данных по исторической морфонологии некоторых языков области Явы — Суматры — Малаккского п-ва и выяснение тенденций типологической эволюции этих языков в пределах, в основном, данного языкового уровня. Мы будем рассматривать языки малайский, сунданский, яванский, мадурский, ачехский и минангкабау. Условимся называть эти языки малайско-яванскими, не придавая этому названию строгого генеалогического смысла¹.

По аналогии с синхронной типологией, задачей диахронической типологии можно считать классификацию языков по видам языковых изменений и, в перспективе, отыскание логических зависимостей между этими изменениями. Если эта задача ограничивается рамками какой-либо исторически сложившейся группы языков, нередко возникает возможность представить разные типологические классы языков как последовательные стадии реализации какой-либо длительной исторической тенденции, «различные стадии единого процесса» [6]. Так, о «синитических» языках Китая и Юго-Восточной Азии С. Е. Яхонтов пишет: «Развитие всех изолирующих слоговых языков идет в одном и том же направлении... мы ... можем обнаружить общую тенденцию, общее направление движения, сравнивая аналогичные изменения, происходившие в разных, часто неродственных языках» [7]. Относительно этих общих тенденций синитические языки разделяются автором на архаичные, средние и поздние, по признакам изменяемости корня, наличия тонов, словосложения и др., причем в один и тот же класс не обязательно входят языки, сосуществующие во времени (например, в архаичный класс — кхмерский и древнекитайский). Другой пример — классификация германских языков К. Хуттерера [8]. Современные языки этой группы он распределяет по оси «архаичный — новый» на пять классов, от исландского до африканс. Напротив, языки разных эпох, как, например, исландский и древнеанглийский, могут входить в один типологический класс.

В отношении австронезийских (далее — АН) языков отмечается, что максимальное число архаизмов сосредоточено в северном ареале их распространения, включающем Тайвань и Филиппины, о чем см., например,

¹ Малайско-яванская группа языков выделена как генетическая единица в составе четырех первых названных языков в работе Б. Нотхофера [1], содержащей компаративный анализ большого корпуса когнатных морфем вместе с праформами различных генеалогических уровней. Некоторые данные вызывают сомнение в существовании этой группы языков именно в таком составе [2]. Напомним, что малайские диалекты (общее число носителей около 15 млн.) существуют, в частности, на Суматре, Малаккском п-ове и Яве (джакартский). Суматранские диалекты были базой древнемалайского языка VII—XIV вв., полуостровные — средневекового малайского XIV—XIX вв. (далее сокращенно ТМ: традиционный малайский). Малайские диалекты на Яве сложились в результате длительного контактного процесса при участии местных, а также неродственных языков. На базе ТМ и диалектов Явы и соответственно Полуострова в XX в. сформировались индонезийский и малайзийский языки — две современные формы литературного малайского (последнее название ныне употребительно в Сингапуре и Брунее). См. об этом, например [3]. Минангкабау (5,6 млн., Западная Суматра), судя по его арабизированной форме, возникшей не ранее XVI в., отделился от малайского сравнительно поздно. О языках Явы см., например, нашу статью [4], со следующими поправками о числе носителей: яванский — 67 млн., сунданский — 19 млн., мадурский — 8,7 млн. Ачехский — язык на Северной Суматре (2,2 млн.; здесь и выше оценочные демографические данные на конец 70-х годов по справочнику [5]).

в работе Ю. Х. Сирка [9]. Это касается и грамматики, в частности, глагольной системы: как полагают О. Даль и другие авторы, по основным характеристикам этой системы праавстронезийский (далее — ПАН) язык был довольно близок филиппинским языкам [10]. Судя по этим доводам и соображениям, малайско-яванские языки оказываются включенными в большую зону структурных инноваций. В этом плане представляет интерес и то, что древнеяванский язык, как было замечено еще в прошлом веке, материально и структурно ближе к филиппинским языкам, чем новояванский. Например, инфиксы (инфикс-префиксы) *-in-*, *-um-*, известные в филиппинских языках, продуктивны и в древнеяванском, так же как и характерная филиппинская черта — вставка инфикса внутрь префикса: *raka-* — *pinaka-*. В новояванском эти аффиксы утрачены или потеряли продуктивность. Как можно судить по скудной древнемалайской эпиграфике, в малайском также исчезли некоторые аффиксы, сближающие его с филиппинскими языками.

Одна из причин структурных инноваций в АН семье, как и других языковых семьях, — контакты с языками иной структуры. Примерами могут служить чамский и другие АН языки Индокитая, оказавшиеся в окружении неродственных изолирующих языков, языки Восточной Индонезии и малагасийский, для которых предполагаются субстраты — «папуасский» (условное название) и соответственно банту. Контакты представляют, однако, чрезвычайное разнообразие языковых ситуаций, эволюционные последствия которых могут быть очень различны. Возможно, иногда контакты ускоряют «эволюционную инерцию» системы — т. е. тенденции, обусловленные ее внутренними свойствами. Этим можно объяснить наблюдаемый иногда параллелизм эволюции типологически близких, но ареально разобщенных языков. Очевидна, во всяком случае, теоретическая важность проблемы различения внутрисистемных и внешних факторов эволюции языка, и отличия обоих этих факторов от более общего фактора развития, т. е. функционального совершенствования.

Что касается классификационных признаков, то их выбор определяется особенностями языков данной группы, и изучаемым языковым уровнем. В связи с первым фактором означенные признаки могут в разной степени отличаться от тех признаков, которые используются в глобальной типологии (макротипологии). Подытоживая опыт сопоставления иберо-романских языков, Е. М. Вольф пишет: «Типологические признаки, выработанные в общей типологии, для таких структурно близких языков использованы быть не могут» [11]. Действительно, с точки зрения макротипологии такие языки попадают в один и тот же класс, внутри которого деление осуществляется по иным признакам, нежели выделение самого этого класса. Но в области морфонологии классификационные признаки в принципе менее разнообразны и, возможно, ближе к общетипологическим, чем, например, признаки глагольных конструкций. Некоторые признаки, введенные ниже, относятся к малайско-яванской группе как к целому.

1. Изменения в слоговом составе морфем. По слогосоставу морфем изучаемые языки объединяются благодаря преобладанию морфем-двуслогов, а различаются по относительному содержанию односложных морфем. В сунданском, по оценке А. Фоккера, морфем-двуслогов не менее 80% [12, с. 22], в яванском, по данным Э. Уленбека, — 85% [13, с. 231], в индонезийском, по подсчету Е. М. Щуко, — 87% [14]. Двусложность — исторически устойчивая черта АН корней, вероятно, унаследованная от ПАН состояния, в корнеслове которого, реконструированном О. Демпвольфом, двуслоги достигают 96% [15]. Это сближает малайско-яванские языки со многими другими родственными языками.

Малое количество односложных морфем характеризует, видимо, все языки Явы, включая индонезийский. По-видимому, ни в одном из них содержание морфем-однослогов не достигает 5% (о яванском и индонезийском см. упомянутые работы). Чрезвычайно показательны, по словам Л. Г. Зубковой, чередования нетипичных однослогов с типичными двуслогами в индонезийском: последние образуются с помощью протезы гласного [ə]: *gung* — *egung* «гонг» [16, с. 213]. Такая протеза характерна для

сунданского, мадурского и яванского²: мад. *ejjham* < мал. *jam* «час»³, *errpot* < гол. *pot* «горшок, ваза», снд. *eros* < гол. *roos* «роза», яв. (варианты) *eler* — *lèr* «север». Другой предполагаемый путь бисиллабизации — «расщепление» гласного, распределение его на два слога со вставкой консонантного элемента: снд. [gɔʔɔŋ] — яв. [gɔŋ] — «гонг», снд. [saʔat] — яв. *a-sat* «сухой», мад. [rɔʔɔm] — др.-яв. *rūm* «ароматный», мкб. *Ruhum* < араб. *rūm* «Византия; Турция», ач. *teu'ōt*, мад. [tɔʔɔt], ср. мал. *lutut* «колесо» и *ber-t-el-ut* «становиться на колени», см. [12, с. 40—41; 18; 19, с. 432].

В древнеяванском нередки однослоги, восходящие, согласно реконструкции, к ПАН двуслогам: др.-яв. *wwah* < ПАН **buah* «плод», др.-яв. *bwat* < ПАН **bəwat* «тяжесть». В дальнейшем из таких однослогов образовались (с вытеснением их или сохранением в качестве вариантов) двуслоги, т. е. часть яванской лексики пережила циклический процесс от двуслога к однослогу и обратно. Обратная бисиллабизация довольно подробно рассмотрена Й. Де Каспарисом. Основную роль при этом играли протезы гласных [ə], [i], [u], аффиксация, удвоение и сложение морфем с последующей лексикализацией полученного двуслога: *wwah* — *wwoh* «плод», *tūt* — *etut* «следовать», *srah* — *pasrah* «отдавать», *gya* «спешка» — *gegé* «спешить», *tan wruh* — *tambuh* «не знать». «Там, где влияние фонетических законов, — пишет автор, угрожало двусложной структуре, говорящие нашли средства эту структуру восстановить» 20).

В ачехском языке значительная часть словаря — однослоги, соответствующие двуслогам родственных языков: ач. *thon* — ТМ *tahun* «год», ач. *tron* — ТМ *turun* «опускаться», ач. *ba* — ТМ *bawa* «нести».

Моносиллабизация корнеслова — заметное явление и в малайских полуостровных диалектах [21, 22]. Сильнее всего она выражена в северных диалектах и говорах Западной Малайзии.

И в ачехском, и в малайзийских диалектах моносиллабизация, скорее всего, объясняется контактно. Значительные материальные и структурные схождения ачехского с мон-кхмерскими языками, обстоятельно рассмотренные Х. Кованом, заставляют предположить мон-кхмерский субстрат на занимаемой ныне ачехским языком территории Северной Суматры, хотя автор больше склонен подчеркивать контакт ачехского с малайским [19, с. 432]. Ачехско-малайский контакт, однако, скорее относится к числу торгово-обменных, обычных для малайского языка в прибрежных районах и охватывающих небольшую прослойку местного населения. Ср. мнение К. Снаука Хюргорнье, высказанное этим крупным знатоком Аче в конце XIX в.: «Средний ачехец, не живущий на побережье, и даже большинство портовых жителей не знают по-малайски почти ни слова» [23].

В малайских диалектах моносиллабизация наиболее интенсивна в районах контакта с тайским, а в прошлом — с мон-кхмерскими диалектами или языками.

Причины моносиллабизации в древнеяванском неизвестны. Не следует ли и здесь предположить древние контакты, следы которых в истории утрачены?

2. Синхронное варьирование слогосостава морфем и диахрония. Сокращение слогосостава значимых единиц в беглой речи свойственно, вероятно, всем языкам: неуниверсальны лишь ограничения, накладываемые на эту закономерность в языках того или иного типа. В части малайско-яванских языков — кроме малайских полуостровных диалектов и, по всей вероятности, ачехского — такое ограничение связано с канонической двусложностью морфемы, при которой некоторые однослоги-заимствования сохраняются в книжной речи, а в разговорной становятся двусложными (см. выше примеч. 2). Все-таки правила сокращения слогосостава морфем в беглой речи имеются во всех обсуждаемых языках. Основные из этих правил следующие.

1. Усечение до последнего слога: снд. *latun* — *tin*, мад. *laton* —

² В яванском толковом словаре [17] передки отсылки от двусложного варианта с [ə] к однослогу — очевидно, как к более литературному.

³ В мадурском протеза [ə] сопровождается геминацией согласного, начинающего однослог.

mon «если», ин. *satu* — *tu* «раз, один», *tiga* — *ga* «три», *barak* «отец» — *pak* «бабушка!» (обращение), яв. *maju* — *ju* «вперед!»⁴, *paða* — *da* «одинаково», *Padma* и с.м. Падмо — *Ma* (форма обращения к Падмо) [13, с. 65], млз. *apa* — *pa* «что?».

2. Стяжение смежных или разделенных щелевым сонантом либо [h] гласных: яв. *diwé* — *dé* «иметь», *tau* — *tu* «давеча» [13, с. 59], снд. *paða* — *pa* «что?» [12, с. 22]; дифтонгизация двусложной группы гласных: ин. *tau* — [təu] «хотеть», [təmulai] — [təmulai] «начинать» [16, с. 215].

3. Выпадение гласного с сохранением предшествующего согласного в антепенультине или пенультине: ин. [bəri] — [bri] «давать» [3, с. 45], улу-муарск. (один из малайских полуостровных говоров) [tapi] — [tɾi] «край», [tompaɣan] — [tɾpaɣan] «кувшин» [24, с. 109—110].

Первое правило особенно интенсивно применяется в малайских полуостровных диалектах и в разговорном малайском Западной Малайзии. Оно известно также в минангкабау [25]. По второму правилу данных очень мало, и оно требует дальнейшего изучения. Третье правило интересно тем, что имеет довольно отчетливую диахроническую проекцию: языки распределяются по стадиям эволюции слогосостава. Можно выделить по меньшей мере четыре таких стадии, — включая начальную и конечную, в которых чередования почти или совершенно отсутствуют.

Стадия 1. Чередований с материальным нулем практически нет: древнеяванский, сунданский и мадурский. В древнеяванском словаре варианты редки: *geremus* — *gremus* «царапать». В текстах гласный [ə] часто пропусклся, но эти пропуски, судя по соотношению их с правилами персификации, не отражали произношения [26]. В литературных сунданском и мадурском языках чередования встречаются под влиянием заимствования из яванского, что особенно наглядно видно в западномадурском диалекте, более близком яванскому, чем литературный язык: мад. *carèta* — *crèta* «рассказ», снд. *karana* — *krana* — «причина». В сунданском толковом словаре часто дается отсылка к полногласному варианту.

Стадия 2. В антепенультине гласные [a], [i], [u] чередуются с нейтральным и более кратким [ə], а в антепенультине и пенультине нейтральный гласный чередуется с нулем (яванский и малайский, кроме некоторых полуостровных диалектов): яв. *nagara* — *negara* «город», *sinuhun* — *senuhun* «властитель», *gumagus* — *gemagus* «щеголеватый» [13, с. 14], [malaku] — [mlaku] «ходить», [gamelan] — [gamelan] «гамелан» [27] ин. [kalimat] — [kalimat] «предложение, фраза» [3, с. 29], [pərau] — [prau] «лодка», млз. [dərama] — [drama] «драма» (второй вариант в последней паре сейчас считается более правильным). Ввиду комплексного характера признака он допускает некоторую детализацию, которую мы не рассматриваем.

Стадия 3. С нулем чередуются другие, не нейтральные гласные. Это мы видим в улу-муарском диалекте. См. примеры выше, а также: [sakti] «болеть» — [skit ati] «обижен», [situ] «там» — [stu-á] «вон там» [24, с. 110].

Стадия 4. Чередование отсутствует: бывшая позиция чередования между согласными уже не заполняется гласным, что приводит к устойчивому консонантному сочетанию. Этой стадии соответствует ачехский (см. примеры выше), а среди полуостровных малайских диалектов — говоры внутренних районов Кедаха, где встречаются формы, сходные с ачехскими: *thong* — ТМ *tahun* «год» [21, с. 76] (примеры скудны).

3. Асиллабичные и асегментные морфемы. Морфемы, не содержащие слогоносителей (т. е. практически гласных), в малайско-яванских языках единичны. Все они служебные и большей частью существуют в виде двух алломорфов — силлабичного и асиллабичного, один из которых может быть стилистически маркирован: либо силлабичный является книжным, как яв. *aN-*, либо асиллабичный — разговорным, как ин. *N-* (ср. ниже)⁵. С типологической точки зрения важнее,

⁴ Знаки *c*, *j* означают среднеязычные аффрикаты, *y* — такой же сонант.

⁵ Вариант *N-* в индонезийском чаще встречается в разговорном языке вместо [mN-]: *mikul* вм. *metikul* «бить» от основы *-rikul*. Префиксы с конечным назальным согласным, подверженным фузии, в АН языках не многочисленны, но продуктивны и характерны. Возможно, подобные префиксы существовали и в праязыковом состоянии.

по-видимому, асиллабичность реляционных, чем деривационных морфем: последние часто утрачивают продуктивность, а соответствующие дериваты в той или иной мере опрошены. Из реляционных морфем можно отметить древнеяванский артикль [ɟ] и встречающиеся в некоторых текстах показатели лица субъекта действия [28]. В новояванском эти морфемы исчезли. С другой стороны, в отличие от древнеяванского *aN-*, в языках Явы и отчасти в малайских диалектах используется глагольный префикс, в грамматиках обычно обозначаемый символом *N-*. Он реализуется либо сегментным способом — в виде одного из назальных сонантов, либо выступает в виде дифференциального признака назальности в составе согласного, принадлежащего, в порядке фюзии, префиксу и корню (или основе): мад. *ng-owan* «пасти», яв. *n-dongèng* «рассказывать сказку», ср. мад. *taca/N-baca* «читать», яв. *prima/N-trima* «смириться». В ТМ, индонезийском и малайзийском реляционных асиллабичных морфем нет; относительно полуостровных диалектов данных мало. Можно отметить местоименно-анафорический элемент [n] в улу-муарском и проклитическую морфему со значением «один» [s] в кедахском в позиции перед гласным корня: [sari] «один день». В сунданском и мадурском асиллабичные морфемы, кроме *N-*, по крайней мере, продуктивны, неизвестны, за исключением алломорфа *-n* суффикса *-an* в мадурском (впрочем, этот алломорф также не относится к продуктивным): *ghiba* «нести» — *ban-ghiban* «ноша».

В целом признак асиллабизма морфем трудно использовать для диакронической классификации изучаемых языков. Он имеет, однако, большое общетипологическое значение. Как показывает В. Б. Касевич, отсутствие асиллабичных морфем является свойством слоговых языков [29]. Таким образом, по данному признаку малайско-яванские языки оказываются близкими слоговому типу.

4. Сегментная структура морфемы и слога. Сюда относятся признаки а) консонантных групп в начале морфемы и слога, б) состава гласных в конце морфемы и слога, в) интервокальных консонантных групп в морфеме. Первый признак связан с варьированием слогосостава, рассмотренным выше. Выпадение гласного ведет, как видно из примеров, к образованию начальных стечений согласных. В сунданском и мадурском языках тенденция избегать таких начальных групп сильнее, чем тенденция к двусложности, ср. преобразование заимствований: мад. *kalèbun* < яв. *kliwon* «староста», снд. *Parasman* < гол. *Fransman* «француз». В яванском положение обратное. Уже в древнеяванском начальные группы согласных в заимствованиях обычно не адаптировались, хотя в исконном корнеслове таких групп совсем или почти не было. В дальнейшем древнеяванские трехслоги, утратив первый гласный перед плавным [r], [l], образовали новояванские двуслоги: *kalambi* — *klambi* «куртка, рубашка», *kulimis* — [klimes] «гладкий, скользкий», *kirincing* — [kriŋceŋ] «звон». В малайском на раннем этапе, как о том свидетельствуют заимствования типа *seloka* «стихотворная максима» из скр. *çloka*, «двустипшие», начальные группы согласных избегались; в современном индонезийском (и в джакартском диалекте), как показывает К. Грейнс, такие группы нормальны [30]. В малайзийском произношении такие группы, по нашим наблюдениям, также обычны, и они кодифицированы новейшими орфографическими правилами. Они регулярно чередуются с сегментами, содержащими гласный — чаще всего [ə]. Такое же положение в полуостровных диалектах, причем основным может быть вариант с гласным или без гласного. В ачехском языке консонантные группы в начале морфемы весьма разнообразны и многочисленны.

Признак ограничений консонантизма в конце морфемы более или менее равнозначен степени консонантной контрастности ан- и ауслаута, так как в первой позиции возможны все или почти все согласные каждого языка. Выделяются три типологических класса. Слабоконтрастные языки — древнеяванский и сунданский: в них звонкие согласные возможны не только в ан-, но и в ауслауте, что сближает их с таким языком, как тагальский. Умеренно контрастные языки — малайский, яванский и мадур-

ский. В малайском не бывают в исходе морфемы звонкие, за исключением редких заимствований, в которых звонкий может произноситься перед начальным гласным суффикса: [jawab-an] «ответ» (вариант [jawapan]). В мадурском также отсутствуют конечные звонкие (конечные аспираты регулярно появляются перед гласным суффикса: *totobh-i* «закрывать»). В яванском произношение аспират в такой же позиции является устаревшим [13, с. 42—43]. Сильноконтрастные языки — ачехский и малайские диалекты полуострова, хотя в последних перед гласным суффикса в части лексики (возможно, под влиянием литературного языка) может восстанавливаться согласный, отсутствующий в абсолютном исходе: улу-муарск. *tarih* «цедить» — *tapis-an* «фильтр» [24, с. 93]. В рамках слога степень контрастности мадурского сближает его с древнеяванским и сунданским, поскольку конечнослоговой звонкий согласный возможен в инлауте при геминации: [kəd/diʔ] «тревожиться». В редких случаях это возможно и в индонезийском при сочетании различных смычных: *Abdul* «Абдул», ср. [31].

В отношении инлаута морфемы можно ориентироваться на сложный признак «степень разнообразия допустимых интервокальных групп согласных». Но практическое применение этого признака осложнено тем, что в литературных языках имеется немало редких сочетаний согласных в неадаптированных или частично адаптированных заимствованиях. Например, в мадурском сочетании [str] встречается лишь в двух-трех морфемах: *èstrè* «женщина» (< скр. *stri*). Если отвлечься от заимствований, то можно выделить два направления инноваций: к уменьшению и к увеличению разнообразия интервокальных групп. Первая тенденция свойственна малайзийским диалектам и литературному языку. В келантанском диалекте утратились столь характерные для малайско-яванских (и АН вообще) языков гоморганные группы «назальный сонант + глухой смычный»: кел. *laca* — ТМ *lancar* «беглый, плавный» [32]. В большинстве полуостровных диалектов и в преобладающем произношении малайзийского языка в результате падения ТМ [r] в конце слога упростились сочетания [r] с другим согласным: [kəjə] — ТМ *kerja* «дело, работа». Второе направление инноваций — к большему разнообразию интервокальных групп — свойственно мадурскому. Уже упомянутая геминация — по крайней мере, для значительной части лексики — представляет, безусловно, инновацию, что видно по заимствованиям из санскрита, арабского и других языков: мад. *pojha* < скр. *puja* «почитание», мад. *nabbhi* < араб. [nabiʔ] «пророк». Кроме того, в мадурском появились сочетания «назальный смычный + аспирата»: *tèngghi*, ср. мал. *tinggi* «высокий».

Древне- и новояванский, сунданский и индонезийский занимают по данному признаку среднее положение, хотя при более детальном рассмотрении между ними можно обнаружить различия.

Ачехский и минангкабау близки к полуостровному типу: в них интервокальные сочетания избегаются, ср. ач. *meuseukin*, мкб. *misikin* или *mikin* — мал. *miskin* «бедный» (< араб. *miskin*).

5. Суперсегментная фонология и фонетика. В этой области для диахронической классификации недостаточно данных в пределах малайско-яванской группы; интересно, однако, ее положение относительно других родственных языков. В отличие от таких языков, как тагальский, тоба-батакский или бугийский, для морфемы и слова в малайско-яванских языках типично отсутствие фонологически значимых просодических или иных суперсегментных явлений — в том числе и словесного ударения. Возможное исключение представляет назальная ассимиляция гласных в сунданском языке, обнаруженная Р. Робинсом, которая как будто способна различать слова разной морфемной структуры [33]. В остальных языках суперсегментные средства служат целям сегментации текста (делимитативная функция Трубецкого). К ним относится гармония гласных по подъему в индонезийском, возможно также, в яванском и сунданском языках. Эта гармония ограничена пределами корневой морфемы (об индонезийском см. [3 и 34]). В отличие от этого, в мадурском наблюдается прогрессивная ассимиляция гласных по подъему, захватывающая

не только корневую морфему, но и суффикс [35]. Отсутствие фонологического ударения — видимо, инновация малайско-яванских языков в целом: менее вероятно появление такого ударения в порядке инновации в филиппинских и других родственных языках.

Что касается делимитативного ударения, то оно, видимо, не вполне одинаково в разных языках группы. В частности, дифтонгизацию гласных в последнем слоге в минангкабау, полуостровных малайских диалектах и ачехском можно, вслед за некоторыми исследователями, в том числе Х. Кованом, связать с переносом ударения (делимитативного, но не фонологического) на этот слог. Это согласуется с элизией первого слога в той или иной части лексики (ср. выше).

6. Тенденция к совпадению морфемных границ со слоговыми. Обязательное совпадение границ этих двух видов — закономерность слоговых языков, например, китайского или бирманского. Исторические изменения в соотношении слоговых и морфемных границ означают либо приближение к слоговому типу — если совпадение границ возрастает, либо удаление от него — если это совпадение становится более редким. В фонологической типологии, разработанной В. Б. Касевичем, некоторые индонезийские языки отнесены к неслоговым с чертами силлабизма [29]. Отличим их от слоговых языков является то, что Касевич называет ресиллабацией, т. е. смещение слоговых границ относительно морфемных: согласный одной морфемы объединяется в одном слоге с гласным другой: ин. *minut* «пить» — *minu/m-an* «питье». В слоговых языках ресиллабация не допускается.

В малайско-яванских языках ресиллабация бывает префиксальная, инфиксальная и суффиксальная, в зависимости от того, каким морфемам принадлежит предшествующий согласный и последующий гласный: префиксу и корню — ин. *ikut* «следовать» — [pəŋ-i/kut] «последователь»; корню, инфиксу и опять корню: др.-яв. *tulis* «писать» — *t-i/n-u/lis* «написан»; корню и суффиксу: мад. *ènot* «пить» — *-èno/m-e* «поить» (см. также выше индонезийский пример) ⁶.

Соответственно, сужение сферы ресиллабации при прочих равных условиях происходит, если в языке утрачивается продуктивность или убывает число 1) инфиксов с начальным гласным и конечным согласным, 2) согласноконечных префиксов, 3) гласноначальных суффиксов, 4) согласноконечных корней, 5) гласноначальных корней. При этом имеются в виду силлабические (не «меньшие слога») морфемы, а при наличии алломорфов учитываться должны те из них, которые участвуют в аффиксации.

Все перечисленные явления наблюдаются в малайско-яванских языках.

1) Инфиксы вида VC продуктивны в древнеяванском и сунданском: снд. *bodo* «глухой» — *barodo* «глухие» [35]. В новояванском инфикс *-it-* непродуктивен, а *-in-* принадлежит книжному стилю. Непродуктивны инфиксы и в малайском и мадурском, причем, судя по отдельным примерам из древней эпиграфики и некоторым опрощенным морфемам, инфикс *-it-* существовал и в древнемалайском.

2) Древнеяванский префикс *aN-* в новояванском отразился в виде *N-* (кроме книжного стиля, ср. выше). В ТМ, индонезийском и малайзийском конечный назальный префикса [mɛN-] переходит в следующий слог: *me/ng-a/sah* «точить», *me/ng-a/ljar* «обучать». В улу-муарском и минангкабау в позиции перед гласным корня назальный элемент обычно утрачивается: улу-м. [moasah] «точить», мкб. [maaja] «обучать».

3) Гласноначальные суффиксы *-i* и *-an* в малайских диалектах менее продуктивны, чем в литературном малайском [21]. В ачехском утрачены все суффиксы. В яванском суф. *-ake* часто произносится [ke] и иногда пишется *ke*: *neruske* = *nerusake* «продолжать», *nguntungke* = *ngunt'ungake* «благодарствовать».

⁶ При сочетании двух корней или компонентов повтора ресиллабация обычно не имеет места, хотя в разговорной речи встречаются исключения. Заметим, что инфиксы в изучаемых языках обычно вставляются после первого согласного корня и имеют структуру VC (*-in-*, *-ar-* и др.).

4) Конечные ТМ *-r* и *-l* утрачены в минангкабау и некоторых полуостровных диалектах, в части последних — и другие согласные. Таким образом, ТМ *ambi/l-an* «что-либо взятое» соответствует мкб. *ambie/-an* «дерево с оборванными листьями», ТМ *tengai/r-i* «обводнять» — мкб. *[maai-e-i]* (часто, однако, конечный *-r* или *-l* корня перед суффиксом, так же, как и в полуостровных малайских диалектах, восстанавливается).

Проблематично слогоделение при интервокальной гортанной смычке в мадурском, яванском и минангкабау: $V/?V$ или V^2/V . В отношении мадурского языка, исходя из определенных фактов его фонологии и морфологии, можно присоединиться к А. М. Стивенсу, предлагающему второй вариант слогоделения [35, с. 30]⁷: $[sa/ke^2/\epsilon]$ «обижать». Это значит, что ресиллабации нет, поскольку [ʔ] в таких случаях принадлежит корню: $[sake^2]$ «болеть». Между тем гортанная смычка в аудите корневых морфем малайско-яванских языков является исторической преемницей некоторых других согласных, которые, очевидно, подвергались ресиллабации. Так, мад. $[sake^2]$ возводится к праформе с конечным $[t]$, ср. мал. *sakit* «болеть» и *sak/t-i* «обижать.» Поэтому замена типа $[t]$ — [ʔ] оказывается фактом не только исторической фонетики, но и типологической эволюции: эта замена устранила ресиллабацию, существовавшую в более раннем состоянии языка. Ср. также мкб. $[laui^2-an] = [la/ui^2/an]$ (?), мал. *la/u/t-an* «океан» и мкб. $[laui^2]$, мал. *laut* «море».

5) Замена гласноначального корня согласнoначальным происходила в истории яванского языка при падении начального гласного в трехсловах: *yuyi* < *ayuyi* «краб, креветка», *tama* < скр. *uttama* «высший» (иногда с сохранением вариантов). Возможно, к явлениям этого рода следует отнести и опрощение префиксальных, при котором корень оказывается прикрыт согласным бывшего префикса: мад. *osa*⁸ «речь» — *kosa*⁸ «произносить» (варианты корня, частично распределенные по морфологическому окружению).

Приведенные факты свидетельствуют о том, что в ранних состояниях яванского и малайского языков ресиллабация, приводящая к несовпадению слоговых и морфемных границ, применялась шире, чем сейчас. В ачехском, малайских диалектах и минангкабау факторы ресиллабации относительно ослаблены, а сунданский, как и в других отношениях, более консервативен, сближаясь с древнеяванским. В мадурском языке геминация перед гласноначальным суффиксом является своего рода возвратом к древнеяванскому, где такая геминация нерегулярна и, по мнению специалистов, имеет реликтовый характер⁸: *k-in-on/n-akan* «повелевается» ст корня *kon* «повелевать», *p-in-a-gěh/h-akan* «утверждается» от корня *gěh* «твердый» (примеры из надписи X в., см. [37]). Второй согласный геминаты принадлежит корню, но входит в один слог с гласным суффикса. В мадурском это явление регулярно: *toron* «опускаться» — *toron/n-aghi* «опускать».

Общая тенденция обсуждаемых языков по данному признаку — в направлении слогового типа.

7. **З а к л ю ч е н и е.** Тенденция к сокращению слогосостава морфемы, к совпадению слоговых и морфемных границ, к контрастности консонантизма разных позиций в слове и морфеме, малое количество асиллабичных морфем (и их чередование с силлабичными), отсутствие фонологического ударения — все это сближает малайско-яванские языки с изолирующими и слоговыми языками Юго-Восточной Азии. Не противоречит этому и образование новых консонантных групп в начале слога и морфемы — подобные группы отмечаются в архаичных «синитических» языках, а на более поздних стадиях исчезают.

Внутри малайско-яванской группы можно выделить более архаичные и более продвинутое (относительно общих тенденций группы) языки.

⁷ Как видно из примеров автора, в символическом изображении правила слогоделения на этой странице допущена опечатка: вместо $\#(C)V/q$ следует читать, очевидно, $\#(C)Vq/$.

⁸ См., например, работу И. Раса [38]. Б. Нотхофер проецирует геминацию в «пра-малайско-яванское» состояние. Некоторые соображения о происхождении мадурской геминации см. [39].

К архаичным, наряду с хронологически ранним древнеяванским (и древне-малайским), относятся сунданский и в несколько меньшей степени мадурский. К более продвинутому относятся ачехский, малайские диалекты Полуострова и минангкабау. Литературный малайский и яванский (новояванский) занимают относительно общих тенденций группы среднее положение.

Если общие тенденции в «продвинутых» языках выражены сильнее, то это, возможно, объясняется контактом с языками изолирующего и слогового (близкого к слоговому) типа. У яванского таких контактов нет и, скорее всего, никогда не было, однако некоторые диахронические изменения, в частности, сокращение слогосостава морфемы и образование началь-поконсонантных групп сближают его с «продвинутыми» языками. В связи с этим весьма вероятно, что не все типологические изменения малайско-яванских языков объясняются контактными воздействием: часть этих изменений обусловлена собственной эволюционной инерцией, т. е. внутренним предрасположением языковой системы к развитию в определенном направлении. Роль контактов в значительной мере сводится к ускорению этой инерции.

Возможно, решению проблемы будут способствовать данные диахронии других языковых сфер: фонологии, морфологии, синтаксиса. Это, однако, выходит за рамки нашей темы. Хотелось бы лишь обратить внимание на многозначность диахронических явлений: некоторое изменение имеет последствия не только для «собственного» языкового уровня (как, например, утрата аффикса — для морфологии), но и для других уровней (компонентов, сфер) языковой системы. В этом можно видеть один из аспектов системности языковой эволюции.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Nothofer B.* The reconstruction of Proto-Malayo-Javanic. 's-Gravenhage, 1975.
2. *Blust R.* The reconstruction of Proto-Malayo-Javanic. An appreciation.— *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde*, 1981, d. 137.
3. *Алиева Н. Ф., Аракин В. Д., Оглоблин А. К., Сирк Ю. Х.* Грамматика индонезийского языка. М., 1972.
4. *Оглоблин А. К.* О языковых контактах в яванском ареале.— В кн.: Генетические, ареальные и типологические связи языков Азии. М., 1983.
5. *Брук С. И.* Население мира. Этнодемографический справочник. М., 1981.
6. *Шарадзенидзе Т. С.* Типология языков в синхроническом и диахроническом плане. Тбилиси, 1982, с. 44.
7. *Яхонтов С. Е.* Общие тенденции развития синитических языков.— В кн.: Страны и народы Востока. Вып. XI. М., 1971, с. 269.
8. *Hutterer C. J.* Über die Möglichkeit einer historischen Typologie der germanischen Sprachen.— In: Theoretical problems of typology and the Northern Eurasian languages. Amsterdam, 1970.
9. *Сирк Ю. Х.* К вопросу о подразделении австронезийской семьи языков.— В кн.: Теоретические проблемы восточного языкознания. Ч. 6. М., 1982.
10. *Dahl O. Chr.* Proto-Austronesian. Lund, 1976.
11. *Вольф Е. М.* Некоторые особенности структуры слова в португальском языке (в сравнении с испанским).— В кн.: Морфологическая структура слова в индоевропейских языках. М., 1970, с. 246.
12. *Fokker A. A.* Tatabunyi Sunda.— *Bahasa dan Budaja*, 1953, v. 1, no. 6.
13. *Uhlenbeck E. M.* De structuur van het Javaanse morpheem. Bandung, 1949.
14. *Щуко Е. М.* Слоговая структура двухсложной корневой морфемы в индонезийском языке.— В кн.: Сборник статей по восточному языкознанию. М., 1973, с. 174.
15. *Gonda J.* Indonesian linguistics and general linguistics.— *Lingua*, 1950, v. 2, no. 3, p. 323.
16. *Зубкова Л. Г.* Консонантная и слоговая структура слова в индонезийском языке.— В кн.: Малайско-индонезийские исследования. М., 1977.
17. *Poerwadarminta W. J. S.* Baoesastra Djawa. T. I. Jogjakarta, 1931.
18. *Toorn J. L.* Minangkabausch-Maleisch-Nederlandsch woordenboek. 's-Gravenhage, 1891, p. IX.
19. *Cowan H. K. J.* Aanteekeningen betreffende de verhouding van het Atjehsch tot de Mon — Khmer-talen.— *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde*, 1948, d. 104.
20. *Casparis J. de.* L'importance de la disyllabie en javanais.— In: *India antiqua*. Leiden, 1947, p. 76.
21. *Ismail Hussein.* Malay dialects in the Malay Peninsula.— *Nusantara*, 1973, № 3.
22. *Оглоблин А. К.* Малайский язык и его диалекты (о существовании полярных тенденций в языке).— *Вестн. ЛГУ*, 1983, № 2.
23. *Snouck H. C.* Studiën over Atjehsche klank- en schriftleer. Batavia, 1892, p. 14.

24. *Hendon R. S.* The phonology and morphology of Ulu Muar Malay (Kuala Pilah District, Negri Sembilan, Malaya). New Haven, 1966.
25. *Kähler H.* Dialect and language (investigated with some examples from Indonesian languages).— *Lingua*, 1965, v. 15.
26. *Kern H.* Kawi-studiën. Arjuna — wiwāha. Zang I en II. 's-Gravenhage, 1871, p. 2.
27. *Horne E. C.* Beginning Javanese. New Haven — London, 1961, p. XXIX.
28. *Теселкин А. С.* Древнеяванский язык (кави). М., 1963, с. 45 и 59.
29. *Касевич В. Б.* Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. М., 1983.
30. *Grijns C. D.* Jakarta speech and Takdir Alisjahbana's plea for the simple Indonesian word-form.— In: Papers on Indonesian languages and literatures. London — Paris, 1981.
31. *Stokhof W. A. L.* Tatabunyi bahasa Indonesia.— *Dewan Bahasa*, 1980, no. 1, ms. 43.
32. *Asmah H. Omar.* The phonological diversity of Malay dialects. Kuala Lumpur, 1977.
33. *Robins R. H.* Diversions of Bloomsbury. Selected writings on linguistics. Amsterdam—London, 1970.
34. *Зубкова Л. Г.* О гармонии гласных в индонезийском языке.— В кн.: Языки Юго-Восточной Азии. Вопросы морфологии, фонетики и фонологии. М., 1970.
35. *Stevens A. M.* Madurese phonology and morphology. New Haven, 1968.
36. *Павленко А. П.* Сунданский язык. М., 1965, с. 39.
37. *Sarkar B.* Corpus of the inscriptions of Java. V. II. Calcutta, 1972, p. 61.
38. *Ras J. J.* Lange consonanten in enige Indonesische talen.— *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde*, 1968, d. 124.
39. *Dahl O. Chr.* Early phonetic and phonemic changes in Austronesian. Oslo, 1981, p. 110 sqq.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Szemerényi O. Richtungen der modernen Sprachwissenschaft. Tl. 2: Die fünfziger Jahre (1950—1950). — Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1982. XIV + 318 S.

Профессор Фрайбургского университета О. Семереньи известен как специалист по сравнительно-историческому и общему языкознанию (ср. [1, 2]). В рецензируемой книге О. Семереньи предстает перед нами в ином качестве — как историк языкознания. Первая ее часть с подзаголовком «От Соссюра до Блумфилда (1916—1950)» была опубликована еще в 1971 г. [3]. За прошедшее с тех пор десятилетие методологические требования к исследованию по истории языкознания заметно возросли. Не удивительно поэтому, что в кратком предисловии ко второй части автор счел необходимым пояснить принципы своей работы. Он подчеркивает, что, несмотря на обилие имен, книга была задумана не как «каталог исследователей» (с. VI), а как выявление основных тенденций развития науки. Следует заметить, что в книге все же небольшое внимание уделяется наиболее видным представителям современного языкознания и даются довольно яркие психологические «портреты» отдельных ученых. Такого рода «непоследовательность» вряд ли следовало бы считать недостатком книги. Конечно, развитие науки — социальный процесс, определяемый в конечном счете не волей или способностями отдельных личностей, а закономерностями иного, социального порядка. Однако конкретные события истории научной мысли в немалой степени связаны с личными особенностями тех или иных ученых. Поэтому содержащиеся в книге сжатые, но достаточно информативные биографические справки значительно повышают ее ценность.

О. Семереньи пишет, что он не согласен с теми, кто полагает, «что только то в прошлом представляет интерес, что и сегодня кажется важным» (с. VI—VII). Задачу историка науки он видит в объективно-историческом рассмотрении событий. Например, «глотохронология сейчас рассматривается большинством как ошибочное направление, однако в 50-е гг. она пользовалась необычайной популярностью. Простое умолчание об этом историческом факте было бы равнозначно фальсификации хода развития нашей науки» (с. VII). Стремление к объективности (особенно по отношению к недавнему прошлому) нельзя не оценить положительно. Изложение событий в книге максимально приближено к фактам, автор стремится к тому, чтобы факты говорили «сами за себя». Следует, однако,

учесть, что фактологическая достоверность еще не гарантирует объективности и таит в себе опасность объективизма, которого, к сожалению, не всегда избегает и автор. Примечательная в связи с этим особенность книги — отсутствие явных оценок. О. Семереньи указывает, что оценочные суждения он оставляет для заключительной части работы, где будут подведены общие итоги развития современного языкознания. Излишне говорить о том, насколько относительно различение фактов и мнений. Во всяком случае, отсутствие квалифицированной объективной оценки рассматриваемых событий пока что безусловно обеднило книгу, поскольку выпуск заключительной части, судя по всему, в ближайшее время не предвидится. Читатель ждет от ученого такого масштаба, как О. Семереньи, не только корректного изложения чужих концепций, но и собственных оценок тех или иных теорий и методов. Справедливость требует, однако, отметить, что автору не удалось все же полностью исключить из рассмотрения оценочный момент (например, при обсуждении возможностей глотохронологии).

Хотя в подзаголовке второй части и указывается, что она посвящена языкознанию 50-х гг., на деле же автор вынужден для полноты и цельности изложения то возвращаться к событиям двух предыдущих десятилетий, то уходить вперед, прослеживая развитие отдельных научных направлений до конца 60-х и даже конца 70-х гг. Это вполне закономерно: обозначенный временной отрезок, пожалуй, слишком узок для систематического обозрения, и для деятельности целого ряда исследователей (З. Харриса, А. Мартине, Э. Бенвениста и др.) отнесение именно к 50-м гг. не может не восприниматься как условное. Более точно предмет книги можно было бы определить следующим образом: она посвящена тем направлениям современного языкознания, которые были наиболее характерны для обозначенного периода.

Открывает книгу глава, посвященная советскому языкознанию 50-х гг. К сожалению, зарубежные лингвисты в основной своей массе до сих пор довольно плохо знакомы с опытом русского и советского языкознания. О. Семереньи в этом отношении составляет исключение: как показывает его книга, он хорошо осведомлен об исследованиях советских ученых. Однако и на него ока-

зала, по-видимому, влияние традиционная недооценка результатов, полученных нашими лингвистами. В первой части книги, в которой рассматривается языкознание первой половины века, о русском и советском языкознании говорится лишь мимоходом, в связи с вопросом об источниках теоретических концепций Пражского лингвистического кружка. Не может не вызывать удивления и вывод автора, согласно которому к концу 50-х гг. советские лингвисты добились некоторых успехов лишь в области фонологии и сравнительно-исторического языкознания. «В других областях языкознания в этот период, как мне кажется, несмотря на упорную работу, не было достигнуто значительных результатов», — пишет О. Семереньи (с. 21). Отмечая положительное значение дискуссии 1950 г. по вопросам языкознания, автор вместе с тем слишком упрощенно трактует общий ход развития советского языкознания. В его изложении получается, что до 1950 г. наше языкознание не добилося никаких положительных результатов и лишь в дальнейшем был достигнут некоторый прогресс. В результате русское и советское языкознание первой половины века, по мнению О. Семереньи, оказалось практически исключенным из общей картины развития современной науки о языке. Такая трактовка настолько расходится с действительностью, что автор и сам не в состоянии последовательно ее придерживаться. Так, он указывает, что и в годы, когда в нашей науке доминировало «новое учение о языке», целый ряд ученых работал в ином русле, продолжая лучшие традиции отечественного языкознания. О. Семереньи называет имена В. В. Виноградова, Р. И. Аванесова, П. С. Кузнецова, М. Н. Петерсона, Е. Д. Поливанова. Не может он также не признать, что наряду с явно ошибочными тенденциями в деятельности лингвистов, так или иначе связанных с «новым учением о языке», присутствовали и положительные моменты (в частности, это касается проблем типологии, исторической семантики). В книге указывается, например, что «Мещанинова не интересовала собственно яфетидология, его привлекало только общее языкознание, и, главным образом, проблемы синтаксического строя» (с. 6).

Думается, что даваемая О. Семереньи оценка достижений советского языкознания в книге связана и со слишком узким пониманием им теоретического языкознания. Только этим можно объяснить тот факт, что О. Семереньи не упоминает советских работ по социолингвистике. А ведь исследования в этой области в нашей стране были начаты на несколько десятилетий раньше, чем за рубежом [4, 5]. Деятельность советских ученых в области типологии ограничена лишь беглой характеристикой работ И. И. Мещанинова, что не отражает истинной полноты картины [6]. Не уделил автор внимания и разработке советскими учеными проблем литературного языка, лингвистической стилистики, теории художественной речи. Следовало бы также отметить пионерскую деятельность наших исследова-

телей и в других областях, в частности, в психолингвистике и теории текста (уже в середине 20-х гг. М. М. Бахтин указал на необходимость лингвистического изучения текста, а Л. П. Якубинский обратился к исследованию диалогической речи). Но даже если понимать под теоретическим языкознанием лишь общие проблемы изучения внутренней структуры языка, то и в этом случае нельзя было не отметить работы Л. В. Щербы, В. М. Жирмунского, В. В. Виноградова, А. И. Смирницкого, П. С. Кузнецова и других. Имена этих ученых О. Семереньи упоминает, но, как это ни парадоксально, об их вкладе в общее языкознание в книге не говорится. Следует заметить, что зарубежные лингвисты нередко видят в советском языкознании лишь то, что в той или иной мере созвучно наиболее влиятельным тенденциям зарубежного языкознания. При этом совершенно непонятными остаются своеобразие нашей науки о языке, ее традиции и новаторство.

Таким образом, предпринятая О. Семереньи попытка дать краткий очерк развития советского языкознания до начала 60-х гг., к сожалению, не может быть признана удачной. Вне рассмотрения оказались не просто отдельные важные работы, но и целые исследовательские направления. В то же время сам факт такой попытки вполне заслуживает положительной оценки. Общих работ по истории русского и советского языкознания за рубежом все еще мало¹, и можно надеяться, что каждый новый опыт в этой области будет способствовать лучшему пониманию нашей науки за рубежом.

Следующие три главы посвящены языкознанию в США. Сначала автор рассматривает деятельность дескриптивистов, в первую очередь — Э. Харриса. О. Семереньи отмечает, что именно Харрис ввел в языкознание трансформацию как специальный метод. Далее следует краткий очерк фонологической деятельности Р. О. Якобсона и М. Халле. В главе «Историческое и сравнительное языкознание в Америке» объединены три направления, которые обычно принято рассматривать раздельно: индоевропеистика, глоттохронология, теория лингвистической относительности. Характеризуя развитие американского языкознания, обычно забывают, что в США работали и работают серьезные специалисты в области сравнительно-исторического языкознания (К. Д. Бак, Э. Г. Стертевант, У. Ф. Леман, Э. Хэмп и др.). Рассматривая раз-

¹ Сведения о советском языкознании содержатся в первом томе издания «Современные направления в языкознании» [7], в книге Ж. Мунена «Языкознание XX века» [8], языкознанию в СССР был посвящен специальный номер журнала «Langages» [9]. В последнее время за рубежом был издан в переводе на иностранные языки ряд работ советских авторов по лингвистической историографии [10—13], дающих возможность зарубежным читателям получить достаточно полное представление о традициях и современных тенденциях советского языкознания.

витие индоевропеистики в США, автор способствует более полному пониманию современного состояния языкознания в этой стране. Что касается глоттохронологии, то выраженная автором надежда относительно возможного усовершенствования этого метода, думается, вряд ли обоснована. Принципиальное сомнение в надежности полученных с помощью глоттохронологии результатов вызвано тем, что «языки и их лексика развиваются неравномерно» [14, с. 17], и никакое совершенствование технической стороны метода здесь не поможет.

В главе «Сравнительно-историческое языкознание в Европе» автор указывает, что развитие индоевропеистики в XX в. было обусловлено двумя факторами: 1) расширением эмпирической базы (дешифровка ряда письменностей, открытие новых памятников на известных ранее языках); 2) развитием методики исследований. Нельзя не согласиться со стремлением автора показать взаимосвязь общего и сравнительно-исторического языкознания. Пример таких ученых, как Э. Бенвенист и Е. Курилович, доказывает, что серьезная работа в области сравнительно-исторического языкознания дает выход в общелингвистическую проблематику, а развитие общего языкознания способствует прогрессу сравнительно-исторических исследований. Поэтому серьезное внимание, которое автор уделяет сравнительно-историческому языкознанию при рассмотрении развития науки о языке, совершенно оправдано. К сожалению, автор хотя и отмечает, что наряду с индоевропеистикой в последние десятилетия активно развивается сравнительно-историческое изучение других языковых семей, компаративистика в книге представлена лишь индоевропейским языкознанием. В наше время такой подход вряд ли может считаться оправданным. Активное сравнительно-историческое изучение языков разных семей привело к созданию широкого комплекса взаимодействующих частных дисциплин, и ни одна из них (в том числе и обладающая такими прочными традициями, как индоевропеистика) не развивается обособленно от других.

Центральная фигура главы «Общее языкознание в Англии» — Дж. Р. Ферс. С его именем автор связывает активизацию теоретической лингвистики в Великобритании в середине нашего века. Примечательно, что именно Ферс основал первую в Великобритании кафедру общего языкознания.

Глава «Общее языкознание во Франции» содержит подробный очерк творчества А. Мартише, два других параграфа посвящены Л. Теньеру и Г. Гийому. В этой главе наиболее остро ощущается недостаток четко выраженной авторской позиции. В некоторых случаях перед нами не столько анализ, сколько констатация фактов.

В главе, посвященной общему языкознанию в ФРГ, основное внимание уделено Л. Вайсгерберу. Рассматривается также деятельность Г. Гипшера и Г. Глинца как представителей «ориентированной на содержание» (inhaltsbezogene)

грамматики. Интересным представляется вывод автора о том, что стремление строить описание языка на основе плана содержания сближает представителей этого направления с лондонской школой.

В заключение хотелось бы сделать следующее замечание. Характеристика взглядов того или иного ученого, действительности той или иной школы в книге сводится, как правило, к анализу внутренней структуры их теоретических построений. Между тем науковедение обнаружилось «особый пласт в научных теориях, а именно наличие во всякой теории таких утверждений и допущений, которые в рамках самих этих теорий не доказываются, а принимаются как некоторые само собой разумеющиеся предпосылки. Но эти предпосылки играют в теории такую важную роль, что устранение их или пересмотр влекут за собой и пересмотр, отмену данной теории. Каждая научная теория предполагает свой идеал объяснения, доказательности и организации знания, который из самой теории не выводится. а, напротив, определяет ее собой» [15, с. 9]. За каждой теорией стоит определенное мировоззрение, определенный комплекс философских идей. Современная история языкознания немислима без вывешивания методологических оснований рассматриваемых направлений, течений, школ. Примером работы такого рода может служить выпущенная несколько лет назад книга «Философские основы зарубежных направлений в языкознании» [16]. К сожалению, в книге О. Семеревьи подобный систематический анализ не проводится, хотя отдельные замечания на этот счет встречаются (например, о влиянии философии прагматизма на дескриптивизм). Возможно, что этот недостаток устранится в заключительной части книги, где будет дана общая оценка развития современного языкознания. Довольно слабо отражено в книге и взаимодействие языкознания с другими научными дисциплинами. А ведь активные интеграционные процессы (наряду с дифференциацией) — один из характерных признаков современного этапа развития науки, о чем свидетельствует образование научных дисциплин, стоящих на стыке двух наук, например, социалингвистики, психолингвистики.

Создание истории языкознания наших дней — задача чрезвычайно сложная, и к ее решению еще только приступают. Потребуется немало времени, усилия целого ряда ученых (возможно, коллективов ученых), чтобы справиться с этой задачей. Рецензируемая книга — определенный вклад в ее решение. Отмеченные же недостатки не умаляют общего значения книги.

Дать общую оценку труда О. Семеревьи пока невозможно, поскольку публикация еще не завершена. Но и первые две части книги позволяют говорить об авторе как о серьезном, вдумчивом историкографе языкознания, настойчиво стремящемся к полноте и объективности в исследовании. Книга заставляет задуматься о судьбах языкознания, она, несомненно, представляет интерес не только для специалистов по истории науки, но

и для широкого круга лингвистов. Будем надеяться, что в скором времени читатели получат возможность познакомиться и с завершающей частью «Направлений современного языкознания».

Березин Ф. М., Ромашко С. А.

ЛИТЕРАТУРА

1. Oswald Szemerényi: List of publications. 1937—1979.— In: Studies in diachronic, synchronic and typological linguistics. Festschrift for O. Szemerényi on the occasion of his 65-th birthday. Amsterdam, 1979, pt. 1.
2. Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.
3. Szemerényi O. Richtungen der modernen Sprachwissenschaft. Tl. 1: Von Saussure bis Bloomfield. 1916—1950. Heidelberg, 1971.
4. Гухман М. М. У истоков советской социальной лингвистики. — ИЯШ, 1972, № 4.
5. Швейцер А. Д. Некоторые теоретические проблемы социальной дифференциации языка в советском языкознании 20-х и 30-х годов. — Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommuni-

- kationsforschung. 1980, Bd. 33. Hf. 1.
6. Каймо Г. А. Типологические исследования в СССР. 20—40-е годы. М. 1981.
7. Current trends in linguistics. V. 1. Soviet and East European linguistics. The Hague, 1963.
8. Mounin G. La linguistique du XXe-siècle. Paris. 1972.
9. Langages, 1966, № 15.
10. Amirova T. A., O'chovkov B. A., Roždestvenskij Ju. V. Abriß der Geschichte der Linguistik. Leipzig. 1980.
11. Berезин F. M. Geschichte der sprachwissenschaftlichen Theorien. Leipzig, 1980.
12. Berезин F. M. Geschichte der sowjetischen Sprachwissenschaft. Leipzig, 1984.
13. Berезин F. M. The history of general and comparative linguistics in 19th century Russia.— Historiographia linguistica, 1979, v. 6, № 2.
14. Трубочев О. Н. Языкознание и этногенез славян. — ВЯ, 1984, № 2.
15. Гайденко П. П. Эволюция понятия науки: становление и развитие первых научных программ. М., 1980.
16. Философские основы зарубежных направлений в языкознании. Отв. ред. Панфилов В. З. М., 1977.

Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание). Для среднего и старшего школьного возраста. — М.: Педагогика, 1984. 352 с.

Лингвисты всегда чувствовали глубокую неудовлетворенность тем, как формируется представление школьника о языкознании. Если в области физики, химии, биологии школьное преподавание строится с учетом основ науки и новейших открытий в ней, то обучение языку (русскому, национальному, иностранному) на всех его этапах преследует исключительно практические цели: научить грамотно читать, писать и говорить на данном языке (для иностранного языка, разумеется, эти цели ограничиваются первыми двумя). Такая чисто эмпирическая постановка вопроса мешала решению и тех скромных задач, которые ставятся школьным образованием. Полезные навыки вырабатываются лучше и быстрее, если под них заложен фундамент научных знаний. Есть здесь и другая немаловажная сторона. Всякая наука содержит элемент эвристики, который всегда вызывает у молодежи повышенный интерес, а иной раз и энтузиазм. Успешное приобретение любых практических навыков при отсутствии интереса к предмету обучения вряд ли возможно. И, наконец, лингвистика в условиях научно-технической революции получает особое значение. Установление непосредственного общения пользователя с ЭВМ невозможно без решения главной, целиком лингвистической по своему характеру задачи — канонизации особым образом ограниченного естественного языка для общения человека с ЭВМ. Поэтому лингвистическое образование и воспитание необходи-

мо каждому школьнику, вне зависимости от того, какую специальность он выберет себе по окончании школы.

Рецензируемый «Энциклопедический словарь юного филолога» в большой мере способствует изменению той ситуации, которая сложилась в области среднего лингвистического образования. Мы думаем, что это издание адресовано в равной степени как ученику, так и учителю.

Акад. Г. В. Степанов в предисловии к Словарю пишет: «Одно из распространенных заблуждений состоит в том, что наука о языке — языкознание — смешивают с изучением языка в практических целях. Рыболов — это еще не ихтиолог, а знаток языков — еще не языковед, и общее писательство о языке — тоже не научное исследование».

Чтобы изучать язык научно, необходимы многие знания и умения. Лингвисту следует быть знакомым хотя бы с основами или элементами акустики, психологии, социологии, истории, литературоведения, теории информации, статистики, этнографии, антропологии, культурологии, текстологии, географии, философии... Яркий пример единства наук о человеке!

Здесь же создаются перекрестки научных путей, которые открывают новые научные связи: психолингвистика, лингвогеография, социолингвистика, этволингвистика, инженерная лингвистика, математическая лингвистика, лингвостатистика, философия языка, лингвостилистика. При этом лингвистика как таковая, как наука единая, не только не

теряет мощи и своеобразия своих методов но, обогащаясь сама, щедро делится ими с другими науками, и не только гуманитарными, но и естественными» (с. 7).

Весьма удачно определена тематика статей, авторами которых стал ряд известных лингвистов, специалистов в разных областях языкознания [составитель словаря — М. В. Панов, редакционная коллегия — Г. В. Степанов (главный редактор), Ф. Д. Ашнин, С. Г. Бархударов, В. А. Белошапкова, Ю. В. Васильев, Е. А. Земская, В. В. Иванов, В. Г. Костомаров (зам. главного редактора), Л. А. Новиков, А. В. Текучев, Н. И. Толстой, В. С. Хелемендик, О. С. Широков, В. В. Шкондин].

Всякая наука состоит как бы из двух частей: эволюционной и структурной. Первая изучает генезис объекта исследования, вторая — его структуру. И в той и в другой устанавливаются закономерности, и в той и другой существует своя эвристика. Не составляет исключения и языкознание. С его эвристическими результатами мы можем познакомиться в статьях Словаря независимо от того, какой из двух частей языкознания они посвящены. Особенно много внимания уделяется эвристическому аспекту в статьях, посвященных дешифровке различного рода письменностей и проблемам сравнительно-исторического языкознания (ларингальная гипотеза и др.). Важно, что в них авторы подробно останавливаются на методах исследования, вводя читателей в курс творческих удач и неудач ученых. Большая воспитательная роль такого рода приемов не вызывает сомнения. Исключительную важность имеют статьи, содержащие биографии лингвистов, внесших неоспоримый вклад в науку о языке. Их бескорыстное служение науке должно быть примером для молодежи, выбирающей свой жизненный путь. Хотелось бы особо подчеркнуть, сколь много значат для нас имена таких лингвистов, как П. С. Кузнецов, М. Н. Петерсон, А. А. Реформатский, В. Н. Сидоров, которых вышнее старшее поколение языковедов еще хорошо помнит лично, но имена которых, к великому сожалению, не попали ни в один энциклопедический справочник.

Разумеется, мы не можем рассмотреть сколько-нибудь значительное число статей «Энциклопедического словаря», но остановимся только на тех из них, которые представляют специальный интерес или типичны в каком-то отношении.

Статья «Агглютинативные и фюзийные языки» (с. 15—16) очень важна, потому что в ней вводятся понятия морфологической классификации языков. Методика, с помощью которой это реализуется, заслуживает всяческого одобрения. Автор начинает с рассмотрения конкретного примера склонения русского и узбекского слов со значением «девушка». В самом начале статьи представлена таблица «соотносительных словоформ обоих слов», по которой догадливый читатель сможет и сам установить закономерности сравниваемых морфологических структур. Условия те же, что и в известных лингвистических задачах А. А. Зализняка, однако

здесь автор статьи не предлагает решать задачу, рассчитывая на то, что читатель это сделает невольно, а затем из дальнейшего текста убедится, что он это сделал правильно. Такой подход, конечно, гораздо эффективнее просто описания особенностей морфологической структуры разных языков с последующим приведением иллюстративного материала.

Весьма важна статья «Акустическая классификация звуков речи» (с. 24—25): ее содержание мало известно даже учителям, получившим высшее филологическое образование. Вместе с тем мы не можем не обратить внимания на некоторую несогласованность статей «Энциклопедического словаря». В рассматриваемой статье речь идет о спектрограммах, получаемых с помощью специальных анализаторов речи — спектрометров. В то же время в статье «Инструментальная фонетика» (с. 113) приводятся лишь описание устройств для изучения артикуляции звуков и ничего не говорится о спектрограммах.

Статья «Балто-славянская общность» (с. 36—37) написана достаточно ясно. Автору удалось, не впадая в упрощенчество, избежать той путаницы понятий и концепций, которая, увы, царит в этой области нашей науки. В связи с этим хочется отметить большой познавательный интерес статей «Индоевропейская семья языков» (с. 117) и «Прародина индоевропейцев по данным языка» (с. 231—232), к которой приложена поучительная во многих отношениях карта. Хотелось бы лишь указать на то, что выбор между гипотезами о локализации носителей языков во многом определяется эффективной методикой обнаружения межязыковых контактов. Именно обнаружение праофинских языковых контактов позволило достаточно надежно локализовать носителей этих языков относительно друг друга. Что же касается индоевропейцев, то гипотеза о ближневосточной локализации их прародины подкрепляется обнаружением семитско-индоевропейских языковых контактов. Аналогичное замечание можно сделать и в адрес статьи «Прародина славян по данным языка». Начав разговор о статьях, посвященных сравнительно-историческому языкознанию, хочется сразу же предложить не ограничивать глубину проникновения индоевропейскими, угро-финскими, тюркскими и др. семьями. Думается, следовало бы включить в Словарь статью о постратических языках, изучение которых наиболее основательно проводилось нашим соотечественником В. М. Илличем-Свитычем, и статью о его прекрасной и трагической судьбе (подобно тому, как это удачно сделано в случае с М. Вентрисом в статье «Критское линейное письмо»). Кстати, биография М. Вентриса органично вплетена в историю его открытия, и такой способ жизнеописания людей науки также себя вполне оправдывает.

Хороши такие совсем разные по содержанию статьи, как «Внутренняя форма слова» (с. 51—52) и «Возникновение письма у славян» (с. 53—55). Первая из них написана ясно и доступно. Вторая отличается спокойным тоном историка,

время от времени прерываемым сообщениями о загадках, ждущих своего разрешения.

Достаточную информацию дает статья «География лингвистическая» (с. 58—61). Главное, однако, в ней то, что автору удается скупо, но вполне ясно показать, как пространственная стратификация языкового явления помогает восстановить его историю.

Нужной и удачной по изложению следует также признать статью «Глоттохронология» (с. 62—64). Несмотря на то, что эта методика была предложена достаточно давно, о ней мало что известно и филологам. Дискуссионная часть хорошо представлена в виде доводов противников глоттохронологии и контрдоводов ее сторонников.

Статьям по дешифровке разных письменностей фактически предпосылается статья «Дешифровка лингвистическая» (с. 76—77), в которой дается сжатое, но практически исчерпывающее определение основных средств, применяемых при дешифровке. Следовало лишь все частные статьи снабдить ссылками на эту общую.

Статья «Дистрибутивный анализ» (с. 88—92), как и первая из рассмотренных нами, начинается с конкретного примера, но дидактическая специфика здесь заключается в том, что пример взят из детективного рассказа Э. По, что сразу же значительно увеличивает эмоциональный заряд, способствующий усвоению весьма серьезного содержания статьи.

Весьма любопытна по содержанию и по своей судьбе статья «Единичный язык» (с. 100—104). Составитель без комментариев указал, что автором ее является А. А. Реформатский. Ее текст с небольшими купюрами заимствован из известного учебника по языкознанию того же автора и сейчас поражает современностью и ясностью постановки проблемы.

Статья «Звуковой символизм» (с. 106—107) содержит адекватное определение экспрессивной нагрузки звуков речи. Следовало лишь показать, как на современном этапе изучения проблемы используются экспериментальные методики. Ведь именно психолингвистический эксперимент сообщал экспрессивным оценкам звуков речи научную надежность и объективность.

В связи со статьями «Изоморфизм» (с. 112—113), в которой в доступной форме, ясно и четко изложена известная концепция Куриловича, хотелось бы сделать два замечания. Заключение о изоморфности звука и падежа на основании разложения падежа на дифференциальные признаки, как указывал Якобсон, неточно, ибо падеж является заместителем позиции в языках со свободным порядком слов и тем самым относится к синтагматике языка. Аналогичная неточность допущена в статье «Падеж» (с. 209—210). Там делается вывод о возможной встречаемости разных падежей в одной позиции. Приводимый в этой связи пример может быть отнесен лишь к лингвистическим раритетам. Далее следует заметить, что существенное уточнение могла бы внести статья «Уровни языковой системы» (по Бенвенисту).

Очень удачна статья «Интонация» (с. 114—117). В ней вполне популярно изложены научные достижения самого автора.

Чрезвычайно важна статья «Ларингальная гипотеза» (с. 140—141). В ней дается полное представление об одном из замечательных открытий в сравнительно-историческом языкознании и одновременно в неясном виде о языке как системе. Поэтому дидактическая сторона этой статьи весьма актуальна. Ее несколько большая сложность сравнительно с другими статьями не должна, как нам представляется, служить препятствием к пониманию. Думается, что другая крайность (чрезмерная облегченность) приводит к потере полезной информации.

Большую важность и актуальность представляет собой статья «Лингвистика текста» (с. 152—153). В ней отражено одно из самых последних и плодотворных направлений лингвистики, открывающих новый период в истории этой науки. Если прежде исследователи синтаксиса шли от слова и словосочетания и, как правило, редко выходили за пределы сложного предложения, то представители нового научного направления рассматривают текст как единое целое, обращая особое внимание на изучение тех его элементов, которые превращают его в таковое. Новые возможности в изучении столь трудно обозримых объектов, как цельнооформленный текст, открывает использование ЭВМ. С другой стороны, постановка современных задач в области кибернетики предполагает ввод больших массивов текста в память ЭВМ с их дальнейшей автоматической обработкой средствами ЭВМ. Все это делает особенно актуальной лингвистику текста как особое научное направление.

«Энциклопедический» словарь юного филолога содержит ряд статей, в которых рассматриваются проблемы, связанные с современными нуждами информатики и кибернетики. Здесь следует отметить статью «Ликкос» (с. 154—155), содержащую полезные сведения о проекте языка для космической связи. Специальная статья посвящена проблеме «Математика и язык» (с. 162—164). Правда, ее автор ограничился изложением метода описания синтаксической структуры предложения с помощью графов, сомневаясь, видимо, в том, что другие проблемы, возникающие в этой области, доступны для понимания читателей рецензируемого издания. К этой же проблематике примыкают статьи «Семантика» (с. 259—261) и «Семантические правила» (с. 261—265). В них описываются приемы семантического анализа, ведущие к лучшему пониманию фраз на естественном языке и открывающие возможности представления значений на формализуемом языке смысла. Это направление предполагает описание естественного языка в его полном виде. Другим направлением в области семантики является теория канонизации естественного языка, призванная служить созданию специальным образом ограниченного языка для непосредственного общения «человек — ЭВМ».

Из беглого по необходимости обзора статей «Энциклопедического словаря юного филолога» следует вывод о высоком профессиональном уровне издания, о дидактическом мастерстве авторов статей, о чрезвычайной полезности книги

для нашей школы. Мы надеемся, что «Энциклопедический словарь» будет неоднократно переиздаваться. Именно с этим связаны наши замечания и пожелания.

Мартынов В. В.

Григорьев В. П. Грамматика идиостиля. В. Хлебников. — М.: Наука, 1983. 224 с.

Книга В. П. Григорьева представляет собой первую часть исследования о поэтике Велимира Хлебникова; вторая часть, судя по упоминаниям автора, должна быть посвящена хлебниковскому словотворчеству, а далее напрашивается само собой исследование принципов хлебниковского словосочетания (поэтический синтаксис, стиль фразы, организация сверхфразовых единств). Работа, начало которой предлагается читателям, неожиданно оказывается едва ли не первым в нашей науке столь подробным очерком индивидуального языка и стиля писателя. Известные монографии В. Виноградова о Пушкине и чехи совсем другую направленность: Пушкин выступал в них на фоне исторических традиций слово- и стилиупотребления. Здесь об этом не было речи: Хлебников, один из самых внетрадиционных русских писателей, требовал иного рассмотрения — не по месту в истории, а по внутренней системности поэтического явления. Выбор этой темы, на которой отгачивается методология изучения «Грамматики идиостиля», был осознан: избирался идиолект, (1) достаточно близкий к современности, (2) сыгравший значительную роль в истории поэтического языка XX в., (3) не «простой», а «сложный», желательно даже «максимально сложный» (с. 9). Разумеется, каждое из этих трех достоинств материала оборачивалось трудностями совсем особенного рода. Трудности эти исследователю с честью преодолел.

Заглавие книги не может не напоминать о самой первой научной работе, посвященной Хлебникову, — о брошюре Р. Якобсона (1921) с ее программой разработки «поэтической диалектологии» (с. 212). Действительно, с тех пор за шестьдесят с лишним лет это первая научная попытка охватить исследованьем поэтику сложнейшего автора в целом, и попытка, увенчавшаяся беспорным успехом. Однако последовательность рассмотрения материала у автора — иная, чем у Якобсона: не от простейших наблюдений над языковой практикой Хлебникова, а от анализа главных понятий языковой (и не только языковой) теории Хлебникова, — той основы, где язык смыкается с мировоззрением (с. 192). Это вполне оправдано. Интерес Хлебникова к языку был не только практическим (как у всякого писателя), но и теоретическим — не в меньшей степени, чем, например, у Ломоносова или Карамзина; и он не в меньшей сте-

пени требует исследования именно с этой стороны. Это, кажется, признается всеми, писавшими о Хлебникове; но разработку на конкретном материале эта тема получает впервые.

В. П. Григорьев выделяет пять основных понятий «языкового мироощущения» Хлебникова: слово; язык в его внутреннем единстве; язык в разнообразии его раскрытия; число; музыка. Это — темы пяти центральных глав: «Самовитое слово», «Единый смертных разговор», «Гнездо „языков“ и образ языка», «Образ числа» и «Созвучия и раззвучия». Этим главам предшествует пространное «Введение», а за ними следуют главы-экскурсы «Несколько оппозиций» (внутренние соотношения в семантике поэтического мира Хлебникова), «Хлебников и Пушкин» (внешние соотношения в ней — темы воли, судьбы и т. д.) и «Еще раз, еще раз...» (моногографический анализ стихотворения, которое автор называет «хлебниковским „Памятником“»).

Из центральных глав книги, бесспорно, важнейшей оказывается «Гнездо „языков“ и образ языка». Здесь автору приходится преодолевать главную трудность своего материала — язык хлебниковских метаописаний. Прихотливая образность хлебниковской терминологии, говорящей не столько словами, сколько «намекami слов», способна привести в отчаяние любого систематизатора. Давно известен перечень двадцати «языков» своего творчества, составленный самим Хлебниковым: он производит впечатление насмешки над всякой классификационной логикой: «1) Числослово, 2) Заумный язык, 3) Звукопись, 4) Словотворчество, 5) Разложение слова (...), 9) Нежные сладкие слова, 10) Косое созвучие, 11) Целинные созвучия, 12) Вывихи слова (...), 16) Звездный язык, 17) Вращение слова, 18) Вурный язык, 19) Безумные слова, 20) Тайные (слова)» (с. 84). В. П. Григорьев смело дополняет его упоминаниями о всех других подобных «языках», собранных во всех изданиях Хлебникова, изданным и неизданным: в результате перечень разрастается до 53 пунктов, включая также, как «речь двоякоумная», «поединок слов», «скоренение (согласных)», «опечатка», «разложение слова на аршины, стук счета и на звериные голоса» и т. д. А далее следует анализ этого списка, изъятие самоповторений, систематизация оставшегося и выявление тех хлебниковских текстов, которые могли стоять за этими обозначениями в сознании поэта — выявление

очень убедительное и во многом неожиданное даже для тех, кому приходилось заниматься творчеством Хлебникова. В результате исследователь получает драгоценную возможность: работа над анализом стихов Хлебникова, не только объективно разбирая их склад, но и представляя себе, как вписывались наблюдаемые явления в поэтическое самосознание Хлебникова. Разногласия хлебниковского перечня сводится в «многомерный образ языка» (с. 84): перед нами как бы различные проекции и срезы одного и того же предмета, очень сложного по очертаниям и составу, помогающие представить его себе в разных поворотах и глубинах.

Этот предмет, главную тему своего исследования, автор называет «воображаемой филологией» Хлебникова — по аналогии с «воображаемой геометрией» Лобачевского. Такой предмет не столько нов, как кажется. «Народная этимология» — не научная, но как бы научная трактовка языка — издавна находилась в поле зрения лингвистики. «Поэтическая этимология» — обороты вроде *«слезы слизывает с губ»*, как бы приглашающие читателя на мгновение поверить, что созвучие слов *слезы* и *слизывает* не случайно, а соответствует «глубинной» связи их смыслов, — стала предметом внимания лингвистики совсем недавно, и прежде всего благодаря работам самого В. П. Григорьева (впрочем, предпочитающего называть это явление «паронимической аттракцией»). Представим себе, что такое «приглашение поверить» делается не на мгновение, не на одну строчку, а на все время пребывания читателя в художественном мире поэта — и перед нами будет «воображаемая филология». Доказать, что она не научна, а фантастична, для лингвиста не стоит труда; но отменить ее эстетическое воздействие подобная критика не может. Фиктивное с лингвистической точки зрения реально с литературоведческой точки зрения, потому что оно организует (и очень действительно) словесный и образный мир литературного произведения — а такая организация и порождает эстетический эффект.

Столь же существенна в концепции книги глава «Самовитое слово». Заумь и псевдозаумь Хлебникова задважды были первой насмешкой над поэтом и служили поводом для ложных толкований всего его творчества. В. П. Григорьев ставит все представления на свои места простым утверждением: «самовитое слово» есть слово, дополняющее (а не заменяющее) слова общего языка. Если это заумь (которой у Хлебникова в чистом виде не так уж много), то она воспринимается как перепеванная цитата из иного языка (так, скажем от себя, пьеса «Бог» воспринимается современным читателем приблизительно как звуковой кинофильм на иностранном языке с редкими титрами). Если это словообразовательный неологизм, то он подчеркивает те оттенки значения, которые безразличны для слова в его повседневном бытовании, но важны для включения его в данный контекст. Подробный анализ лингвистики и

эстетики хлебниковского словотворчества, как сказано, отложен автором для отдельного исследования. Что касается так называемой чистой зауми, то она (частично) представлена в отдельной главе «Единый смертных разговор» в необычном осмыслении — как интерлингвистический эксперимент, требующий рассмотрения в ряду других проектов всемирного языка от Лейбница до наших дней (здесь автор критически учитывает и работы В. Гофмана, С. Мирского и А. Костецкого, затрагивающие эту проблему). Думается, что эксперименты с заумью имели для Хлебникова и иной интерес — так сказать, упражнений по осмысливанию бессмысленного (а не наоборот!). Кажется, еще не обращалось внимания на то, что начало XX в. было в научной психологии временем увлечения экспериментальными исследованиями памяти с помощью таблицы запоминания бессмысленных трехбуквенных слогов и что эта методика обнаружила несостоятельность потому, что выяснилось: абсолютно бессмысленных слогов не бывает, все они при запоминании приблизительно осмысляются, только очень индивидуально и прихотливо, т. е. невыгодно для психологического эксперимента. Трудно думать, чтобы такая общедоступная вещь, как эти таблицы, мимовала внимание Хлебникова.

В главах о числе и музыке с некоторым опозданием всплывает давно напрашивающееся у читателя имя Пифагора. Именно в нем скрещиваются все три главные темы Хлебникова: число, музыка («Хлебников и музыка» — тема, впервые обсуждаемая в этой книге, преимущественно по незадачным материалам) и слово. Напомним, что еще в пифагорейской философии считалось, что самое мудрое на свете — число, а после него — тот, кто дал вещам имена. Наконец, для главы «Хлебников и Пушкин», может быть, стоило бы подробнее остановиться на еще двух ключевых понятиях хлебниковской эстетики слова — красоте и простоте. О «прекрасных словах» и «безобразных словах» Хлебников говорит нередко, и этот его критерий, разумеется, заслуживает самой внимательной реконструкции. «Простота» же (не говоря уже о том, что она значила для хлебниковского жизненного идеала и бытового поведения) интересна тем, что иногда пушкински ясные и гладкие созвучия, даже попросту ритмико-синтаксические стереотипы отождествляются для Хлебникова с «простотой» и принимаются в его стихи (с. 138), иногда же, наоборот, служат поводом для отталкивания; об этой диалектике можно было бы сказать больше, и это укрепило бы позицию автора в споре с оценками Г. Винокура и многих других, кто противопоставляет кристаллы пушкински ясных хлебниковских «удач» аморфной массе утомительных «экспериментов». Наконец, для главы «Еще раз...» можно упомянуть еще один штрих, сближающий Хлебникова с Пушкиным: для Хлебникова 1922 год был годом 37-летия, знаменательность этой цифры для возраста поэтов и художников была для него больше, чем для

о бы то ни было, и обращение к пуш-
искому «Памятнику», пусть подсозна-
тельное, могло быть не случайным.
Исключительное достоинство книги —
ом, что в ней широко привлечены не-
давние архивные материалы. Хлеб-
ков издав не полностью, а что издано,
очень далеко от текстологического
першенства; поэтому поправки, вноси-
е В. П. Григорьевым в текст (вплоть
угловых скобок вокруг знаков пре-
зая), важны не только для этого
ледования, но и для понимания Хлеб-
кова в целом; а щедрые публикации
изданных записей Хлебникова (обычно
ких, но иногда и по полстраницы —
, например, замечательное рассужде-
е о «приказе» и «вдохновении» на
195) проясняют многое известное и при-
крывают неизвестное в его взглядах и
лемах. Это — напоминание (автор
вращается к нему не раз) о том, как
сущно важно предпринять новое
издание собрания сочинений Хлебникова.
же если бы в книге не было ничего
оме этих архивных публикаций, она
е от этого была бы ценным вкладом в
елимироведение». Здесь же они про-
мментированы и включены в стройную
стему реконструкции поэтического
знания Хлебникова.

Не менее важное достоинство — биб-
ографический аппарат книги. Прило-
жный библиографический список близок
тому, чтобы называться «все о Хлеб-
кове»; до сих пор в наших изданиях
чего подобного не появлялось. Для
модых исследователей это очень важно:
м автор мимоходом отмечает, как па-
бно сказывается на существующих
ботах о Хлебникове недостаточное зна-
мство с историей вопроса. При этом
а не остается праздным приложением
книге: ссылки на нее целестильно при-
тствуют на каждой странице. По боль-
ей части это ссылки полемические —
о вполне понятны, потому что по-
вляющее большинство упоминаний

о Хлебникове в литературоведении и
(особенно) критике представляет собой
набор суждений, достаточно далеких от
научности. Поэтому работа В. П. Гри-
горьева от начала до конца звучит заступ-
нической, апологетической интонацией
(особенно, конечно, во вступительном раз-
деле, разросшемся почти на треть книги)—
и это, пожалуй, подчас даже вредит кни-
ге. Значительность творчества Хлебнико-
ва в русской, славянской, европейской
поэзии XX в. — факт и без того очевид-
ный; такие исследования, как книга
В. П. Григорьева, лучше всего посодей-
ствуют осознанию этой значительности.

«Предлагаемое читателю описание —
это все же пока, скорее всего, своего рода
„введение“ в грамматику идиостиля, а
не сама грамматика как таковая, пре-
тендующая на определенную полноту»,—
оговаривается автор в предисловии (с. 6).
Это, действительно, так: здесь расчищено
пространство работы, отточены методоло-
гический инструментарий, намечены очер-
тания исследуемого явления, сделаны
промеры основных общих проблем, пока-
зан образец монографического анализа
отдельного стихотворения, перечислено
немало конкретных тем, напрашиваю-
щихся для специального исследования
(в том числе — большой список «ключе-
вых слов-образов», требующих каждое
отдельного рассмотрения по всей массе
хлебниковских контекстов: *время, слово,
число, судьба, воля, люди..., лад, мир,
война, небо, звезда, море..., город, конь,
дерево, игра...* — см. с. 197), — и на этом
объем книги заставил автора остано-
виться. Все интонации исследователя — неза-
вершенные; это заставляет ожидать про-
должения исследований. В 1985 г. ис-
полняется 100 лет со дня рождения Ве-
лимира Хлебникова. Создание «Граммат-
тики идиостиля» этого писателя по про-
грамме, развернутой в книге В. П. Гри-
горьева, — дело, достойное советской на-
уки.

Гаспаров М. Л.

Canter M. Medieval Slavic Lives of Saints and Princes.— Ann Arbor, 1983. 304 p.

Рецензируемая книга содержит в себе
амятники того литературного жанра,
оторый ее составитель проф. Мичиган-
ского ун-та (США) М. Кантор назвал
олусветской биографией (semi-secular bi-
graphy).

Полусветская (перевести можно и ина-
е: полумирская) биография, по мнению
автора, отличается от канонического
изнеописания святого большим внима-
нем к живой личности человека, к его
еальным поступкам и отностительным иг-
орированием чудотворчества, морали-
торства и других общих мест, диктуе-
ых агнографией. «Произведение может
читаться частично светским, если в нем
делан, пусть и небольшой, акцент на
орских достижениях героя» (с. 2). Не
орывая с житийным жанром, полусвет-

ская биография тем не менее является
значительно более надежным историче-
ским источником, чем трафаретное жи-
тие.

Опираясь на разыскания своих пред-
шественников (в частности, византиниста
П. Александера), М. Кантор усматри-
вает истоки полусветской биографии в
жизнеописаниях Карла Великого, напи-
санном Эгинхардом (Эйнхардом) (запад-
ная традиция) и Василия I Македоняни-
на, составленном Константином Багряно-
родным (восточная традиция). Что каса-
ется славянской средневековой литерату-
ры, то, по справедливому замечанию со-
ставителя, в ней «с самого ее зарождения
утвердилась мирская тенденция в созда-
нии биографий» (с. 2).

Среди древних славянских письменных

источников к числу полусветских биографий относятся тексты, вошедшие в рассматриваемую книгу. Прежде всего это пространные жития Кирилла и Мефодия; затем Житие Вячеслава, князя чешского; далее сказание о русских князьях-стратотерпах Борисе и Глебе; наконец, Житие Стефана (Симеона) Немани, великого жупана (князя) сербского.

Однако при определении состава своего издания М. Кантор руководствовался не только соображениями единства жанра. Его привлекла к себе внутренняя цельность всего круга источников, заключающаяся в непрерывности кирилло-мефодиевской традиции. На самом деле просветительская деятельность Кирилла и Мефодия имеет общеславянское значение, а их жития служили образцами для подражания во всем славянском мире. Вячеслав, Борис и Глеб, Стефан — это первые святые трех основных славянских регионов (западного, восточного и южного), и с их житиями, собственно, и начинаются соответствующие региональные литературы. Княжеские жития были созданы под прямым воздействием житий первоучителей, поэтому территориальное и государственное разделение славянства одновременно сопровождалось хранением объединяющего наследства.

Итак, в преддверии последнего в нашем веке кирилло-мефодиевского юбилея — по решению ЮНЕСКО, 19 апреля 1985 г. мировой общественностью широко отмечается 1100-летие со дня кончины Мефодия — научная литература по истории возникновения славянской письменности обогатилась еще одним изданием житий великих солунских братьев. На проблематике публикации и перевода этих двух житий мы и сосредоточимся в своей небольшой рецензии. Рассматривается исключительно лингвистический аспект указанной проблематики.

Техника издания такова. На левой (четной) странице книжного разворота помещено фотомеханическое воспроизведение рукописи, легкой в основу перевода житий на английский язык. Сам перевод занимает правую (нечетную) страницу. Что касается Жития Кирилла (в дальнейшем сокращенно: ЖК), то оно издается на базе хорошо известной рукописи Владислава Грамматика 1469 года. Житие Мефодия (ЖМ) публикуется по знаменитому Успенскому сборнику XII в. [1]. Таким образом, в выборе источников М. Кантор присоединился к прочно сложившейся практике, продолжая, в частности, линию О. М. Бодянского и П. А. Лаврова, а также современных ученых (например, Б. Ангелова и Х. Кодова [2]).

Фотомеханическое воспроизведение рукописей выполнено высококачественно, так что славянские тексты в целом нетрудно читать. К сожалению, правда, рукопись и перевод не полностью согласованы между собой на левой и правой страницах разворота (перевод обычно на несколько строк опережает рукописный источник), а это создает неудобства при последовательном сопоставлении.

Текст переводов ЖК и ЖМ обычным порядком разделен на главы, на полях

систематически указываются прямые ветхо- и новозаветные цитаты. В обширном научном аппарате (к каждому из житий сделано примерно по 100 примечаний) приведены самые разнообразные комментарии: здесь раскрываются библейские и святоотеческие аллюзии, воспроизводятся и оцениваются суждения исследователей по интерпретации того или иного чтения, даются историко-филологические разъяснения (особенно типа «кто есть кто» и «что есть что»), иногда обосновываются переводческие решения и т. д. Иными словами, перед нами добротное издание источников, вполне входящее в ряд аналогичных.

Элемент новизны придает книге в первую очередь английский перевод, выполненный М. Кантором. Рассмотреть его чрезвычайно интересно, потому что перевод с древнего, уже умолкнувшего языка на современный («эпохи НТР»), да еще сложившийся в культурно-исторических условиях католицизма и протестантизма, а не православия, неизбежно сопряжен со значительными смысловыми трудностями. Кроме того, любой перевод — это истолкование, интерпретация источника, придание ему иных акцентов и нюансов, так что всегда возникает сложный вопрос правомерности определенно-го, особенно конкретизирующего, решения переводчика, и он обостряется применительно к древнему источнику. Ведь чтения источника иногда для нашего современного сознания просто представляются темными: или из-за невозможности расшифровать их (в силу недостаточной изученности), или по причине порчи текста за время многовекового бытования, или же, наконец, поскольку они с самого начала намеренно формулировались с известной степенью темноты. (У средневековых авторитетов — например, Августина Блаженного и Григория Богослова — имеются вполне отчетливые высказывания в пользу «некоторой темноты слова» в богословском изложении.)

Основные принципы своей переводческой деятельности М. Кантор излагает на с. 20: «Прежде всего я заботился об адекватности и стремился насколько возможно точно переводить все написанное в текстах, независимо от того, насколько соответствующие чтения темны и/или эллиптичны». Это заявление можно понимать двояко. Если имеется в виду, что «темнота» исходного текста сохраняется и в переводе, — это одно. Если же исходный текст «проясняется» в переводе, — это совсем другое. «Вторая задача, — пишет далее автор, — заключалась в передаче сущности оригиналов путем воспроизведения их тона и настроения, насколько это возможно в современной английской прозе и по законам синтаксиса без слишком большой архаизации». Чтобы добиться стилистического подобия перевода оригиналу, М. Кантор прибег к интересному замещающему приему: все библейские аллюзии и цитаты он дает по Библии короля Якова (the King James Version of the Bible), созданной в самом начале XVII в. и сохраняющей и в современных изданиях весьма архаичный английский

язык. Подытоживая представление своих переводческих принципов, М. Кантор заключает: «Решения, предлагаемые на нижеследующих страницах, принадлежат мне, и я беру на себя полную ответственность за них».

Надо сказать вполне определенно и в самом начале, что М. Кантор полностью провел в жизнь свои установки, и его перевод, являясь достаточно точным и и почти буквальным, в то же время не производит впечатления искусственности или неестественности. Напротив, он легко и «без запинки» читается, и при этом вполне возникает почти физическое ощущение словесного орнамента («плетения словес»), столь характерного для житий византийского культурного круга. Ср. для примера первую фразу ЖК: Бгъ млстивый и щедрыи, ожидаеи покаание члчско, да быше вси спасени были и въ разоумъ истинныи пришли, — не хоцеть бо смърти грѣшнику, нъ покаанию и животоу, аще и наипаче прилежити на злобоу, — нъ не оставляет члча рода отласти ослаблениемъ и въ сблзвнъ неприкзвнннгоу приити и погыбноути, нъ на коеждо лѣто и врѣмена не прѣстаеъ блгдтъ творе намъ много, какоже испрва, даже и до ннѣ, патриархы же прѣвѣе и оцы, и по тѣхъ прроцы, и по сихъ аислы и мчкы и праведныи моужии и оучители, избираеи ихъ от многометекнаго житна серо¹; Merciful and compassionate is God, who awaits the repentance of Man and will have all to be saved, and to come unto the knowledge of the truth, for He wishes the sinner not death but repentance and life even if he be given to malice. Neither does He allow mankind to fall away through weakness or be led into temptation by the Adversary and perish. Rather, in each age and epoch He has not ceased to grant us His abundant grace, even now just as it was in the beginning: at first through the Patriarchs and Fathers, and after them through the Prophets, then through the Apostles and Martyrs, and righteous men and teachers whom He chooses from amidst the tumult of this life.

Приведенный пример типичен, и остается только порадоваться за англоязычного читателя, получившего совершенный перевод, сочетающий точность с удобочитаемостью и выразительностью. В некоторых отдельных случаях адекватность перевода, к счастью, как правило, лишь в нюансах, можно подвергнуть сомнению. Так, в приведенном выше тексте отрезок — въ разоумъ истинныи пришли — М. Кантор переводит как *come unto knowledge of the truth*, т. е. «пришли к знанию истинны». Между тем *разоумъ* — это не простое з н а н и е (хранение в памяти сведений), а скорее п о н и м а н и е чего либо. Есть существенная разница между знанием и познанием: в первом случае

достаточно нечто механически затвердить, в то время как во втором требуется самостоятельное творческое усилие. при-внесение собственного смысла, без чего не доберешься до сути познаваемого. Что в данном случае имеется в виду именно осознание, а не запоминание истины, процесс, а не состояние, видно из греческого источника, к которому восходит славянский текст. Рассматриваемый отрезок представляет собой цитату из I Тим. 2,4: εἰς ἐπιγνώσιν ἀληθείας ἐλθεῖν. Ἐπιγνώσις — по новозаветному словарю В. Гауэра [3] это *Erkenntnis* «познание». В свете изложенного представляется, что на месте *knowledge* лучше было бы употребить *understanding*. Точно такую же замену, по моему мнению, следовало бы произвести в переводе знаменитого определения Константином Философом философии как понятия: бжнимъ и члчскимъ вещь разоумъ.

Иногда отмечаются неточности в переводах слов тематической группы, называемой понятием из сферы письменности (*бесѣда, боукъви, кѣнигы, писмена*). Так, в ЖК, 8 фраза — наоучисе тоу жидовскоу бесѣде и книгамъ — содержит в себе противопоставление устной речи письменной, а в переводе оно потеряно: *he learned the Hebrew language and scriptures* («он изучил европейский язык и писания»). Б. Н. Флоря, переводчик житий славянских первоучителей на русский язык [4], дает более точный вариант: «научился здесь еврейской речи и письму».

Далее, едва ли правильно во фразе: въ стѣи мншескыи образъ облѣчесе (ЖК, 18) давать слову *образъ* сугубо житейскую, внешнюю конкретизацию: *he put on holy monastic dress* («надел монашескую одежду»). По контексту имеется в виду отнюдь не одежда, а *status monasticus*.

Хотя подобные разрозненные замечания могут умножаться, они не умаляют значения изданной книги, тем более что и они не лишены субъективизма. Если же вернуться к уже сделанной общей оценке труда М. Кантора, то англоязычные читатели (как исследователи, студенты-слависты, так и широкая публика) получили хорошую основу для познания сложения и развития первого литературного языка славян и древнеславянской литературы.

Верещагин Е. М.

ЛИТЕРАТУРА

1. Успенский сборник XII—XIII вв. Под ред. Коткова С. И. М., 1971.
2. Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 3. Пространни жития на Кирил и Методий. Подгот. за печат Ангелов Б. С. и Кодов Х. София, 1973.
3. Bauer W. Griechisch-deutsche Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments... Berlin — New York, 1971.
4. Сказания о начале славянской письменности. М., 1981.

¹ Источник воспроизводится с упрощениями: надстрочные буквы внесены в строку, устранены дублетные буквы, опущена диакритика; титла же сохраняются.

Рецензируемый учебник является существенным вкладом в дело совершенствования подготовки учительских кадров. Выход его в свет — значительное научное событие. В книге получили отражение многие фундаментальные идеи современной лингвистической науки (парадигматика и синтагматика в фонетике и фонологии, в лексике и словообразовании, в синтаксисе; взаимосвязь семантической и формальной) структур синтаксических единиц; изоморфизм единиц разных уровней языка; устойчивость и изменчивость языковой нормы и др.).

Задачи курса сформулированы следующим образом: «Основой современного русского языка является литературный язык, система норм которого считается общезначимой, закреплённой. В эту систему входят частные нормы — произношения, словоупотребления, написания, формообразования и др. Литературные нормы осознаются не только как обязательные, но и как правильные, образцовые. Они объективно закреплёны в языке и реализуются в речевой практике: говорящие и пишущий должны их соблюдать. Без обязательности норм литературный язык не может существовать и успешно выполнять коммуникативную функцию» (с. 7).

Учебник построен на основе авторитетных и плодотворных концепций, развиваемых собственными научными исследованиями авторов, получившими широкую известность и признание в научном и педагогическом мире. Следует заметить, что редактору издания П. А. Лекавту удалось, сохранив индивидуальность авторского подхода к отдельным проблемам, придать всем разделам единую и непротиворечивую направленность в русле структурно-семантического метода.

Книга, несмотря на лаконичность изложения материала, представляет собой полное описание современного русского литературного языка. В ней излагаются в основном устоявшиеся взгляды на явления русского языка, однако авторы не скрывают и имеющихся разногласий по отдельным вопросам, в каждом случае аргументируя принимаемую точку зрения. Учебник содержит методические рекомендации, которые готовят студента к самостоятельному анализу языковых фактов, а также богатый иллюстративный материал.

Рассмотрение в разделе «Лексика и фразеология» воспроизводимости в качестве основного свойства фразеологизмов позволяет расширить традиционно признаваемый круг фразеологических единиц и развить их классификацию с точки зрения семантической слитности. Описание фразеологических единиц со структурно-семантической и этимологической сторон, с точки зрения экспрессивно-стилистических свойств и стилистического использования в художественной литературе и публицистике отражает сложность, многоаспектность фразеологической единицы (с. 50—68).

«Фонетика» написана с позиций москов-

ской фонологической школы и опирается на последние достижения в области экспериментальной и теоретической фонетики. Здесь последовательно проводится различие между звуками (среди которых выделяются звуки речи и звуки языка) и фонемами. В числе звуков русского языка характеризуются не только те, которые выступают в сильных позициях (как это можно видеть в некоторых учебных пособиях), но и многие звуки, выступающие в слабых позициях. В частности впервые в таблицу согласных, приводимую обычно в учебниках и учебных пособиях, вносятся восемь аффрикат: [ц, ц', дз, д'з', ч', ч', д'ж', дж] и определяются позиции, где они произносятся. Приводятся и парные глухие сонорных согласных [д, р] и т. п. Досадным нарушением традиции является постановка диакритики не под буквой, а справа от неё ([д_л, р_л] и т. п.), как и знака слоготности согласного [л_б, р_б] и др. (с. 86, 87, 91, 92, 101, 106). Указание на то, что это делается «по техническим условиям» (с. 83), мало что исправляет: студенты могут неверно усваивать обозначение звука.

Некоторые данные о звуковой стороне языка основаны на собственных наблюдениях автора раздела и впервые вводятся в учебник. Таково, например, замечание о том, что у сонорного согласного перед шумным звучность может быть выше звучности шумного, а может снижаться до уровня этого шумного. Этим обусловлена возможность появления и утраты слога в начале слова: [л'ды] и [л'ды] — и разное слогоделение внутри слова: [кан-в'эрт], [в'ёр-сты] и [на-рват'], [кб-лба] (с. 91—92). Формулируется и объясняется синхронический закон русского языка: взрывные согласные перед щелевыми того же места образования заменяются аффрикатами: *отсыпать* — о[ц]сыпать, *пяться* — п[ч]ять, *отщипнуть* — о[ч]щипнуть, *ветшать* — ве[ч]шать (с. 106).

К недостаткам описания интонации можно отнести отсутствие сведений о различиях в таких признаках интонации, как интенсивность, длительность, тембр, регистр.

Логично и последовательно с позиций московской фонологической школы дано определение фонемы. Используется здесь и термин «слабая фонема» в значении «общая часть нейтрализованных фонем», и «гиперфонема» как слабая фонема, не приводимая к сигнификативно сильной позиции (с. 104). Понятие, названное Р. И. Аванесовым «слабой фонемой», необходимо в фонологических исследованиях, но термин не может считаться удачным, особенно при данном его понимании.

В составе согласных фонем выделяются и такие, как <к', г', х'>, в составе гласных фонем выделяется <ы>, хотя и указывается, что она свойственна только подсистеме необщепотребительных слов. Фонемы определяются с точки зрения наличия у них конститутивных (диффе-

ренциальных) и интегральных признаков. По нашему мнению, можно считать оптимальным, что автор в данном учебнике не употребляет такого термина, как «конститутивный признак», несмотря на то, что он является достаточно распространенным.

В главе «Орфоэпия» автор опирается на выработанное М. В. Пановым понимание орфоэпии как раздела науки о языке, изучающего варианты произносительных норм литературного языка (с. 121). Такое определение предполагает отрицание от собственно фонетики, изучающей звуковую систему языка, и позволяет избежать дублирования при рассмотрении фонетических закономерностей, неизбежного при расширительном понимании орфоэпии как совокупности норм произношения. Можно было бы, пожалуй, добавить пункт о возможности произношения [ъ] в соответствии с безударными [у]: *шт[ъ]кату́р, г[ъ]ве́рнатор, па́см[ъ]рный, вы́ст[ъ]п[и]ть* и т. п. В целом же здесь достаточно полно описаны наиболее важные орфоэпические нормы современного литературного языка.

Последовательно фонологический подход проводится в разделе «Графика и орфография». Автор указывает, что буквы русского алфавита обозначают не звуки (как часто пишут), а фонемы (с. 129). Такой подход приводит автора к выводу: все гласные буквы многозначны, а все согласные буквы однозначны.

В этом разделе описаны все основные вопросы орфографии. Определены принципы, на которых строятся конкретные орфографические правила, среди них выделяются основные, ведущие принципы. Так, в параграфе, посвященном передаче буквами фонемного состава слова, в качестве основного выделяется фонематический принцип наряду с традиционными морфологическим, фонетическим принципами. Новое в изложении данного раздела то, что фонематический и морфологический принципы рассматриваются не как взаимоисключающие, а как лежащие в основе различных орфографических правил русского языка.

Достаточно глубокое научное освещение находит в учебнике «Словообразование» (с. 141—167). На основе идей В. В. Виноградова, Г. О. Винокура и др., с учетом современных концепций рассматриваются категории синхронного словообразования, виды морфем русского языка, членность и деривация (производность) основ. Центром раздела «Словообразование» является морфемика и ее особая роль, определяемая лингвистической значимостью данной и тесно связанной с ней научной проблемой, а также широким выходом знаний морфематики в практику обучения орфографии.

При анализе морфологических явлений (раздел «Морфология») авторы опираются на грамматическую концепцию В. В. Виноградова, во многих случаях дополняя ее. Морфология определяется как раздел грамматики, изучающий грамматические свойства слов» (с. 168); к числу грамматических признаков слова относятся грамматические значения, формальные средства их выражения (подчеркивается

важность не только парадигматических, но и синтагматических формальных показателей, очень активизировавшихся в русской морфологии последних десятилетий), а также грамматические категории, понимаемые как «противопоставление всех однородных грамматических значений, выражаемых грамматическими формальными средствами» (с. 171). В учебнике убедительно показано, что грамматическая категория, будучи двуплановой, диалектическим единством грамматической семантики и грамматической формы, представляет собой качественно новую единицу анализа по сравнению с грамматическими значениями и формальными средствами.

В науке нет единства мнений относительно соотношения частей речи и морфологических категорий, эти два понятия противопоставляются. В учебнике части речи — «центральное звено в системе морфологических категорий», основана морфологическая категория лексико-грамматического типа; остальные категории — частные по отношению к частям речи (с. 171—172). Категория частей речи — иерархизированная система, в основе которой — четыре структурно-семантические класса слов (самостоятельные, служебные части речи, модальные слова, междометия, с. 172). В главах «Имя существительное» и «Имя прилагательное» наряду с традиционными лексико-грамматическими разрядами (группами) выделены собственно грамматические разряды склоняемых и несклоняемых существительных и прилагательных, для которых характерны лишь синтагматические способы выражения грамматических значений (*новые — новые пальто; конверт авиа* и т. п., с. 176—177, 192). Все многообразие падежной семантики сведено к четырем типам значений — субъектному, объектному, обстоятельному и определительному (с. 182—183). Имена числительные и местоимения трактуются с учетом их грамматических показателей, поэтому к числительному как части речи, очевидно, не относятся традиционные «порядковые числительные» (с. 199), а местоимения ограничиваются лишь предметно-личными словами типа *кто, я, он* и т. п. (с. 203—205). Категория состояния как часть речи также представлена с опорой на грамматические свойства данных слов, поэтому к категории состояния отнесены слова типа *нужно, пора, лень, по не рад, должен* и т. п. (с. 234—235). Интересно написана глава «Глагол», хотя, может быть, здесь не всегда выдержан принцип представления материала от более общих категорий, характеризующих всю глагольную лексику, к более частным, присущим отдельным формам (ср. порядок введения категорий: лицо; наклонение; время; вид; залог). Достаточно подробно описаны служебные части речи; привлекают внимание детали классификации частиц, предлогов, союзов по значению и функции.

Как правило, предлагаемые решения соответствуют общепринятым или господствующим точкам зрения (исключение составляет, пожалуй, лишь интерпретация категории залога; по-видимому, сле-

давало также более подробно аргументировать отнесение одушевленности—неодушевленности к числу морфологических категорий, а не лексико-грамматических разрядов имени существительного).

Раздел «Синтаксис» представляет собой, несомненно, наибольшую творческую удачу авторов. К достоинствам раздела следует отнести прежде всего то, что он написан с учетом достижений современной синтаксической науки и всего ценного, что накоплено в отечественном языковедении. Предметом синтаксиса являются слово в его отношениях и связях с другими словами в речи, правила образования из слов более крупных единиц, обеспечивающих речевое общение. «В результате соединения слов, употребления их в определенных формах строятся синтаксические единицы: словосочетания, предложения» (с. 246).

Предложению (как основной коммуникативной единице) закономерно предшествует словосочетание (как лексико-синтаксическая база для построения распространенных предложений). Анализируются форма и значение словосочетаний, представлены виды подчинительных связей в словосочетаниях и их классификация (с. 248—258). Убедительно показано функциональное отличие предложения от словосочетания как непредикативного соединения двух или более знаменательных слов на основе подчинительной связи, служащего для расчлененного обозначения сложного явления действительности. Тем самым однозначно определяется место словосочетания в русской грамматике сравнительно со словом и предложением. Четко разграничивается характер связей слов (словоформ) на предложенческом и словосочетательном уровнях.

Структурно-семантический подход к явлениям синтаксиса оказывается на первом плане в соответствии с установившейся традицией, хотя не менее важна и формальная сторона рассматриваемых единиц. А в освещении некоторых тем семантический аспект даже становится доминирующим (например, характеристика сложносочиненных и бессоюзных сложных предложений, с. 334—342, 364—372). С удовлетворением можно от-

метить, что авторы раздела не злоупотребляют «модной» терминологией, избегают ненужных теоретических новаций.

Будущий учитель при изучении синтаксиса в вузе должен получить такие представления о каждом анализируемом факте синтаксиса русского языка, которые будут служить надежным и четким ориентиром в процессе преподавания данного раздела в школе. Главы, посвященные словосочетанию, простому предложению, в полной мере отвечают этому требованию.

Положительным фактом следует считать стремление авторов показать переходные явления, вскрыть системный характер отношений между различными разновидностями синтаксических единиц (см., например, параграфы «Соотношение односоставных и двусоставных предложений», «Система сложносочиненных и сложноподчиненных предложений», с. 302, 376).

При классификации второстепенных членов предложения выделяются детерминирующие обстоятельства и детерминирующие дополнения (с. 308—312). Думается, что можно согласиться с делением второстепенных членов на детерминирующие и недетерминирующие. Только этому факту, на наш взгляд, следовало бы уделить больше внимания. Любое изменение традиционных классификаций нуждается в более обстоятельной аргументации.

Коллективом авторов подготовлен учебник, отличающийся высоким научным уровнем, очень нужный студентам-филологам дневных и заочных отделений. Он может быть также рекомендован преподавателям и студентам национальных групп (готовящих преподавателей русского языка для национальной школы) пединститутах и университетах. Много нового и ценного могут почерпнуть из него и учителя при подготовке к урокам русского языка. Сжатость и доступность всего материала дают основание рекомендовать его и неспециалистам, всем, кого интересуют вопросы правильности, нормативности русской речи.

Богачев Ю. П.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

В Москве в Институте русского языка АН СССР и Доме ученых с 21 по 26 мая 1984 г. проходил Международный симпозиум по этимологии, исторической лексикологии и лексикографии. В работе симпозиума приняли участие ученые СССР, НРБ, ЧССР, ГДР, ПНР, Швеции, Норвегии. Симпозиум привлек внимание научной общественности. На его заседаниях присутствовали сотрудники Института русского языка АН СССР, Института языкознания АН СССР, Института славяноведения и балканистики АН СССР, издательств «Наука» и «Русский язык», МГУ, педагогических институтов Москвы, а также представители высших учебных заведений и научных учреждений 30 других городов.

В соответствии с тематикой, предложенной организаторами симпозиума — Институтом русского языка АН СССР и Советским комитетом славистов, его работа была распределена по трем секциям: этимологии, исторической лексикологии и лексикографии. Открыл симпозиум чл.-корр. АН СССР О. Н. Трубачев. На пленарных и секционных заседаниях, в которых участвовали представители крупнейших словарных коллективов славянских стран, было заслушано в общей сложности 107 докладов и в ходе их обсуждения — 128 выступления.

Симпозиум отразил все возрастающее понимание важности и необходимости комплексного подхода к проблемам этимологии и исторической лексикологии и лексикографии, стремление к единению и взаимопроникновению смежных дисциплин при воссоздании в полном объеме истории слова и реконструкции и этимологизации словарного состава славянских языков. Этимологическая наука в своих выводах в значительной степени основывается на данных исторической лексикологии и лексикографии, вместе с тем этимология, конечной целью которой является реконструкция исходного состояния, углубляет и расширяет перспективу словообразовательной и семантической эволюции слова, восстанавливаемой по исторически засвидетельствованным источникам.

В секции этимологии в докладах и дискуссии затрагивался широкий круг актуальных вопросов этимологической науки. Отмечалось, что для создания оптимального варианта этимологического словаря с повышенным познавательным содержанием необходимо мак-

симально полное использование внутриязыковых ресурсов и материалов историко-культурного характера (В. И. Абаев, Москва)¹.

Развитие этимологической науки требует постоянного совершенствования приемов и методов анализа, расширения источников внешней и внутренней реконструкции. Логикой развития науки выдвинуты на первый план вопросы семантики. Систематизация приемов семантической реконструкции (закон аналогии Курпловича, требование точного описания употреблений слова, учет записей значений и т. п.) имеет важное значение для углубленного изучения генетических связей основ на праславянском уровне (О. Н. Трубачев, Москва). Новые возможности для раскрытия этимологических связей открывает сопоставительно-хронологический анализ гнезд, относительно которых можно предполагать отношения синонимии (Ж. Ж. Вабот, Москва). Семантический критерий положен в основу реконструкции этимологического гнезда с и.-е. корнем **gheǵ-* «светить, сверкать» и обоснования взаимосвязи значения «смотреть» > «ждать», «ждать» > «смотреть» < «светить, сверкать» > «зима» и т. п. (В. Мажаулис, Вильнюс).

Один из внутренних резервов семантической реконструкции связан с выявлением принципов семантической организации отдельных фрагментов славянской лексики. Собственно семантический анализ терминов торговли и права (Ш. Ондруш, Братислава, ЧССР), древнейших социально-экономических и политических терминов в серболоужицких языках (Х. Шустер-Шевц, Лейпциг, ГДР), анатомических терминов в системе праславянского (В. Бороусь, Краков, ПНР) демонстрирует основные тенденции семантического развития, показывает, что основная часть этих терминов сложилась на основе переосмысления унаследованной части словаря и, следовательно, является семантически производной. Семантическая реконструкция, осуществляемая разными средствами, в том числе и средствами этимологии, является одним из оснований этимологического анализа. Для этимологии особенно актуальным следует признать установление принципов семантической мотивации, создание кодифицированного

¹ Здесь и далее для зарубежных участников указываются город и страна, для советских — только город.

инвентаря семантических переходов. Решению этой задачи подчинены, в частности, исследования типов взаимосвязанных значений на материале отдельных этимологических гнезд индоиранских языков (А. Е. А н и к и н, Новосибирск), славянских метеорологических терминов (Т. В. Г о р я ч е в а, Москва) и на материале группы слов со значением «раннее» — «позднее (время дня)» (соответственно «утро» — «вечер») в балтийских и некоторых других индоевропейских языках (С. К а р а л ю н а с, Вильнюс). В раскрытии внутренних законов семантического развития — ключ к решению проблемы омонимии и синонимии на праславянском уровне. Механизм переосмысления слова, переноса слова из одной сферы, чаще всего бытовой, в другую, узкотерминологическую сферу лежит в основе такого явления, как праславянская метафора, которая служит источником постоянного обновления словарного состава языка (Г. А. Ц ы х у н, Минск). Все больше осознается, что для раскрытия понятийного ядра слова в языке древнего периода необходимо изучение синтагматических и парадигматических связей слова, синтаксических структур, в которых находит выражение своеобразие древнего восприятия обозначаемой действительности. Именно путем анализа формального отражения архаического понятийного ядра слова, дополненного и углубленного изучением обозначаемой действительности, можно установить характерные для древнего слова архаичные семантические признаки (И. Н е м е ц, Прага, ЧССР). Приемы и методы исторической семасиологии (роль контекста, диалектных данных, славянских и балтийских соответствий), имеющие первостепенное значение для этимологии, демонстрируются на примере русск. диалект. *волоза* (Р. Э к к е р т, Берлин, ГДР). В связи с этим встает проблема реконструкции текста на этимологическом основании или на уровне синтактико-семантическом. Работы в этом направлении могут дать более твердую основу для реконструкции семантической стороны этимологизируемых слов, а также для восстановления текстов (в частности, ритуальных, мифологических, поэтических) для отдельных родственных традиций (В. В. И в а н о в, Москва). Семантическая реконструкция рассматривается как важный источник сведений о древней духовной и материальной культуре славян (Т. Б. Л у к и н о в а, Киев). Семантический анализ наименования стран света (В. А. Н и к о н о в, Москва), формирующихся топонимических систем (А. К. М а т в е с в, Свердловск), а также изучение коннотаций в русском языке (Е. С. О т н и, Донецк) позволяют понять законы становления системы понятий и слов в языке, что имеет немаловажное значение для общей теории языка.

Фонетика. Фонетические законы составляют основу этимологического анализа. Сформулированное В. К. Ж у р а в л е в ы м (Москва) положение об иерархичности фонетических изменений — одно из дополнительных средств внутрен-

ней реконструкции, учет которого повышает надежность этимологии. Гипотеза о слоговом сонанте как основной причине III палатализации дает основание для новой, во многих случаях спорной интерпретации структуры праславянской основы (Г. Я к о б с о н, Гетеборг, Швеция).

На обсуждение симпозиума были вынесены некоторые вопросы структуры праславянского слова, закономерностей сочетания корневой морфемы с протетическими элементами (В. В. М а р т ы н о в, Минск), а также с вставными элементами экспрессивно-усилительного характера (И. П. П е т л е в а, Москва). Состав протетических элементов и их отношения находятся в прямой зависимости от выбора этимологического решения. Пристальное внимание к явлениям протезы, накопление этимологически надежных примеров будет способствовать совершенствованию методики этимологического анализа. В ходе обсуждения указывалось, что при установлении формальных особенностей структуры слов, сложившихся на основе расширения индоевропейского корня разного рода детерминантами (Р. М. К о з л о в а, Гомель), необходимо определить функциональную значимость расширителей и хронологически разграничить индоевропейское наследие и собственно праславянские образования.

Предметом обсуждения ряда докладов были проблемы диалектной дифференциации праславянского языка. В плане лингвостатистических построений важное значение имеют фрагменты ареальных связей, воссоздаваемые по данным лексики и словообразования для славянских и индоевропейских языков (Р. В. К р а в ч у к, Минск; Л. В. К у р к и н а, Москва; М. П. Д а д а ш е в, Пятигорск). Проблема соотношения общего и частного в составе праславянского словаря посвящено изучение лексики отдельных диалектов и диалектных групп Полесья и Рязанской области (В. Н. Н и к о н ч у к, Житомир; Ю. П. Ч у м а к о в а, Уфа). Но, как показала дискуссия, при определении специфики соответственно «этимологического ландшафта» того или иного диалекта к узко региональным явлениям нередко относят лексемы, для которых восстанавливаются этимологические связи в других славянских языках. В докладах подчеркивалась роль лингвогеографического критерия при исследовании лексики, бытующей на большой территории Карпато-Балканского ареала, в генетически гетерогенном диалектном континууме и на смежной территории (Г. П. К л е н и к о в а, Москва; Ю. Л а у ч ю т е, Ленинград). Для реконструкции состава, структуры, семантики праславянского лексического фонда, ареальной характеристики некоторых праславянских слов немало дает анализ славянских заимствований в албанском и восточнороманском языках (В. Э. О р е л, Москва). Симпозиум еще раз отметил важность диалектных данных восточнославянских и балтийских языков при этимологизации славянской лексики и реконструкции праславянского словаря

(В. А. Меркулова, Москва; Ю. В. Откупщиков, Ленинград).

На симпозиум были вынесены и некоторые конкретные вопросы из практики этимологических исследований (Л. А. Гиндин, Москва) и опыта работы над этимологическим словарем русского языка (Н. М. Шанский, Москва).

В секции исторической лексикологии стояли в центре внимания и оживленно обсуждались вопросы соотношения лексикологии и лексикографии, базы источников лексикологической науки, история отдельных лексико-тематических групп, проблемы реконструкции региональной лексики.

Была отмечена необходимость привлечения для лексикологических исследований всей совокупности выявленных источников: письменных памятников, данных современных диалектов и литературного языка, а также родственных языков и диалектов. В качестве обязательного условия изучения словарного состава русского языка выдвигалась задача определения состава прарусского лексического фонда и выявления в древнерусском языке лексики, не зафиксированной в древнейших письменных памятниках (В. Я. Дерягин, Москва). Отмечалось значение для дальнейшего развития исторической лексикологии издаваемых в настоящее время и уже созданных словарей, в том числе Словаря русского языка XI—XVII вв., Словаря-справочника «Слова о полку Игореве», современных и исторических областных словарей, подчеркивалось, что особую ценность для исследователей в области исторической лексикологии представляют дифференциальные диалектные словари с их словниками и дефинициями слов (С. С. Волков, Ленинград; Т. С. Коготкова, Москва).

Выступавшими были названы основные задачи региональной исторической лексикологии: реконструкция лексических систем областных диалектов Русского государства, изучение движения словарного состава и сравнительно-типологическое исследование старорусских диалектов (Е. Н. Борисова, Смоленск), массовое обследование местных памятников письменности в сопоставлении с выводами современной диалектной лексикологии и лексикографии, определение диалектных зон в русском языке XVI—XVII вв. и особенностей русского лингвистического ландшафта того времени исходя из конкретного анализа лексических данных и, прежде всего, предметно-бытовой лексики (Г. В. Судяков, Вологда). Тщательному изучению подверглась лексика разговорной речи (койне) Пскова XVI—XVII вв., которая существенно отличается от псковской крестьянской речи (О. С. Мжелская, Ленинград).

Широко представлено было на симпозиуме и другое традиционное направление лексикологических исследований, посвященное отдельным тематическим группам слов и их истории: антонимической группе наименований участников войны в восточнославянских языках (А. А. Бурячок, Киев), русской ас-

рономической терминологии XVII в. (Л. П. Рупосова, Москва), военной лексике — названиям оружия (Г. Ф. Одинцов, Москва), терминологии времени и названиям праздников в славянских языках (Л. В. Вякина, Москва; С. М. Толстая, Москва), названиям растений и метрологической терминологии в старобуковинском языке (В. Л. Карпова, Киев; Р. И. Керста, Львов). Изучено формирование системы терминов грамматике и лексикологии в русском языке XVI—XVII вв. (Л. С. Ковтун, Ленинград). Выявлены некоторые существенные дифференциальные и интегральные признаки лексико-семантических групп древнерусской лексики (Г. Н. Лукина, Москва) и методика выделения семантических компонентов в значении слова (К. П. Смолина, Москва), разработаны принципы реконструкции лексики русского языка до XVIII в. по данным ономастики (Г. П. Смолицкая, Москва). В докладах рассматривались сербские слова *vesel(ица) — рад(ован)* в сакральных текстах (Н. И. Толстой, Москва), заимствованная лексика с типизированными формантами в русском языке XVIII в. (И. М. Мальцева, Ленинград), славянские включения в немецком языке (К. Мюллер, Берлин, ГДР). Исследовалась и лексика отдельных памятников, в частности, были выявлены древнерусские элементы в лексике Изборника Святослава 1076 г. (В. В. Нимчук, Киев).

На заседаниях секции обсуждались также доклады, посвященные различным историко-лексикологическим процессам: причинно-следственным связям в историческом развитии лексики и фразеологии русского языка (А. И. Федоров, Новосибирск), процессам архаизации лексики и утраты слов в словарном составе русского языка XI—XVII вв. (Э. Г. Шимчук, Москва), синонимии как результату разрушения многозначности слова в древнерусском языке (В. В. Колесов, Ленинград), образованию в русском языке слов с церковнославянскими корневыми морфемами (О. Г. Порохова, Ленинград), демократизации словарного состава русского языка XVI в. (В. Н. Рогова, А. Д. Васильев, А. Н. Чеботарева, С. П. Васильева, Красноярск).

Были обоснованы приемы определения значения редкоупотребляемых слов на материале старославянских рукописей, в частности, путем анализа слов в тех лексико-семантических группах, в которые они входят по тому или иному признаку, и изучения во всех связях со всеми без исключения словами, известными по прямым источникам письменным текстам рассматриваемого периода (Р. М. Цейтлин, Москва).

Лексические особенности русских переводов конца XVII в. удалось связать с их принадлежностью к разным московским школам перевода (Т. А. Лисова, Москва). Обращено внимание на глоссирование как особую форму лексикографической работы украинских книж-

ников второй половины XVII в. (И. П. Чепига, Киев). Показано значение славянских гимнографических памятников для изучения древнеболгарской лексики и поставлен вопрос об издании древнейших гимнографических текстов (М. Ф. М у р ь я н о в, Москва), рассмотрен греко-славянский указатель к гимнографическому памятнику XI в. как инструмент изучения техники равнеславянских переводов (М. И. Ч е р н ы ш е в а, Москва).

Подчеркнута необходимость установления зависимости и связи между лексическими вариантами, встречающимися как в греческих, так и в славянских списках евангелия («текстовые варианты»), и теми, которые встречаются лишь в славянских списках и восходят к одному греческому источнику, и, таким образом, намечен текстологический подход к проблеме лексического варьирования (А. А. Алексеев, Ленинград). Текстологическое изучение сочинений Григория Богослова и паремийных чтений позволило установить причины и особенности лексического варьирования в этих памятниках (Л. Я. Петрова, Ленинград; А. А. Пичхадзе, Москва). В ходе прений были высказаны пожелания о создании обобщающего академического труда «Историческая лексикология русского языка» и лекционных курсов по исторической лексикологии и семасиологии.

В секции исторической лексикографии в докладах и во время дискуссии отмечались успехи в работе над большими историческими словарями славянских языков и характерный для современного состояния лексикографии переход к более глубокому теоретическому осмыслению словарной работы.

Участники симпозиума подвели итоги практической деятельности в области исторической лексикографии последних лет (А. И. Горшков, Москва; Г. А. Богатова, Москва; В. Л. Виноградова, Москва; Д. Г. Гринчишин, Львов; А. И. Журавский, Минск; Л. С. Паламарчук, Киев; Л. Л. Кутина, Ленинград; А. И. Молотков, Ленинград; Т. К. Цкиртишвили, Тбилиси и др.). К первой рубежной дате — выходу в свет 10-го выпуска подошли издаваемые Институтом русского языка АН СССР этимологический словарь славянских языков (под ред. О. Н. Трубачева) и Словарь русского языка XI—XVII вв. (под ред. С. Г. Бархударова, Ф. П. Филина, Д. Н. Шмелева). К открытию симпозиума ЛИЯ АН СССР были изданы I выпуск и Указатель источников Словаря русского языка XVIII в. (под ред. Ю. С. Сорокина), Институтом языкознания АН БССР первые четыре выпуска Исторического словаря белорусского языка XIV—XVIII вв. (под ред. А. И. Журавского), Институтом общественных наук АН УССР — проспект Словаря украинского языка XVI — первой половины XVII вв. (под ред. Д. Г. Гринчишина). Подготовлен и сдан в издательство I том Словаря древнерусского языка

XI—XIV вв. (под ред. Р. И. Аваесова). В МГУ продолжается работа над этимологическим словарем русского языка (под ред. Н. М. Шанского), началось издание Украинского (под ред. А. С. Мельничука) и Белорусского (под ред. В. В. Мартынова) этимологических словарей. Сдан в печать первый том Исторического словаря грузинского языка. Завершены словари по замечательным памятникам русской письменности — Слову о полку Игореве (составитель В. Л. Виноградова) и Моление Даниила Заточника (под ред. Е. М. Иссерлин, С. С. Волкова, В. П. Фелициной). Продолжается издание сводного Словаря русских народных говоров, в котором использованы диалектные записи XIX—XX вв. (под ред. Ф. П. Филина, Ф. П. Сороколетова). Накапливаются картотеки для региональных изданий русских диалектных словарей и исторических словарей местной письменности. Развертывается работа по созданию старославянских словарей местных редакций. Ряд ценных исторических словарей издается или готовится к изданию в других славянских странах.

На заседаниях секции обсуждались перспективы создания новых словарей, в частности, серии словарей старославянского языка восточнославянских редакций (В. Л. Карпова, Киев), региональных словарей деловой письменности — томской, воронежской, пермской (Е. Н. Полякова, Пермь). В связи с близким завершением составления Словаря русского языка XVIII в. в качестве одной из первоочередных задач была обоснована необходимость начала подготовительных работ над Словарем русского литературного языка первой половины XIX в. (Ю. С. Сорокин, Ленинград). Подчеркивалась ценность для исторической лексикологии создания мотивационных словарей на базе отдельных говоров, языка писателей (О. И. Блинова, Томск).

Большой интерес вызвали доклады, посвященные теоретической разработке и методике составления исторических словарей различных типов: филологического типа (В. Л. Виноградова, Москва), русской фразеологии (А. И. Молотков, Ленинград), идеографического словаря русских народных говоров (И. А. Попов, Ленинград). Поставлен вопрос о создании в недалеком будущем возможностей, обеспечивающих сопоставимость в соответствующих хронологических отрезках лексико-семантических групп слов, типологических черт языков одного регионально-этнического происхождения, выявление общего в культурно-исторических традициях и книжно-письменном наследии, с чем связывается новый этап современной исторической лексикографии (Г. А. Богатова).

Значительное внимание уделялось критериям и практике отбора, разграничению, датировке и использованию источников исторических словарей (А. И. Журавский, Минск; Д. Г. Гринчишин, Львов; В. И. Хитрова, Москва; Е. Н. По-

лякова, Пермь). Принципы документирования словарных статей в историческом словаре, роль иллюстративного материала в Словаре русского языка XVIII в., словари XVIII в. как источники стилистической интерпретации лексик в этом словаре были тщательно проанализированы в докладах Л. А. Войновой (Ленинград) и Е. Э. Биржаковой (Ленинград).

Ряд докладов и выступлений по теории и практике лексикографического исследования основывался на материалах Словаря русского языка XI—XVII вв. и Картотеки ДРС. Вопросы структуры словарной статьи в СРЯ XI—XVII вв., роли греческих параллелей в решении проблемы заголовочного слова, организации дополнений к словарю в ходе его издания, методов работы с «Материалами для Словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского нашли отражение в докладах Н. С. Бондарчук, Р. Д. Кузнецовой (Калинин), Г. В. Востоковой, Г. А. Богатовой, М. И. Чернышевой, О. И. Смирновой (Москва).

Этимологическим экскурсам, их роли и значению в словарях исторического жанра уделялось значительное внимание: рассматривались элементы этимологического анализа иноязычных заимствований (Л. Л. Кутина, Ленинград; И. Г. Дობродомов, Москва), типы сравнительно-сопоставительных этимологических помет (И. И. Макеева, Москва), вопросы лексикографического описания и классификации заимствованной лексики в русском и белорусском исторических словарях (Г. Я. Романова, Москва; А. Н. Булыко, Минск), иноязычные заимствования и выбор их соответствий в иноязычно-русских лексиконах XVII в. (Л. Н. Смольникова, Москва). Затрагивались в докладах и вспомогательные виды лексикографического труда, в частности, такой, как составление указателей к письменным памятникам (Л. Ю. Астахина, Москва).

Оживленно обсуждались различные вопросы грамматики русского языка в связи с лексикографической работой. Рассматривались проблемы: грамматических различий и тождества слова (В. Б. Силина, Москва; М. В. Шулга, Москва), интерпретации существительных на *-ье* типа *камение* в качестве собирательных слов или грамматической формы мн. числа (И. Э. Еселевич, Устинов), описания слов с приставками *не-* и *су-* в исторических словарях древнерусского и старорусского языка (А. Н. Шаламова, Москва; М. В. Пржевальская, Москва), взаимосвязи грамматических категорий глагола с лексической семантикой в болгарском языке (К. Чолакова, София, НРБ).

Необходимость изучения лексико-фразеологического состава русского языка при составлении толковых и исторических словарей была проиллюстрирована на примере анализа устойчивых сочетаний, соотносящихся со словом (Р. П. Рогожников, Ленинград) и

разработки составных (многословных) терминов и номенов в словарях разных типов (В. Н. Сергеев, Ленинград). Предметом обсуждения послужили также возможности семантической реконструкции в диалектном словаре (Н. И. Баторжок, Ленинград) и сопоставления материалов диалектного и исторического словарей для прояснения значений древнерусских слов (В. А. Козырев, Ленинград).

В ходе дискуссии высказывались мнения о необходимости усиления сотрудничества различных словарных коллективов (Л. Л. Кутина, Г. А. Богатова), более широком использовании в исторических словарях материалов местных архивов и диалектных картотек (А. П. Федоров, Г. А. Богатова, В. А. Никонов).

Участники симпозиума отметили как знаменитое времени растущее взаимопонимание и связь обсуждавшихся в докладах проблем этимологии, исторической лексикологии и лексикографии [Н. И. Толстой; А. П. Евгеньева (Ленинград)].

Симпозиум способствовал дальнейшему укреплению научных связей специалистов в области этимологии, исторической лексикологии и лексикографии славянских стран, содействовал развитию и более комплексному изучению этих взаимосвязанных научных дисциплин, лучше осмыслению их современного состояния и достижений. Симпозиум сделал возможным обмен мнениями по актуальным проблемам этимологии, исторической лексикологии и лексикографии и позволил наметить перспективные направления научных исследований в этой области.

Куркина Л. В., Мордовина С. П.
(Москва)

12 января 1984 г. в Москве в Институте русского языка АН СССР состоялась ежегодные (шестнадцатые) чтения, посвященные памяти академика В. В. Виноградова. Открывая чтения, директор Института русского языка АН СССР чл.-корр. АН СССР Ю. Н. Караулов указал на непреходящее значение идей В. В. Виноградова, продолжившего лучше традиции отечественного языковедения, идущие от М. В. Ломоносова, Ф. И. Буслаева, А. А. Шахматова, — идей, которые в свою очередь получают плодотворное развитие в трудах современных исследователей.

Чтения 1984 г. были посвящены широкому кругу вопросов, относящихся к функционированию языковых категорий как в общелитературной, так и в индивидуально-художественной сферах.

Доклад Ю. Н. Караулова «Понятие языковой личности в трудах В. В. Виноградова» был посвящен одному из направлений современной русистики, начало которому положил в своих работах В. В. Виноградов. Отметив, что в языков-

нании неоднократно делались попытки рассмотреть языковую личность, прежде всего с точки зрения психолингвистики (в работах Н. А. Бодуэна де Куртенэ) и лингводидактики (начиная с работ Ф. И. Буслаева), докладчик указал, что В. В. Виноградовым эта проблема решается совершенно по-новому — путем анализа языка художественной литературы. В его трудах языковая личность предстает как сложная категория, реконструкция которой возможна из анализа ткани художественного произведения путем непосредственного перехода от персонализированной речи. Дальнейшее исследование языковой личности принимает либо историко-литературную направленность и через категорию образа автора ведет к характеристике школ, жанров, методов в истории литературы, либо приобретает лингвопоэтический колорит при анализе индивидуально-речевой структуры, что приводит к обновленной и углубленной трактовке художественного образа. Ю. Н. Караулов подчеркнул теоретическую важность идеи В. В. Виноградова о соотношении и взаимодействии категорий языковой личности, образа автора и художественного образа и показал, что в таких работах, как «Романтический натурализм», «О литературной циклизации», «К морфологии натурального стиля» выдающийся ученый блестяще осуществил лингводидактический анализ, опирающийся на взаимодействие этих трех категорий. Было отмечено также, что В. В. Виноградов в центр лингводидактического анализа ставил проблему сказа, а проблемы языковой личности, художественного образа и образа автора рассматривал как производные от нее. В заключение докладчик охарактеризовал перспективы дальнейшего изучения категории языковой личности, в частности, изолированное изучение языковой личности персонажа в соотношении ее с целостным художественным образом и с опорой на намеченные В. В. Виноградовым типы внутреннего монолога.

Проблемам анализа языка художественных произведений был посвящен также доклад Е. А. И в а н ч и к о в о й (Москва) «Синтаксическая дифференциация типов художественного повествования», в котором автор показал, как собственно синтаксические средства, функционируя в одном и том же художественном прозаическом тексте, участвуют в дифференциации разных по субъектной закреплённости повествовательных типов, что позволяет обнаружить определенные черты поэтики данного произведения на самом глубоком — языковом — его уровне. Е. А. Иванчикова опиралась при этом на высказанное В. В. Виноградовым более 50 лет тому назад положение о том, что «вопрос о субъектных типах и формах непосредственно-языкового выражения образа автора — рассказчика, оратора или писателя» является одной из «существеннейших задач учения о речи литературно-художественных произведений» [1]. В докладе в обобщенном виде были представлены наблюдения над речевой структурой субъекта в романе Достоевского «Бесы». Основу текстовой ком-

позиции этого романа составляют колебания и смещения субъектных позиций повествователя-хроникера, последовательно сигнализируемые, наряду с другими языковыми показателями, средствами синтаксического изображения. Обнаруживаются, соответственно, две субъектные формы повествования в «Бесах»: с открыто объявленным и с отсутствующим в тексте хроникером. Такое распределение функций повествователя, непосредственно связанное с сюжетно-идеологической структурой романа, входило, как показано было в докладе, в творческий замысел писателя.

Основываясь на тезисе В. В. Виноградова о тесной связи многих стилистических приемов «с структурными свойствами соответствующего общепедагогического языка и с закономерностями его исторического развития» [2], Е. А. Некрасова (Москва) в докладе «Художественный прием как средство реализации эстетической функции языка» предприняла попытку обнаружить такую связь в реализации эстетической функции языка на основе расширительного употребления некоторых языковых категорий, связанных с первичными функциями языка. Рассматривая языковой прием как элемент художественного текста, обладающий органической связью с его стилистическими характеристиками, докладчик выдвинул тезис о принципах построения лингвистической типологии ядра художественных систем на основе определенных языковых приемов (или групп таких приемов). В качестве двух полярных систем, обладающих типологической сопоставимостью по признаку наличия приема поэтической модальности (художественного приема, опирающегося на собственно языковые «механизмы», смещающие пространственно-предметные и временные характеристики художественного текста), были названы художественные системы А. Блока и А. Вознесенского. По мнению докладчика, сопоставление столь различных поэтов, обнаруживая стилистическую гармонию у одного и калейдоскопичность, связанную с демонстрационным (отрытым) способом ввода в текст анализируемого языкового приема у другого, подчеркивает своеобразие каждого из поэтов и в то же время укрепляет представление о наличии стабильных языковых «механизмов», участвующих в формировании художественных приемов как актуализаторов функционального статуса общепедагогического языка.

В докладе В. П. Григорьевой (Москва) «Эстетика неологизма» на материале ряда субстантивов-неологизмов в словотворчестве В. В. Хлебникова были развиты некоторые идеи, намеченные автором в уже законченном им монографическом исследовании «Словотворчество и смежные проблемы языка поэта». Докладчик подчеркнул мысль о том, что при анализе эстетической функции языка важно различать общие проблемы эстетики языка и речи, с одной стороны, и, с другой, — более конкретную проблематику эстетики отдельного произведения (текста), некоторого фрагмента, частного афоризма (высказывания), словосочетания (тро-

па), наконец, отдельно взятого слова в его образном применении, отдельной морфемы и даже эстетики дифференциальных признаков фонем (например, у В. Хлебникова преобразование *дворяне* в *творяне*), и осветил ряд связанных с этим тезисом вопросов. В числе этих проблем были рассматриваемы: 1) проблема эстетики самого преобразования языковых единиц и, в частности, эстетики словообразования; 2) проблема эстетических потенций конкретного слова для построения образа и вытекающее из нее положение о том, что важнейший аспект так называемого «самовитого слова» — это реальное слово как объект эстетики; 3) проблема отношения неологизмов к контексту: неологизмы далеко не всегда теряют свою выразительность вне контекста, у В. Хлебникова они ориентированы на язык, систему; 4) проблема единства смысловых и чувственных моментов, характерных для любых художественных образов, в том числе и неологических, и вытекающая отсюда задача единства анализа в искусстве слова содержательных моментов и непосредственно воспринимаемой «языковой» формы движения материи. В критическом плане была затронута также проблема формотворчества в современном литературоведении. В заключение докладчик охарактеризовал идейно-эстетические критерии работы В. Хлебникова над неологизмами, объединяемыми в словотворчестве поэта идеи целого века.

В. Н. Виноградова (Москва) в докладе «Стилистика словообразовательного мотивированных слов» охарактеризовала основные отличительные признаки книжной, разговорной и художественной авторской речи, прежде всего с точки зрения словообразовательной семантики, подробно остановившись на анализе словообразовательных средств, семантически и стилистически прикрепленных к каждой из этих функциональных равновидностей языка. В докладе было показано, что для книжной речи характерным является соединение в структуре мотивированного слова основы и аффикса однородной стилистической значимости, причем решающую роль играет окраска мотивирующего; однозначны и «социальные» средства оценки книжной речи. Разговорной речи свойственно не только соединение разговорных мотивирующих с разговорными аффиксами, но и соединение (1) книжных мотивирующих с разговорными аффиксами (*лидерша*), (2) разговорных мотивирующих с книжными аффиксами (*пляз* от *петь*) и даже (3) нейтральных или книжных составляющих, не закрепленных лексической или социальной нормой. В художественной авторской речи, характеризующейся тенденцией к использованию окказиональных по отношению к коммуникативному языку моделей для актуализации внутренней формы слова [путем синонимичных замен основы или аффикса во «внутреннем контексте» слова или изменения «внешнего контекста» — сочетаемости слова (и тем самым переосмысления его структуры) с целью выражения метафоры, метонимии, олицетворения], используются мотивирующие

и аффиксы периферийного фонда (устарелые, диалектные, разговорные элементы), теряющие при этом свою функциональную прикрепленность. В заключение В. Н. Виноградова подчеркнула, что в речи, тексте можно наблюдать процессы образования слов путем использования таких речевых способов, как обратный способ словообразования, метапрефиксов, формирование окказиональных моделей слов, наиветнее одноаффиксных слов в приеме анафоры или градации, использование однокоренных слов для семантического сцепления текста, «приращения смысла» мотивированного слова путем сопоставления с речевым «мотивирующим суждением» (по терминологии Е. С. Кубряковой).

В докладе М. Л. Гаспарова (Москва) «Ритмико-пятитонационные формулы у А. С. Пушкина» были предложены определения смежных понятий: ритмико-синтаксического клише (образуемого взаимодействием лексического, рифмического и ритмического факторов и представляющего собой наиболее частотное слово поэтического языка, занимающее маркированную позицию — в начале или, как правило, в конце строки, — с примыкающими к нему словами, которые должны укладываться в определенный ритм), а также ритмико-синтаксической формулы (ритмико-синтаксического клише, подкрепленного повторением слова). На материале поэзии пушкинского времени (193 строки 4-ступного ямба, кончающихся на «...младой», «...молодой» и т. п.) были выявлены некоторые клише и формулы, характерные для Пушкина, Лермонтова и др. поэтов, и намечены некоторые пути дальнейшего их исследования, которое позволит представить стих как единство, порождаемое взаимодействием рифмы, ритма, синтаксиса и лексики.

Доклад Н. Ю. Шведовой (Москва) «Семантический комплекс как единица функциональной грамматики» был посвящен одному из возможных путей построения функциональной (активной) грамматики русского языка, имеется в виду такое описание, при котором языковой материал организован исходя из собственно языковых значений и анализ грамматических явлений оказывается тесно связанным с явлениями лексическими. Указав, что для реализации такого описания целесообразно выделить четыре первичных функций, центральных сфер языка (сферы именуемости; сферы непосредственной коммуникации; сферы представления всех видов зависимостей, связей и соотношений; сферы квалификации и оценок), докладчик подчеркнул, что основной единицей, выделенной внутри каждой из выделяемых сфер и конструирующей весь цикл ее категорий, является семантический комплекс — организованное по определенным языковым законам целое, состоящее из ряда равноуровневых единиц и объединенное семой, которая однозначно выражается в составе комплекса его семантической доминантой. Н. Ю. Шведова охарактеризовала пять основных признаков, релевантных для выявления и конструирования

семантического комплекса, к которым относятся: семный состав комплекса, наличие доминанты, характер его внутренней организации, сегментированность комплекса, а также стилистическая противопоставленность входящих в него единиц.

В заключительном слове заместитель директора Института русского языка АН СССР В. П. В о м п е р с к и й отметил, что пятнадцатые Виноградовские чтения еще раз продемонстрировали творческую силу идей В. В. Виноградова, плодотворно развиваемых советскими лингвистами, в частности — в прозвучавших докладах по проблемам функционирования языковых категорий в разных языковых сферах.

Белюсова А. С. (Москва)

ЛИТЕРАТУРА

1. *Виноградов В. В.* О художественной прозе. М.—Л., 1930, с. 42.
2. *Виноградов В. В.* Итоги обсуждения вопросов стилистики.— ВЯ, 1955, № 1, с. 84.

25—27 января 1984 г. в Москве проходила II конференция по китайскому языкознанию, организованная Институтом востоковедения АН СССР. В работе конференции приняли участие лингвисты-востоковеды из многих научных центров, преподаватели вузов нашей страны. На заседаниях конференции было прослушано 32 доклада.

Конференцию открыл председатель Оргкомитета зам. директора Института востоковедения В. М. С о л н ц е в, который в своем вступительном слове подчеркнул большое значение научных связей и широкого обмена мнениями специалистов по китайскому языкознанию. В центре внимания участников конференции стояли проблемы китайской лингвистики; подведение итогов и теоретическое осмысление исследований советских и китайских лингвистов, методология грамматического анализа и единицы описания языка, вопросы фонетики, морфологии, синтаксиса и лексики, исторической грамматики, описания диалектов и языков наименьшинств. По широте охвата проблем и по числу участников данная конференция превосходила предыдущие конференции и симпозиумы по китайскому языкознанию, проводившиеся у нас.

Доклады касались вопросов морфологических категорий и способов их выражения. Обсуждались проблемы классификации словосочетаний, сложных предложений, различных средств выражения актуального членения в современном языке и в древних текстах, специфики лексического уровня, структурного анализа иероглифической письменности и фонетической системы. В круг исследования были вовлечены данные не только китайско-

го языка, но и типологически близких и взаимодействующих с ним языков, распространенных на территории Китая.

Ряд докладов был посвящен исследованиям грамматического строя китайского языка в нашей стране и за рубежом. Проблемы теории развития китайского слова в связи со становлением частей речи, разработанные в трудах крупнейшего советского востоковеда И. М. Ошанина (1900—1982), были темой доклада Н. Н. К о р о т к о в а (Москва). Автор говорил о вкладе, который внес И. М. Ошанин в создание классификации биномов, в разработку грамматической характеристики китайского слова и его словообразовательной структуры. В докладе «Некоторые вопросы китайской морфологии в трактовке современных китайских лингвистов» В. М. С о л н ц е в (Москва) проанализировал взгляды ведущих китайских ученых по самым спорным вопросам грамматического строя китайского языка. Учет национальной лингвистической традиции важен и поучителен как в плане теоретических положений, так и фактической стороны исследований. Е. И. Ш у т о в а (Москва) рассмотрела вопрос о синтаксических представлениях китайских ученых, в частности трактовку ими понятия «член предложения» с точки зрения как традиционного, так и формального подхода. Изучение китайскими лингвистами лексических синонимов, проводившееся в плане определения понятия, классификации, источников и путей развития, было отражено в докладе Т. И. К у з н е ц о в о й (Владивосток).

Большое внимание на конференции было уделено проблемам морфологических категорий и единиц описания китайского языка. Так, Н. В. С о л н ц е в а (Москва) в докладе «Морфологические категории и „поле“ одушевленности» показала, что одушевленность и неодушевленность находят отражение не только в морфологии, но и проявляют себя на уровне синтаксиса. Разные манифестации этой дихотомии обнаружены автором в китайском языке и во многих языках Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. В докладе В. М. А л п а т о в а «О применимости понятия субморфа к языкам Юго-Восточной Азии» были рассмотрены особенности морфемы и субморфа, которые являются ярким типологическим признаком данных языков. Субморф выделяется по морфонологическим свойствам и не обязательно обладает значением. Структура субморфов проста и описывается с помощью немногих правил. Для типологической характеристики языков важно противопоставление их по признаку мноморфизма и полиморфизма слова. Свою точку зрения на это выразил Н. Н. К о р о т к о в, исследовав проблему полиморфизма на широком фоне знаменательных и служебных единиц в области плана выражения и плана содержания. Морфологические проблемы были поставлены в докладе О. М. Г о т л и б а (Чита) «О семантическом потенциале суффиксов *-ла* и *-го* на фоне значения аспектuality». Докладчик использовал функциональный подход к морфологии, выявляя

семантические параметры грамматического поля.

Ряд докладов был посвящен вопросам словообразования. И. В. Жданкин (Москва) на материале именных атрибутивных образований модели «относительный признак + предмет» рассматривал вопрос о границах слов и возможности их свободного образования в речи. Степень такой свободы определяется структурно-семантической характеристикой словообразовательной модели. При анализе глагольно-именных сочетаний двусложного состава Ю. Д. Маматюк (Москва) показал, что семантические и нормативные свойства их компонентов позволяют говорить о норме номинативного синтаксиса. Е. Ю. Мушницкий (Москва) исследовал существительные типа «именная морфема — счетное слово» с точки зрения наличия или отсутствия у них значения собирательности.

Семантическая и структурная классификация словосочетаний была предложена в докладе В. И. Горелова (Москва) «Словосочетание как раздел китайского синтаксиса». Рассмотренный докладчиком материал показал особенности словосочетаний, характерные для такого типа языков, как китайский. Татьяна Аошун (Москва), говоря о «выражении актуального членения в китайском языке», проанализировала варианты порядка слов в предложении, выражение определенности и неопределенности существительного, тематизацию высказываний и типы лексико-синтаксических структур. В докладе Е. Г. Кильдеевой (Москва) были выявлены возможные способы выражения страдательного залога. Е. А. Ефремов (Москва), рассмотрев сложные предложения, как связанные союзами, так и бессоюзные, классифицировал их по степени дифференцированности синтаксической связи.

Некоторые методологические вопросы описания стилистических систем изолирующих языков освещались А. М. Котовым (Москва), который подчеркнул важность для сопоставительных исследований описания стилистических ресурсов в направлении от значения к форме.

Проблемы изучения лексики нашли отражение в ряде докладов. А. Л. Семениас (Москва), исследуя синонимичные лексические единицы на основе сравнения их словарных толкований, показала, что взаимозаменяемость в тексте и близость словарных толкований не всегда взаимосвязаны. Синонимы стремятся к размежеванию по их лексической и семантической сочетаемости, закрепляясь за разными контекстами. О китайских фразеологизмах и отражении в их семантике особенностей национальной материальной и духовной культуры говорилось в докладе В. А. Мясникова (Киев). О. П. Фролова (Новосибирск) рассмотрела китайскую терминологию как лексическую подсистему языка и показала ее влияние на общеупотребительную лексику. Эти контакты не только обогатили семантические группы слов, но и привели к определенным сдвигам в системных отношениях в лексике.

Вопросы диалектологии китайского языка обсуждались в докладе С. Б. Янкивер, показавшей особенности использования китайской иероглифической письменности кантонским диалектом, которые состоят в употреблении диалектных знаков, созданных носителями языка, и заимствованных иероглифов. На широком материале диалектов северного Китая М. В. Софронов (Москва) проанализировал лексические и грамматические средства выражения категории интенсивности признака. А. Н. Алекахин (Москва) отметил действие закона открытого слога не только в системе слогов пекинского диалекта, но и в фонетической системе мэйсяньского диалекта на юге Китая.

Несколько докладов было посвящено истории языка. М. В. Крюков (Москва) говорил об актуальном членении предложения в доклассическом древнекитайском языке. Применительно к языку иньских гадательных надписей были рассмотрены такие средства актуально-коммуникативного членения, зафиксированные в древних текстах, как словоупорядок и специальные служебные частицы. И. С. Гуревич (Ленинград) на основе исследования танских буддийских юйлу середины IX в., отразивших разговорный язык своего времени, показала в них богатый и разнообразный набор новокитайских служебных слов. И. И. Пейрос (Москва) высказал гипотезу относительно проблемы лингвистического заселения Китая в связи с контактами носителей сино-тибетских языков с докитайским населением.

Вопросы китайской письменности рассматривались в докладе А. М. Карпетьянца (Москва) «Об одном подходе к графемному анализу иероглифов». Им была предложена система, построенная из графических элементов, ключевых элементов и фонетических элементов знаков.

О новых экспериментально-акустических исследованиях китайского языка говорилось в докладе М. К. Румянцев (Москва) «Искусственная речь как модель естественной». Задача приблизить искусственную речь к своему естественному прототипу решалась с помощью специально приспособленных синтезаторов.

Часть докладов касалась изучения типологически близких китайскому языков, как их истории, так и главным образом их современного состояния. Анализируя этнонимы тайских языков, частично распространенных на территории Китая и взаимодействующих с китайским языком, Ю. Л. Благоданова (Москва) проследила их фонетические и смысловые корреляции с алтайским ареалом на севере и австронезийским ареалом на юге. Методики полевой работы с информантом в ходе создания семантического словаря разобраны в обстоятельном докладе Б. Ю. Городецкого (Москва) «Об экспериментальном подходе к лексикографии (на материале ганьсуйского диалекта дунганского языка)». Методики нацелены прежде всего на полное выявление многозначности, а также на по-

лучение дополнительных данных в зависимости от параметров эксперимента. Данные эксперимента с носителями языка положены в основу доклада Т. С. Зевахиной (Москва) «О порядке следования прилагательных в атрибутивной синтагме дунганского языка (сопоставительно с другими языками)». Она рассмотрела вопросы нормы и объяснила случаи исключений из правил следования. И. Н. Комарова (Москва) рассказала об одной особенности грамматического строя тибетского языка, состоящей в том, что синтаксические отношения слов могут выражаться не только посредством служебных слов, но и флективным способом — меной фонем и тоном в различных формах одного и того же слова. К. Б. Кепинг (Ленинград) исследовала категорию направленности действия в тангутском языке и средства ее выражения, такие, как глаголы направленного движения и система префиксов совершенного вида и желательного наклонения.

Обсуждение актуальных вопросов грамматического строя китайского язы-

ка в его разных аспектах, обмен новыми мыслями и идеями в докладах и дискуссионных выступлениях свидетельствуют о стремлении подавать материал на современном уровне и создают ощущение новизны материала, взглядов, подхода. На заключительном заседании председатель Оргкомитета В. М. Солнцева подвела основные итоги конференции, отметив, в частности, огромный охват проблематики. Практически нет таких вопросов лингвистики, которые бы не занимали внимание китаеведов и специалистов смежных специальностей. Применяются все методы современной лингвистики. Большинство докладов и выступлений представляют собой результат серьезных исследований и являются весомым вкладом в науку. Наряду с известными учеными в конференции приняли участие представители талантливой молодежи. Очередную конференцию по китайскому языкознанию намечено провести в январе 1986 г.

Семенов А. Л. (Москва)

CONTENTS

Articles: G u x m a n M. M. (Moscow). Notional categories, linguistic universals and typology; A r u t j u n o v a N. D. (Moscow). Processes and facts as objects of axiological attitude; **Discussions:** M a y r h o f e r M. (Vienna). Some results of the linguistic study of Xerxes' Persepolian inscription discovered in 1967; V e r n e r G. K. (Taganrog). Yenisseian linguistics: results and prospects; M a k o v s k i j M. M., (Moscow). Problems of linguistic combinatorics; L u k i n V. A. (Kishinev). Some problems and prospects of the componential analysis; O n i a n i A. L. (Tbilisi). On the grammatical category of class in the Kartvelian languages; **Materials and notes:** B l a n a r V. (Bratislava). Lexicology of lexicography; K o z y r e v V. A. (Leningrad). A comparison of a historical and a dialectal dictionary; B u l y k o A. N. (Minsk). Foreign loans in a historical dictionary of the Byelorussian language; D m i t r o v s k a j a M. A. (Kaliningrad). Mechanisms of understanding and the use of the verb *to understand*; O g l o b l i n A. K. (Leningrad). Diachrony and morphonology of the Malayan-Javanese languages; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: G u x m a n M. M. (Moscou). Catégories de notion, universaux linguistiques et typologie; A r u t j u n o v a N. D. (Moscou). Le processus et le fait en tant qu'objet de l'attitude axiologique; **Discussions:** M a y r h o f e r M. (Vienne). Quelques résultats de l'étude linguistique de l'inscription persépolienne de Xerxes découverte en 1967; V e r n e r G. K. (Taganrog). Linguistique yénisséienne: résultats et perspectives; M a k o v s k i j M. M. (Moscou). Contribution à l'étude des phénomènes combinatoires en linguistique; L u k i n V. A. (Kichinev). Problèmes et perspectives de l'analyse componentielle; O n i a n i A. L. (Tbilissi). Sur la catégorie grammaticale de classe dans les langues kartvéliennes; **Matériaux et notices:** B l a n a r V. (Bratislave). Lexicologie de la lexicographie; K o z y r e v V. A. (Léningrad). Comparaison d'un dictionnaire historique et d'un dictionnaire dialectal; B u l y k o A. N. (Minsk). Emprunts étrangers dans un dictionnaire historique de la langue byélorusse; D m i t r o v s k a j a M. A. (Kaliningrad). Mécanismes de compréhension et l'emploi du verbe *comprendre*; O g l o b l i n A. K. (Léningrad). Diachronie et morphonologie des langues malayo-javanaises **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор *Радина Т. И.*

Сдано в набор 28.02.85	Подписано к печати 20.04.85	Т-02765	Формат бумаги 70×108 ^{1/16}
Высокая печать	Усл. печ. л. 12,6	Усл. кр.-отг. 74,9 тыс.	Уч.-изд. л. 14,8
	Тираж 5860 экз.	Зак. 1131	Бум. л. 4,5

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., 6

**СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЖУРНАЛЕ
«ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»**

- БЕ — Български език
 ВДИ — Вестник древней истории
 ВИ — Вопросы истории
 ВСЯ — Вопросы славянского языкознания
 ВФ — Вопросы философии
 ВЯ — Вопросы языкознания
 ЕИКЯ — Ежегодник иберийско-кавказского языкознания
 ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения
 ЗВО РАО — Записки Восточного отделения Русского археологического общества
 ИАН СЛЯ — Известия АН СССР. Серия литературы и языка
 ИКЯ — Иберийско-кавказское языкознание
 ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук (Росс. АН), АН СССР
 ИЯШ — Иностранные языки в школе
 РЯНШ — Русский язык в нац. школе
 РЯШ — Русский язык в школе
 СбНУ — Сборник за народни умотворения
 СТ — Советская тюркология
 ФН — Доклады высшей школы. Филологические науки
 ADAW — Abhandl. der Deutschen (Berliner) Akad. der Wissenschaften. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst
 AfslPh — Archiv für slavische Philologie
 AGI — Archivio glottologico Italiano
 AKGW — Abhandl. der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen
 AL — Acta linguistica
 AmA — American anthropologist
 ANF — Arkiv för nordick filolog
 AO — Archiv orientalni
 APAW — Aphanl. der Preussischen Akad. der Wissenschaften. Philosoph.-hist. Klasse
 BCLC — Bullétin du Cercle Linguistique de Copenhague
 BPTJ — Biulétyn Polskiego towarzystwa językoznawczego
 BSLP — Bullétin de la Société de linguistique de Paris
 BSOS — Bulletin of the School of Oriental studies
 BzNf — Beiträge zur Namenforschung
 CAJ — Central Asiatic Journal
 CFS — Cahiers F. de Saussure
 CJ — The classical journal
 FPhon — Folia phoniatica
 FuF — Finnisch-ugrische Forschungen
 HR — Hispanic review
 IF — Indogermanische Forschungen
 IJ — Indo-Iranian journal
 IJAL — International journal of American linguistics
 JA — Journal asiatique
 JASA — Journal of the Acoustical society of America
 JEGPh — Journal of English and Germanic philology
 JP — Język polski
 JRAS — Journal of the Royal Asiatic society
 JSFOu — Journ. de la Société finno-ougrienne
 JФ — Јужнословенски филолог
 KZ — Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen
 LM — Les langues modernes
 MM — Maal og minne
 MSFOu — Mémoires de la Société finno-ougrienne
 MSLP — Mémoires de la Société de linguistique de Paris
 MSOS — Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin
 NSS — Nysvenska studier
 NTS — Norsk tidsskrift for sprogvidenskap
 PBB — Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur
 PMLA — Publications of the Modern Language Association of America
 RES — The Review of English studies
 REG — Revue des études grecques
 RESI — Revue des études slaves
 RF — Romanische Forschungen
 RKJL — Rozprawy Komisji językowej Łódźk. t-wa naukowego
 RKJW — Rozprawy Komisji językowej Wrocławsk. t-wa naukiwego
 RLR — Revue de linguistique romane
 RO — Rocznik orientalistyczny
 RP — Revista de Portugal. Serie A: Lingua portuguesa
 RS — Rocznik slawistyczny
 SaS — Slovo a slovesnost

SDAW — Sitzungsberichte der Deutschen Akad. der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse
für Sprachen Literatur und Kunst
SFL — Studi di filologia italiana
SMS — Sbornik matice slovenskej pre jazykozpyt, národopis a literárnu históriu
SPAW — Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften
StO — Studia orientalia
SWAW — Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissenschaften
TA — Traduction automatique
TCLC — Travaux du Cercle linguistique de Copenhague
TCLP — Travaux du Cercle linguistique de Prague
TIL — Travaux de l'Institut de linguistique
TPhS — Transactions of the Philological society
UAlb — Ural-Altäische Jahrbücher
UJB — Ungarische Jahrbücher
VR — Vox Romanica
WW — Wirkendes Wort
ZAS — Zentralasiatische Studien
ZCPH — Zeitschrift für celtische Philologie
ZDA — Zeitschrift für Deutsches Altertum
ZDMG — Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft
ZDPH — Zeitschrift für deutsche Philologie
ZNS — Zeitschrift für neuere Sprachen
ZPhon — Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft
ZRPPh — Zeitschrift für romanische Philologie
ZSL — Zeitschrift für Slavistik
ZSlPh — Zeitschrift für slavische Philologie.